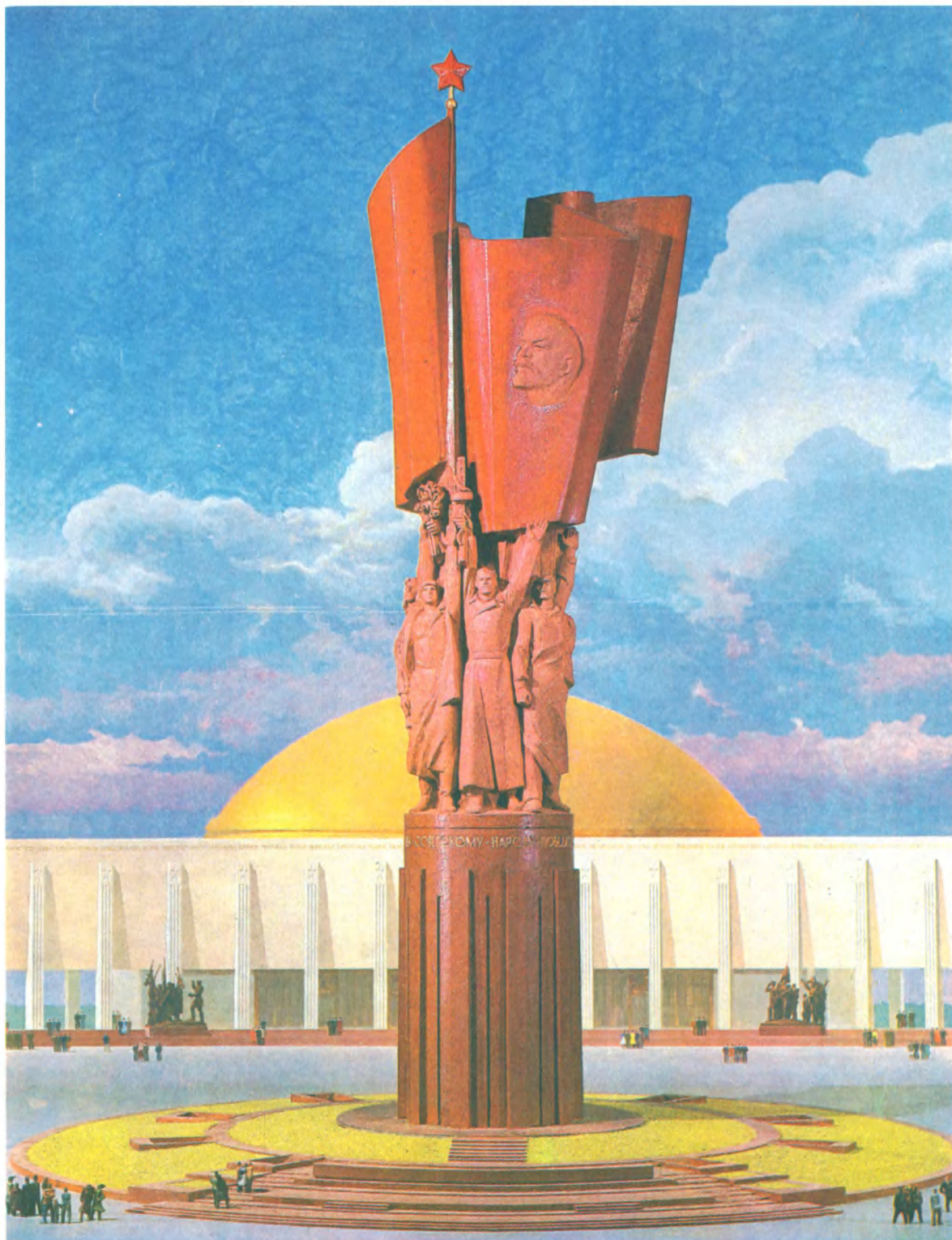


ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

5 '85





**Модель центрального монумента памятника Победы
на Поклонной горе в Москве.**

**Скульпторы О. КИРЮХИН и Ю. ЧЕРНОВ.
Архитектор А. ПОЛЯНСКИЙ.**

ЮНОСТЬ

5⁽³⁶⁰⁾

85



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955
ГОДУ

*С праздником
Победы,
дорогие
товарищи!*

Издательство «Правда».
Москва.



Знамя Победы. Фото Якова Рюмкина.

БОРИС
ПОЛЕВОЙ

1941—
1945

*В героическую летопись Великой Отечественной
бессмертные строки вписали миллионы
советских людей — солдаты и маршалы,
труженики тыла, партизаны, весь наш народ.*

*В рядах тех, кто в грозный час
встал на защиту Отечества, были писатели
и журналисты, бесстрашные военные репортеры,
запечатлевшие подвиги, составившие
одну из самых ярких страниц истории
Страны Советов.*

*Вместе со своими коллегами
шел по дорогам войны «с лейкой и блокнотом»
и военный корреспондент газеты «Правда»*

Борис Николаевич Полевой.

*Сегодня, в канун славного юбилея,
мы публикуем его статью, впервые напечатанную
в «Правде» сорок лет назад.*

четыре года для человеческой памяти — немалый срок. Но этот летний, теплый день я помню, точно это было вчера. Короткие строки правительственного сообщения о злодейском нападении гитлеровцев на Советский Союз. Первые известия о бомбежке наших мирных городов, первые сводки о прорыве немецких танковых армад через наши границы. Гневные речи на митингах. Напряженная работа в военкоматах. Экстренные выпуски газет. Первые неумелые затемнения. И нарастающая тревога у всех на лицах: танки врага мнут своими гусеницами наши уже начавшие колоситься хлеба. В военных сводках мелькают знакомые названия родных городов. Где мы остановим врага? Где предел отступления?

Пыльная суতোлка прифронтовых дорог. Солдаты в добела выгоревших, просоленных потом гимнастерках отступают через деревню. Они идут сквозь строй жгучих, вопрошающих и требующих женских взглядов.

Бесконечные потоки беженцев движутся на восток по всем дорогам. В огромных комфортабельных автобусах, на драных эмтэсовских грузовиках, на телегах и велосипедах, в фурах, запряженных коровами, а то и пешком, с мешком за плечами, с истомленными ребятишками на руках. Разве забыть серые, пыльные маски утомленных лиц, горькие складки губ, потрескавшихся от ветра и жажды, усталость глаз?..

Вспоминается эпизод, относящийся к началу нашего первого зимнего наступления. В холодный, ясный декабрьский день наши части, начав наступление у Калинина, пошли на штурм вражеской оборонительной полосы на Волге. Гитлеровцы ждали тут нашего удара и готовились к нему. Весь правый обрывистый берег они залили водой. Их отделяла от нас двухсотметровая поверхность обледеневшей реки и ледяная стена метров в пятнадцать, за которой в безопасности сидели немецкие пулеметчики. Трижды после артиллерийской подготовки штурмовые батальоны начинали атаку реки и трижды откатывались назад, и волжский лед был уже усеян темными фигурами убитых. Казалось, уже не было силы, способной поднять батальоны в новую атаку на штурм ледяной крепости. Но вот мы увидели с наблюдательного пункта, как на бруствер окопа выскочила фигура в полушубке, с красным знаменем, как бегом, спотыкаясь, скатилась она на лед, как пересекла реку и, очутившись у ледяной стены, поползла вверх. Мы видели, как сизый дым выстрела поднялся над вражеским берегом, как упал человек со знаменем, но вслед за ним из наших окопов поднимались и скатывались на лед новые и новые волны атакующих. Сквозь треск пулеметов и гул артиллерии мы слышали далекое «ура». Люди ползли на ледяные стены, соскальзывали назад, ползли снова, ползли через мертвых, ползли под огнем, вырубая ножами ступени во льду.

И вот уже желтые полушубки показались на ледяном валу, они перевалили через вал, и вот «ура» доносится еле слышно в морозном воздухе с того берега, откуда-то из пылающей деревни. А новые и новые человеческие волны перехлестывают через замерзшую Волгу, и этот важный рубеж уже далеко за спиной наступающих.

А через полчаса в полотнище плащ-палатки в блиндаж командира дивизии принесли человека, который со знаменем ринулся на лед, увлекая за со-

бой остальных. Получив одиннадцать пулевых ран, он скончался на наших глазах. Это был старший политрук Зайцев, в землянке которого я провел предыдущую ночь. И нужно признаться, что той ночью, наблюдая, как этот близорукий, застенчиво улыбающийся, похожий на сельского учителя человек гостеприимно суетился возле железного чайника с кипятком, я думал, что трудно найти человека, менее подходящего для войны. Зато генерал, руководивший тогда прорывом на этом участке, поцеловал покойного в уже холодевший лоб и сказал:

— Нельзя победить страну, имеющую таких солдат.

Эти чудесные черты нашей армии, так ярко проявившиеся и в черные дни отступления, и в первых наступательных ударах, во всей полноте сказались в Сталинградской битве. Здесь, в глубине нашей страны, на берегу исконно русской реки, на святых развалинах исторического города, со всей яркостью сказались эти качества наших воинов и блестящее военное искусство наших полководцев, непревзойденное ни в обороне, ни в наступлении.

Сталинград! Эта военная эпопея по-настоящему еще не раскрыта и не описана. Потребуется, вероятно, историческая перспектива, чтобы обрисовать эту грандиозную битву во всей ее полноте и историческом величии. Взгляды всего мира были сосредоточены на этой географической точке на Волге, и я помню, когда в начале этой великой битвы мы летели в Сталинград, это название открывало для нас окошечки билетных касс, кабины самолетов, рассчитало доступ к телеграфным аппаратам. Каждый считал долгом помочь, чем может, человеку, спешащему в Сталинград.

Для меня Сталинград навсегда останется таким, каким он предстал туманным сентябрьским утром, когда мы спрыгивали на его глинистый, рябой от воронок берег с речного трамвайчика, носившего тогда торжественное название канонерской лодки. Он встал перед нами городом руин, в которых в самый солнечный день царил полумрак, так как солнце было окутано дымом пожаров и разрывов, городом, над которым в течение круглых суток гул разрывов сливался в один сплошной гром.

Здесь можно было двигаться только ночью. В лунные ночи военные люди, оборонявшие эти руины и даже научившиеся различать по каким-то признакам среди них бывшие улицы и переулки, показали мне здесь дом, где два бойца в течение двух суток отбивали атаки батальона противника, выступление которого поддерживалось танками, артиллерией и даже авиацией. Тут была железная водокачка, в борьбе за которую погибло до пятисот вражеских солдат, которым так и не удалось взять этой «твердыни», обороняемой пятью случайно оказавшимися в ней моряками. Тут был лысый, совершенно оскальпированный канонадой курган... Возле него полегло несколько вражеских дивизий. Здесь дрались отчаянно и самозабвенно. Раненые не уходили из строя. Терявшие правую руку дрались левой. Те, у кого перебивало ноги, ползком подносили патроны.

В этой великой битве фашистскому зверю был надломлен хребет. Громаден, необозрим путь от Волги до Эльбы. И сколько славных исторических вех на этом пути! Курская дуга, Харьковское сражение. Чудесный маневр, освободивший Донбасс. Второй Сталинград за Днепром, у Корсунь-Шевченковского. Освобождение Киева. Ленинградская эпопея. Разгром гитлеровцев в Белоруссии. Тысячи пройденных километров. Сотня сломанных укрепленных районов. Десятки мастерски форсированных рек...

Красная Армия, наступавшая с непрерывными боями, крепла, наливалась силой, на ходу перестраивалась, училась, овладевая вершинами воинского мастерства, впитывая в себя новый и новый боевой опыт, закаляясь в огне сражений, получая все более мощную технику. К финалу войны к стенам вражеской столицы Красная Армия подошла могучей...

И вот сейчас, оглядываясь назад, ярко вспоминаешь картину гигантской битвы за Берлин, в которой, как в фокусе, увидели мы величие и мощь нашей армии. Холодная и ясная весенняя ночь, наполненная запахами зацветающей сирени и акации. С притушенными фарами ехали мы по берлинской кольцевой автостраде. Слева от нас медленно плыл огромный город, освещенный танцующими огнями пожарниц, и в свете красных зарев всюду — и справа, и слева от шоссе, откуда доставал глаз, мы видели войска, войска. Даже под Сталинградом не доводилось наблюдать таких масс войск и техники.

И все же мощь ее постигли только в момент, когда началась артиллерийская подготовка. Казалось, что небо разверзлось и каменный дождь загрохотал по крышам. Над руинами Берлина, над немецкими укреплениями гигантским смерчем взметнулось в небо огненное облако разрывов. Многоголосый рев артиллерии, который по силе его не с чем даже сравнить, казалось, достиг предельного напряжения. Приходилось открывать рот, чтобы сберечь барабанные перепонки. Думалось, большего грохота быть уже и не может. Но вот в небе поплыли бесконечные вереницы бомбардировщиков. Крякающее эхо бомбовых разрывов вплелось в артиллерийскую симфонию. И вдруг в бархатной весенней ночи в нескольких местах неожиданно вспыхнул сине-белый, фантастической силы свет. Он разрезал ночь на куски и каждого, кто попадал в его сферу, слепил так, что тот обалдевал, как от удара по голове. Нечего уже и говорить о том, что он лишил возможности целиться. По приказу командования более двухсот прожекторов было наведено на противника. Начался решительный штурм.

А затем мы видели уже красное знамя, развевающееся на ободранном здании рейхстага.

И вот теперь, оглядываясь назад, мы еще раз во всей полноте постигаем великолепие одержанной победы.

ГРИГОРИЙ
КУРЕНЕВ



Фото 1945 года.

☆☆☆

Когда в разведках станешь сед
В каких-то двадцать с лишним,
Когда покоя нет как нет
В короткое затишье,
Когда икотой громовой
Спирает пушкам жерла,
То вдруг покажется: войной
Ты сыт уже по горло.
Но стоит в госпиталь попасть,
В резерв или на отдых,
Как сердце снова тянет в часть
И бредишь о походах.
И уверяешь, что здоров,
Что без боев — хоть в петлю,
Кляня втихую докторов:
«Какого черта медлят!»
И снова марши, ночь без сна,
А утро в клочьях дыма,
И вновь солдатская весна
Без писем от любимой.
И снова в редкость тишина,
Кровать — окопа глина.
Пока не приведет война
До самого Берлина.
Сегодня бой и завтра бой,
Идет за датой дата.
Но мы горды своей судьбой
И званием солдата.

☆☆☆

В два дома хутор средь лесов затерян—
Такие редко видишь наяву.
В случайной этой фронтовой «фатере»
Я, видимо, недолго проживу.
Все в этой хате донельзя убого,

И ветер мечется в печной трубе.
Литовские нахмуренные боги
Глядят из тьмы, как я пишу тебе.
О чем бы написать тебе отсюда,
Чтоб не придумывать, хитрить и лгать!
О том, что буду через пару суток
Под низким небом Балтики шагать.
Дышать разрывов запахом знакомым
И в ожидании штурма замерзать,
И водку, что положена наркомом,
Одним приемом на ветру глотать.
И ждать прихода в роту почтальона,
Как самое тебя не ожидал.
Но это все нам кажется знакомым,
И кто с войны об этом не писал!
Вместо того, чтобы слепить глаза мне,
Не лучше ль покороче: «жив-здоров»,
И на солому завалиться камнем,
Возможно, завтра будет не до снов.
А по оконцу сказочно витые
Узоры мастерят мороз и лед.
С ехидцей смотрят на меня святые:
Написанного, мол, не отошлет.
Но я пошлю исчерканный листочек.
Проходит ночь, мне не заснуть уже.
Ты, не читая, лишь взглянув на почерк,
Поймешь, что делалось в моей душе.
Я написал тебе про этот случай,
Чтоб знала ты: в нетопленной избе
Разлукой и бессонницею мучим,
Я перед боем думал о тебе.

Тебе
про эту ночь

Ветры с Балтики куролесят —
То дожди, то снега метут.
Ночь тиха. Из-за тучи месяц
Показался на пять минут.

А звезду, что моей считаем,
Не видать из-за рваных туч.
Я тебя заклиная, родная:
Ты тревогой себя не мучь.

Верь — дано мне судьбой возвратиться
Не зимою, так по весне.
Верь, что нашей любви страница
Не приснилась тебе во сне.

Верь, как верят в судьбу солдаты,
Когда поле свинец сечет,
Когда рвутся вокруг снаряды,
Шутят:

— Мой не отлит еще.

Верь,
такие не умирают:
Просто-напросто —
недосуг.
Я еще из вражьего края
На бушлате
пыль принесу.



ЮРИЙ
ВОРОНОВ



Фото 1944 года.

7 мая 1965 года, накануне 20-летия со Дня Победы, в «Правде» был напечатан цикл моих стихов, посвященных ленинградской блокаде. Вместе с последующими публикациями они составили основу книги «Блокада», которую я постоянно дописываю. Строки одного из стихотворений: «Нам в сорок третьем выдали медали и только в сорок пятом паспорта» — содержат не просто поэтический образ, но и точные биографические данные их автора. Шестнадцать лет мне исполнилось в январе 1945 года. Может быть, добавить к этому стоит лишь то, что в ноябре 1942 года я вступил в комсомол.

Хотя большинство стихов, составляющих книгу «Блокада», писалось в послевоенное время, некоторые из них опирались на строфы и строчки, родившиеся в блокадном Ленинграде. А писать я начал в мае — июне 1942 года, вслед за тем, что пережитой страшной зимой.

Откликаясь на просьбу «Юности», я отобрал для журнала одиннадцать стихотворений непосредственно тех лет. Конечно, от многолетнего лежания в столе стихи не стали лучше, а их недостатки — менее заметными. Но если они хотя бы в небольшой степени помогут читателю ощутить дыхание того времени и почувствовать душевный настрой подростков военного Ленинграда, то смысл их публикации будет оправдан. Добавлю, что в 1943—1945 гг. некоторые мои стихи, в частности, «Блокады больше нет», «Возвращение», «Тост», передавались по ленинградскому радио и печатались в заводских многотиражках.



СТИХИ ТЕХ ЛЕТ

Мертвая

С осколком
В захлебнувшейся груди
Она лежит ничком
На стеклах битых.
Под ней земля
Трясется и гудит.
Морозный воздух
Грохотом пропитан.

Она молчит,
Ртом воздуха не ловит,
Не слышит ветра
Леденящий стон.
С ней рядом хлеб пежит:
Разбух от крови,
Но ей теперь не нужен
Даже он.

Ей над сугробом
Больше не подняться.
Она мертва —

и в этом слове все...

Снежинки бесконечные
Кружатся
И засыпают медленно ее.

1942—1943 гг.

☆☆☆

Снаряды вновь
Над городом визжат.
Дрожит земля.
Дрожит стеклянный воздух.
Трясутся
В водянистом небе звезды.
И только ленинградцы
Не дрожат...

1943 г.

☆☆☆

Нам тяжело,
Но мы о счастье бредим.
И зря фашисты
Гибелью грозят:
Кто думает о будущей победе
И ждет весну,
Тех победить нельзя.

1943 г.

☆☆☆

Через десять мгновений
Для них уготована смерть:
Автоматы фашистов
Их держат у же
На прицеле...

Надо быть Человеком,
Чтоб в эту минуту запеть.
Очевидно, поэтому
Люди стояли и пели...

1944 г.

☆☆☆

Меня тоска
В тиски зажала.
Их не разжать и не разбить.
Но этим строчкам одичалым
Не быть моим стихам началом —
Я не хочу
В стихах грустить!..

1944 г.

Блокады больше нет

Как майский гром,
Салют над Ленинградом:
Ракеты, рассыпаясь,
Ввысь летят.
Над Невским, над Невой,
над Летним садом
Лиюющие возгласы
Гремят.

Снаряд немецкий
Больше не взорвется
На непреклонном
Невском берегу.
Не брызнет кровь,
Стекло не разобьется:
До Ленинграда
Не достать врагу!

В сияющее небо Ленинграда
Взывают без конца
Огни ракет:
То город наш —
За снятие блокады
Шлет воинам
Восторженный привет.
27—29 января 1944 г.

Огни

Зажглись огни на наших улицах!
Опять горят, как до войны.
На темном небе
Звезды жмурятся,
И стал бледнее круг луны.

Нева течет свинцовой лавой,
И снова желтые огни
В ее воде лиловой плавают,
Как в мирные былые дни.

Март 1944 г.

На Запад

Идут войска советские
На Запад!
И над столицей
Каждый день гремят
Могучие торжественные залпы
В честь наших
Побеждающих солдат.
Салют московский —
Эхо наступленья!
И потому,
Пока идет война,
Пока не смолкли
На фронтах сраженья,
Он всякой музыки
Желанней нам.

Март 1945 г.

Взят Берлин!

В те дни,
Когда в тисках зимы и смерти
В кольце блокадном
Ленинград страдал,
Когда беда,
Которой не измерить,
Бродила
По советским городам,
Когда в труде,
В битвах неустанных
Забыли мы
Об отдыхе и сне,
В Берлине
Громко звякали стаканы
И бодрый смех
Раскатисто звенел.
Но праздничные тосты
Поднимаю,
Не зная
Для уныния причин,
Не ведал враг,
Что, даже отступая,
Мы видели
Поверженный Берлин.
Что из России
Все пути и линии,
Дороги, тропки все, какие есть,
Готовились
В удар сойтись в Берлине.
Враги забыли,
Что такое месть.
А наша сила
Разрасталась, крепла,
И вот он — долгожданный
день —

Настал!
Теперь земля врага
Покрыта пеплом,
Берлин
Пред нами на колени встал!..
Россия
Не увидит больше тьмы.
Пришел тот день,
Когда смеемся мы.

2—3 мая 1945 г.

Возвращение

Солдат пришел домой
С большой войны.
И вот он вновь в семье,

Среди родных.
Он дорогие лица
Видит снова:
Глядит на мать,
на сына,
на жену.

Здесь — тишина
И даже воздух новый,
А он
Совсем забыл про тишину.
На все глядит солдат
Смущенным взглядом,
Все кажется прекрасней,
Чем в былом:
Еще синее
Небеса над садом,
Еще стройней
Березы под окном.
И солнце
По-особенному светит,
И соловьи так не поют
Нигде...
Потом себя он
В зеркале заметил
И удивился:
Как помолодел!

1945 г.

Тост

В полях
Опять волнуется пшеница,
Порхают утки
В камышах густых.
И маленький ребенок
Не боится
В траве зеленой
Собирать цветы.
Июльский воздух
Сладок и прозрачен,
Над лесом и лугами —
Тишина.
А год назад
Здесь было все иначе:
Была большая
Трудная война.
Боец лежал
Под деревом ветвистым,
Сочилась кровь
В высокую траву.
Боец последний раз
Смотрел сквозь листья
В далекую густую синеву.
Потом на это
Не осталось силы.
К березе белой
Дернулась рука...
И долго-долго
Над его могилой
Лохматые качались облака.
Мой тост:
За павших —
Тех, кто спас планету!
Давайте помолчим
О них опять.
И, как обряд,
Должны привычку эту
Мы на века
Потомкам передать.

1945 г.



Странички
из календаря-дневника
Ю. Воронова
1943—1944 гг.



Троза



С. САШКЕВИЧ

Автор этих рассказов с 1942 года до окончания войны служила в действующей армии военной переводчицей. Эти эпизоды основаны на подлинных фактах, изменены лишь имена и фамилии.

Фото 1943 г.



Я попала на фронт через курсы медсестер. Иначе бы меня не послали: считалось, что я как переводчик нужнее в ТАССе. С курсов военных медсестер был прямой путь в военкомат, а там уж я подавала заявление об использовании меня по основной специальности.

В октябре 1942 года получила открытку: явиться в такой-то час по такому-то адресу, и оказалась на приеме у пожилого моряка. Он был разочарован. Он полагал, что С. Сашкевич — мужчина. «А девушек, — сказал он, — на флот не посылают даже с четырьмя иностранными языками». Он набрал номер.

— На меня тут надели четыре переводчицы-жен-

«МУСТАФА»

РАССКАЗЫ
ИЗ ФРОНТОВОЙ
ЖИЗНИ

щины, — пошутил он. — Меняю на одного мужчину.

В тот же день мое заявление лежало на столе у армейского подполковника с дважды подчеркнутым — «итальянский» (в моем заявлении стояло: «и немного итальянский»), а через неделю я держала в руках командировочное предписание: «Гор. Н, в распоряжение тов. Карпова». Оформлявший документы мрачный капитан сказал, что дорога опасная, две пересадки на узловых станциях, «подверженных бомбардировке», фронт новый, дислокация секретная, но у меня будет попутчик, бесстрашный разведчик старший лейтенант Шакиров, возвращающийся в строй после ранения. Высокий башкир, похожий на Мустафу из фильма «Путевка в жизнь». С двумя орденами и тремя боевыми медалями. Он предупрежден и встретит меня на вокзале.

Есть общепринятое представление об отъезде на фронт: мужчины с суровыми лицами в теплушках и плачущие женщины на платформе. Я уезжала обыкновенным пассажирским поездом, меня никто не провожал. На вокзале все были в веселом, приподнятом настроении (или мне так казалось), много военных разных званий, но ни одного старшего лейтенанта с двумя орденами и медалями. И никто ко мне не подошел.

Когда поезд тронулся, я попробовала пройти по вагонам, но мои прогулки показались подозрительными — я была в штатском, — и у меня потребовали документы. Собственно, в дороге мне попутчик не был нужен, но как найти товарища Карпова без помощи Шакирова?

Бомбежек в пути не было, пересадки состоялись без всяких осложнений. Через трое суток поздно ночью я приехала в N. Куда идти? Сначала я вслед за двумя солдатами спрыгнула с платформы. И догнала их. Но они направлялись в дальнюю деревню, а город, сказали они, с другой стороны. Я вернулась на затемненную платформу.

Рисунок
Р. Клочкова.

Имею ли я право показывать дежурному по станции свое предписание и разглашать, что в городе стоит воинская часть? Я решила ждать утра. Когда рассвело, увидела вывеску: «Военный комендант». Его не удивил адрес «на деревню дедушке» — к товарищу Карпову. Комендант показал мне нужную улицу:

— Она выведет вас на край города, а там прямо по тропинке, пока не начнутся блиндажи.

Тихая, солнечная улица, приветливые домики за садовыми изгородями и осенние листья, мирно шуршащие под ногами, — все это выглядело совсем не по-фронтальному. В Москве война больше ощущалась.

Но где блиндажи? Я представляла себе большие бетонные сооружения, окруженные колючей проволокой. Ничего похожего не видно было. И вдруг, как в сказке, прямо из-под земли вырос добрый молодец, высокий и красивый, в безупречно выутюженной форме и начищенных до блеска сапогах. («Неужели фронтовик?» — удивилась я. Да, это был мой будущий сослуживец майор Потемкин.) На вопрос он сухо ответил, что Карпов в двухстах метрах, в доме с вывеской «Заготконтора», и тут же опять провалился сквозь землю.

На ступеньках заготконторы сидел круглолицый старший лейтенант без орденов. Я поздоровалась. Он вскочил и приложил руку к пилотке. Его долгова-зая фигура показалась мне знакомой: уже входя в контору, я вспомнила, что видела его на вокзале в Москве, и поняла, что это был мой попутчик Шакиров.

Говорят, что ребенок за первые два года получает больше информации, чем за всю последующую жизнь. Можно сказать то же самое о моем первом дне на фронте.

...Подполковник Карпов посмотрел на меня, потом в командировочное предписание и опять на меня.

— Первый раз на фронте? Туфельки придется отставить. Паркетов у нас здесь нет. Сапог сейчас тоже нет. Походишь пока в ботиночках. И обмотки выедем. Ну, а как настроение? Хочешь остаться в живых? Я тебя научу. Никогда не обращай внимания на него. На кого? На немца, конечно. Пусть себе бомбит, или обстреливает, или что еще, а ты свое дело делай. Он свое, а ты свое. А начнешь бегать и метаться, он тебя сразу и застучает.

Эти мудрые слова, сказанные моим первым начальником в первый день на фронте, стали для меня законом.

— Ты приехала как нельзя вовремя, — продолжал Карпов, — меня «снизу» терпят с утра до ночи, требуют итальянского переводчика.

Мы прошли из обычных, совсем не фронтовых сеней (я представляла себе, что на фронте все «боевое и огневое») в такую же обычную комнату, где стояли два стола, покрытых картами. За одним сидел лохматый лейтенант в пенсне, похожий на народника, за другим Потемкин — встреченный у блиндажей красивый майор — и уже немолодая (по моим тогдашним понятиям) женщина-капитан с орденом Красной Звезды. Над бровью у нее синел глубокий шрам. Когда вошел Карпов, все встали.

— Вольно, — сказал Карпов. — Вот прибыло итальянское пополнение. Теперь надо решить, кого оставить здесь, а кого послать Медведеву, а то от него житья нет. Что вы скажете, девушки?

— Я предпочитаю поехать на фронт, — сказала я, вероятно, не без рисовки.

— А тут, по-твоему, не фронт? Ну, хорошо. А ты, мадам Хауптман?

Я потом узнала, «мадам Хауптман» ее прозвали с тех пор, как пленный немец, увидев у женщины шпалы в петлицах, удивленно спросил: «Мадам — хауптман?» — это по-немецки «капитан».

— Готова выполнить любое приказание, — отпартовала мадам Хауптман, вскочив и держа руки по швам.

— Все ясно, — сказал Карпов, — собирайся, сегодня же поедешь в дивизию к Медведеву вместе с новым командиром разведроты старшим лейтенантом Шакировым. А ты, новобранец, займешь ее койку. Переводчик с несколькими языками в штабе армии нужнее. Быстро получи обмундирование и карточку в столовую и сразу после завтрака займемся делом. Мадам Хауптман, отведи ее на квартиру.

Я спустилась вслед за мадам Хауптман в подвал, где стояли две кровати с сетками, но без матрацев. На одной, укрывшись шинелью с головой, спал кто-то в больших сапогах. Я не сразу заметила толстую косу, выглядывавшую из-под полы шинели. Другая кровать предназначалась мне. Над табуреткой с мылом и зубными щетками, поверх газеты висело нарядное пальто с чернубуркой. Не обращаясь ко мне, мадам Хауптман молча сняла его, встряхнула и бережно положила в мешок, потом стала складывать туда остальные вещи.

Позднее я узнала, что мадам Хауптман воевала в Испании, оттуда шрам и орден, что пальто составляло все ее имущество — московский дом разбомбил, — что в тылу у нее не осталось родных, что она равнодушна к Потемкину и потому злилась на меня, виновницу ее отъезда.

Мне выдали великоватые гимнастерку и юбку, гигантских размеров серую солдатскую шинель, сравнительно небольшие ботинки, брезентовый ремень, портянки, обмотки и кусок белого полотна на подворотнички.

Моя соседка по подвалу все еще спала. Я переоделась, сохранив гражданскую черную юбку — военная с меня сваливалась, — и довольно долго провозилась с подворотничком.

В столовой я обрадовалась горке консервных банок, но они оказались пустыми — из них пили чай. Пшеничную кашу ели не из солдатских котелков, а из алюминиевых мисок.

— Ну, экипировалась малость? — начал Карпов, когда я вошла, и запнулся. — А это что за оборка в сборку? Разбуди Элеонору, пусть она тебе покажет, как пришивается подворотничок.

Машинистка Элеонора, высокая, худая и очень бледная, уже поднялась и, стоя у разбитого, черного от пыли подвального окна и глядя в него, как в зеркало, скатывала в узел свою роскошную косу. Перешивая мне подворотничок, Элеонора успела рассказать, что печатать приходится ежедневно с обеда и почти до утра, но она не жалуется — на фронт ушла добровольно, как только мобилизовали ее жениха, — что Карпов хороший начальник, но его улыбки не следует принимать всерьез, что Потемкин — настоящий айсберг и, сколько тут разные ни старались, включая мадам Хауптман, ничего у них не вышло. А лохматый лейтенант Грушевский — доцент, он из ополчения, и непонятно, как эту «тень Гамлета» пустили в армию. Он знает всю иностранную литературу, но допросы Карпова переводит медленно и задает пленным свои собственные вопросы про «Кантов и Дантов», которые ей потом велят вычеркивать, и пишет он не «Гитлер»,

а «Хитлер». Кроме немецкого, французского и английского, знает еще венгерский язык, и поэтому Карпов его ценит. Грушевский дарит ей стихи в собственном переводе и консервы из офицерского дополнительного пайка, но для нее, как для «гомеровской Петrarки», никто не существует, кроме ее жениха.

— Ну, вот теперь другое дело,— сказал Карпов,— сейчас пойдем и поговорим с одним пленным итальянцем.

Меня охватил страх. Настоящий страх, когда становятся мягкими колени, что-то сжимается в груди и перестаешь быть себе хозяином.

А ведь казалось, что за год войны я уже преодолела в себе это унижительное чувство. В начале войны, услышав: «Граждане, воздушная тревога»,— мы, как безумные, убегали в бомбоубежище. Помню, я таинственным образом просыпалась за минуту до объявления тревоги. Потом тайна разъяснилась: какой-то бойкий паровозик — я жила за городом — опережал все сирены, он-то и будил меня. Когда я перешла на казарменное положение в ТАСС, мы сначала тоже строго выполняли приказ и спускались в убежище. Однажды меня отпустили домой за вещами, и тревога застала на улице Горького. Я вместе с другими прохожими в панике поспешила в метро. Но, прежде чем я успела добежать, сирены замолчали, стало тихо, и я вдруг подумала: «Куда и зачем я бегу?» Задними дворами потихоньку вернулась в ТАСС, поднялась в «общезитие» и легла на свою койку. Кое-кто успел это сделать раньше. С тех пор во время воздушной тревоги я, как и многие другие, спокойно отсыпалась — ведь работать приходилось и по ночам.

Собираясь на фронт, я себя ко всему подготовила... Если убьют, осознать не успеешь, если тяжело ранят, придется терпеть боль. Я прошла двухмесячную практику в госпитале — тяжелораненные не отличались от других хирургических больных. А если легко ранят, это не только не страшно, но и не больно.

И как я не подумала, что меня могут отправить обратно в Москву из-за профессиональной непригодности? Сразу пленный итальянец!

Тут вошел мой «попутчик» Шакиров. На нем была не по росту шинель, узкая и короткая. Он, видно, тоже только что экипировался.

Карпов шутя посоветовал ему обменяться со мной шинелями. Но... у меня в ней рукава свисали до колен и полы волочились по земле.

Шакиров так весело рассмеялся, что мой страх сразу прошел.

— Да что я беспокоюсь,— продолжал Карпов,— ты же «анархист», к своим едешь, пусть там тебя и наряжают. И немедленно тащи мне языка вот с этого плацдарма.

Он показал место на карте.

— Пленного сразу вези сюда. А то ведь я знаю, как это у вас: захватили языка, нам нужны данные, а вы там сначала устраиваете церемонию награждения разведчика. Мы ждем информацию, а пленный пока болтается без дела и придумывает, что бы ему соврать. Наконец вспомнили и о нем. Его окружает все дивизионное начальство, и начальник разведки Буркин из уважения к старшим терпеливо ждет. Спрашивают что придется и все кому не лень: испытывает ли пленный личную вражду к русским, боится ли он русской зимы, какие нормы выдачи хлеба детям в Германии, долго ли немцы намерены еще воевать, правда ли, что

«Илы» называют «черной смертью», всякую другую белиберду, и пока Буркин доберется до настоящих вопросов, тут и вечер, и пленного приволят к нам на следующий день. Я уже говорил Буркину — пусть он вместе с переводчиком ждет на исходном месте. Выяснили у языка, что нужно дивизии, и сразу к нам... Ну, передавай там комдиву Бочарникову привет,— сказал Карпов, уже выходя из конторы,— а мы пошли в лагерь, там нас итальянец ждет не дожидается.

Шакиров молча козырнул, и мы разошлись.

— Шакир Шакиров — бывший сапер,— сказал Карпов, когда мы входили в тощий лесок.— Ему положено было расчистить проход для разведчиков, а он увлекся и пленного тащит. Раз и еще раз. Это я настоял, чтобы его перевели в разведроту. Наград куча, а выговоров еще больше. Дисциплины никакой. Не захотел ехать с повышением в другую дивизию. Пусть и командир взвода, но в своей родной башкирской. (Дивизия Бочарникова формировалась в Башкирии.) У него, видишь ли, самодельный тарантас там, в дивизии, остался. Так он ведь себе и новый мог соорудить. Первокласный разведчик, а чудило. Немецкого часового среди бела дня увел, а переводчицу на вокзале не мог обнаружить. Приходит на заре и докладывает: мол, не нашел. Он ожидал, что ты будешь в военной форме.

До лагеря было километра три.

— Каждый пленный норовит сбежать,— объяснил мне Карпов,— и сбежать не с пустыми руками, а с ценными данными, чтобы как-то оправдаться перед своим начальством. Поэтому место дислокации штаба ему знать не следует, лагерь военнопленных отстоит на положенной дистанции от штаба... Посидим на травке, если ты устала.

— Я не устала.

— Правильно. Утомляться у нас не положено. Некогда. Фриц лезет на Волгу, а на Дон подсовывает итальянцев. Вот увидишь, тебе скоро дохнуть не дадут. Сейчас потолкуем с одним. «Снизу» передали, что он видел подходящие к линии фронта немецкие танки. Не готовят ли противники наступление? Что-то не похоже.

Я не поняла, что значит «снизу», и Карпов очень доходчиво объяснил, что мы служим в штабе армии, а армия состоит из дивизий, таких, например, как дивизии Бочарникова и Медведева (иногда из промежуточных соединений — корпусов, в которые входят дивизии). Штаб дивизии или полка — это для штаба армии «снизу». А «сверху» для штаба армии — штаб фронта.

Лагерем назывался стоявший на отшибе большой деревянный сарай. У двери, запертой на всякий замок, стоял часовой.

Внутри, на сене, прислонившись к стене, сидел итальянец, весь обросший черной щетиной. Он встал.

— Переведи, чтобы сел,— сказал Карпов.

Услышав родную речь, пленный белозубо заулыбался, но глаза его испуганно бегали.

Мы примостились у ящика. Карпов вынул из сумки бумагу и карандаш. Я должна была вести протокол допроса.

Страх мой оказался вполне оправданным: пленный говорил непонятно — то ли на местном диалекте, то ли просто шелелявил. Но я разобрала его фамилию, имя, часть, что он крестьянин, воевать не хотел. Его отправили насильно.

Карпова больше всего интересовали планы противника.

— Вы видели у себя, на линии фронта, танки? — перевела я.

— Не видел, но мне сказали, что они есть.

— Где?

— В такой длинненькой деревеньке с мельничкой.

— Здесь все деревни длинные и с мельницами. Как она называется?

— Нон ло шо.

(«Не знаю» — по-итальянски «Нон ло со».)

— Кто вам сказал о танках?

— Майор Рушо.

— Чем он командует?

— Нон ло шо.

— Где он вам сказал?

— В такой длинненькой деревеньке с мельничкой.

Карпов недоумевал, но не выходил из себя.

— Он дурак, или прикидывается, или ты неправильно переводишь.

У меня горело лицо, и одежда прилипла к телу.

Карпов продолжал терпеливо задавать вопросы:

— Когда майор Рушо с вами разговаривал?

— Сегодня утром.

— А когда вас взяли в плен?

— Ночью.

— Выходит, что майор Рушо тоже в плену?

— Нет, он майор Рушо, я его пленный.

До меня наконец дошло: «рушо», то есть «рус-со», то есть русский. «Майор Рушо» — русский майор.

Все стало ясно: про танки говорил с итальянцем «внизу» наш русский майор, а деревенька с мельничкой — место расположения нашего штаба дивизии, где не было итальянского переводчика (вот и получилась путаница) и куда Карпов теперь направил мадам Хауптман.

— Каждый пленный, — сказал мне на обратном пути Карпов, — должен чувствовать, что имеет дело с советскими офицерами, которые знают о его части больше, чем он сам, и поэтому врать бесполезно.

Он велел мне проинструктироваться у Потемкина «по всему противостоящему противнику». Это будет моей офицерской подготовкой, сказал он. Ведь на днях мне присвоят звание и выдадут «кубики».

Потемкин нехотя оторвался от толстой книги и молча передал мне несколько папок с протоколами допросов и карты, испещренные номерами вражеских частей. Я пыталась вникнуть в протоколы, имея за спиной один собственный, но они были все так похожи и столько в них было всяких номеров рот и батальонов, фамилий командиров, числа пулеметов и минометов и столько непонятного на картах, что никакого офицерского образования пока не получалось. Задать бы несколько вопросов Потемкину, но, хоть он смотрел не на меня, а в книгу, выражение его лица как будто говорило: «Ну и дуру тут оставили вместо мадам Хауптман».

Ужинала я со своим коллегой Грушевским. Он рассказал, что Карпов — солдафон, но добрый человек, что Потемкин в любых условиях ежедневно два часа занимается военной историей и что он рожден для науки, а «для вдохновения, для звуков сладких и молитв» рождена Элеонора с ее лебединой шеей, тонким станом, косой — достойными какого-то французского художника — и с душой тургеневской героини. Что, с точки зрения Грушевского, лучшие учебники по войне — «Пармская обитель» и «Бравый солдат Швейк» и, конечно, «Война и мир». Освоив их, он счел себя вправе уйти в ополчение.

— Да, пока наши дела на фронте неважные, — продолжал Грушевский. — Но помните слова Толстого: «Ежели и приходило кому-нибудь в голову, что дела плохи, то, как следует хорошему военному человеку, тот, кому это приходило в голову, старался быть весел и не думать об общем ходе дел».

Вот он, Грушевский, и не унывает. Лев Николаевич еще сказал, что воинская часть — это отдельный мирок со своим начальством, своими большими и маленькими заботами и своей собачкой. Это полностью относится и к нам, даже собачка есть у нас — Тузик.

И Грушевский завернул в заранее припасенный клочок бумаги немного каши и кусочек хлеба для Тузика. Когда мы вышли из столовой, Грушевский предложил пойти в обход, чтобы посмотреть на пейзаж в стиле еще какого-то французского художника. Но нас остановил часовой, потребовавший «пропуск». Грушевский пропуска не знал.

— Милейший, — сказал он часовому, — помните, у Этьенна де Грелле... — И далее последовала длинная цитата по-французски. Смысл ее примерно такой: «Я пройду по этому миру лишь однажды, и потому не мешай мне совершить доброе дело, ведь повторить этот путь никому не дано».

Прощаясь со мной, Грушевский снял шапку и поцеловал мне руку.

Когда я вернулась в подвал, Элеоноры там уже не было — она ушла трудиться. И только растянувшись на сетке без матраца, положив под голову гражданское пальто и укрывшись шинелью (тут я оценила ее размер), почувствовала я себя в какой-то мере солдатом.

Сули-мули



Выпал первый снег. Прошли Октябрьские праздники с вечером самодеятельности, но не весело. Видно, я была еще недостаточно военным человеком, чтобы постичь толстовскую философию: ни на минуту не забывала, что враг у Ленинграда, на Кавказе и на Волге; и здесь, на Дону, как с горечью говорил Карпов, не мы его держим, а он нас.

Для Карпова он был не только источником горечи, но предметом постоянных изысканий, догадок и не всегда понятных для меня прогнозов. Я еще не совсем освоилась с работой. Нужно было уметь выуживать из ответов пленных ценные данные и записывать их в протокол допроса. И не сразу я поняла, почему, например, отпуск домой мог означать, что противник не готовится к активным действиям, а свежие части и появление танков — грозный признак.

Неясное представление было и о том, как захватывают языка — да тот же Шакиров. От него я ни разу ничего не услышала, хотя он и бывал у нас почти каждый день.

— Что это наш Мустафа заладил сам привозить своих пленных? — удивлялся Потемкин. (Кажется, только я не находила у Шакирова ничего общего с героем фильма «Путевка в жизнь».)

А Карпов был доволен. Из других дивизий пленных приводили пешком, а шакировский драндулет ускорял дело.

В этот день Шакиров привез не пленных, а артистов, в том числе певицу — дочь нашего члена

Военного Совета генерала Гаранина. Гаранин распорядился, чтобы в праздники его дочь вместе с другими артистами выступала на передовой. У нас же концерт состоялся лишь в конце месяца.

Знакомые арии из «Роз-Мари» напомнили о добром мирном времени, что-то оттаяло в душе, и я невольно обернулась. Шакиров стоял в дверях и смотрел на меня.

После концерта Грушевский по дороге уверял, что все оперетты, кроме венгерских,— балаганы и что он ради Кальмана изучил венгерский язык. И, дрыгая ногой, запел было гнусавым голосом «Красотки кабаре», как вдруг остановился. У конторы разговаривали Карпов и Шакиров. На голос Грушевского оба обернулись, потом Шакиров молча козырнул, сел в свой драндулет и уехал.

А ночью он сумел переправить языка на лодке через полузамерзший Дон.

Высокий итальянец в шляпе с пером (форма альпийских стрелков) и странных соломенных сапогах охотно ответил на все вопросы, вид у него был счастливый. Счастливым был и Карпов — все его предположения о замене немецких частей итальянскими подтверждались.

Итальянец спросил, такой ли снег в Сибири, как на Дону. Он рассказал, что очень хотел простудиться, чтобы попасть в госпиталь. Поэтому во время патрулирования, когда его никто не видел, он потихоньку снимал сапоги и натирал ноги снегом. Но странный русский снег не вызывал даже насморка.

Потом Карпов сказал, что за такой подвиг (проскочить с пленным через полузамерзшую реку) Шакирова бы наградили, если бы он не действовал против приказа: «Приостановить все операции на Дону до ледостава». Шакиров нашел себе оправдание, что он, бывший студент-мостостроитель, сумеет правильно рассчитать движение льдинок.

Мы возвращались с передовой — Грушевский и я. «Передовой» назывался штаб дивизии. И Карпов объявил мою поездку чуть ли не «боевым крещением». (Позднее, когда я служила в дивизии, даже штаб полка считался глубоким тылом.)

Над ничейной землей был сбит немецкий самолет, видимо, летевший из Сталинграда, и Шакиров приволок тяжело обгоревшего летчика неустановленной национальности и мешок с письмами. Несмотря на старания медиков, летчик скончался перед самым нашим приездом.

В письмах никакой ценной информации не было (цензура бы ее так и так не пропустила), но чувствовалось подавленное настроение. Я захватила одно письмо: обер-лейтенант просил владельца цветочного магазина послать его жене на день рождения традиционный букет, но на этот раз вдвое больше и из одних роз, поскольку он очень опасался, что это его последний букет.

Седой командир медсанбата и юная медсестра почему-то напомнили Грушевскому одну из новелл Боккаччо, которую он знал наизусть и начал рассказывать, как только мы устроились в попутный грузовик: молодая жена богача влюбилась в красивого юношу и, так как тот не обращал никакого внимания на замужнюю женщину, решила завлечь

его с помощью церкви и начала с жалобы святому отцу на слишком пристальные взгляды молодого человека...

Появились немецкие самолеты, но это не смутило Грушевского. Первая бомбежка застала рассказ на этапе, когда обруганный святым отцом юноша начал присматриваться к даме.

К следующему налету молодой красавец уже останавливался под окном дамы. Грушевский как ни в чем не бывало продолжал рассказ.

После третьей бомбежки водитель решил для безопасности свернуть в лес, что было нам не по пути, мы слезли с грузовика, но рассказ не прерывался.

Любезный шофер другого грузовика предложил мне место в кабине, Грушевскому пришлось сесть в кузов, и я не скоро узнала, удался ли хитроумный план прекрасной итальянки.

Мы вернулись в штаб поздно вечером. Меня ждали. Элеонора заболела, и некому было печатать сводку.

Привезенное немецкое письмо не произвело впечатления.

— Дамская сентиментальность,— произнес сквозь зубы Потемкин и начал диктовать мне сводку.

Он сочинял ее на ходу, ловко маневрируя телефограммами, протоколами и десятком карт. На одной из них я увидела нарисованные синим карандашом две направленные друг к другу стрелки с перечеркнутым пространством между ними.

— Что это? — спросила я Потемкина, издали не разглядев, какая это карта.

— Пока мечты.

В те дни наши войска еще не завершили окружение немцев под Сталинградом.

Я печатала медленно. Потемкин ворчал:

— Что вы каждую минуту останавливаетесь? О чем вы думаете? Не отвлекайтесь.

А я думала о профессиональных машинистках в ТАССе. Однажды я диктовала перевод с телеграфной ленты, а машинистка с невероятной быстротой хлопала пальцами по клавишам и в то же время внимательно прислушивалась к сенсации, обсуждаемой ее подругами: разбомбили английский парламент.

— Да я же именно это вам диктую! — сказала я ей.

Если бы я тогда посещала курсы машинописи, я бы сейчас не так печатала.

— Не отвлекайтесь! — кричал Потемкин.

Уже два дня происходило что-то необычное. Исчез Потемкин вместе с телефоном в кожаной сумке. Карпов пропадал у начальства. Не появлялся Шакиров. А Элеонора как будто невзначай приводела в порядок свой вещевой мешок. Щемило сердце: не собираемся ли мы отступать? И стало совсем страшно, когда Элеонора разбудила меня ночью: вызывал Карпов.

— Быстро собирайся,— сказал он с улыбкой (невеселой, как показалось мне в ту минуту),— через тридцать минут выезжаем.

Лишь когда «виллис» тронулся, Карпов объяснил, что началось наступление и мы едем на плацдарм Бочарникова. Звонил Потемкин, там интересный пленный — итальянский офицер-чернорубашечник.

Вдали что-то ухало. за лесом виднелось зарево, а может быть, просто заря. Над нами гудели самолеты, я не знала — наши или вражеские. И, должна признаться, беспокойно было на душе.

— Дон,— сказал Карпов.

Я сразу и не заметила, что мы пересекаем замерзшую реку.

Навстречу двигались три человека. Двое были в белых балахонах, а третий в разноцветном. Когда мы приблизились, я увидела, что ведут раненого. У него была перевязана голова, и весь комбинезон в кровавых пятнах.

С первого дня войны я просыпалась с мыслью: льется кровь. На курсах медсестер, во время практики в госпитале я перевидела немало раненых. Но они не вызывали такого чувства, как этот, только что побывавший там, куда мы направлялись.

— Далеко ведете? — спросил Карпов, когда мы поравнялись. — Может, подвезти?

— Ничего, дойду, — ответил раненый.

У него был нисколько не испуганный и не страдальческий вид, а мне стало не по себе.

— Держись, — сказал Карпов.

Мы въехали в деревню «длинную и с мельницей».

— На окраине ночью шел бой, — сказал Карпов, — а бомбили, видно, недавно.

Горели три дома рядом. Громко причитали женщины. Орудийный гул слышался совсем близко, то и дело появлялись вражеские самолеты.

— Неуютное местечко, — сказал Карпов. — Где у них тут чернорубашечник?

— Товарищ подполковник, сюда, — услышали мы голос Потемкина. У него на руку было надето что-то, похожее на муфту из чернобурки.

— Слегка царапнуло осколком, — ответил он на вопрос Карпова, — не здесь, у Медведева. А мех — «дамская сентиментальность».

Я поняла, что это мадам Хауптман укутала его раненую руку в воротник от своего пальто.

Потемкин провел нас в дом, полный наших офицеров. Итальянский майор, очень бледный, морщась, пил что-то из алюминиевой кружки. Толстая медсестра перевязывала ему руку. Пахло эфиром и валерьянкой. А где-то в дальнем углу на перевёрнутой кадушке сидел Шакиров (итальянец был его удачей).

Нашему приезду очень обрадовались. Чернорубашечник не говорил по-немецки (или делал вид), кроме итальянского, знал только немного французский. Он прежде всего выразил благодарность за любезное обращение и сожаление, что не успел застрелиться. На все интересующие Бочарникова и Карпова вопросы отвечал, что его батальон только что прибыл и он ничего не знает. Он даже не мог объяснить, что означает буква «М» — эмблема на его рукаве. «Может быть, «мorte» («смерть» по-итальянски), — сказал он, — а может быть, «Муссолини».

Позвонил наш член Военного Совета Гаранин (он остановился в одном из соседних домов) и попросил привести чернорубашечника к нему. Итальянец хоть и держался все время за сердце, но от носилок отказался. Его вела под руку медсестра.

Гаранина интересовали более общие вопросы. Выяснили, что чернорубашечник — офицер с шестнадцатилетнего возраста, участник первой мировой войны. Политикой никогда не занимался, посвятил себя военной карьере, в свои сорок восемь лет оставался холостяком.

Вдруг в хату ворвался кто-то такой сверкающий, что даже Гаранин встал. Но это был, как объяснил мне позднее Карпов, всего лишь «капитан Санько сверху» (то есть из разведотдела фронта), успевший получить только что введенные погоны. Гаранин разрешил ему присутствовать, и беседа продолжалась.

На вопрос, сколько он получает жалованья, итальянец назвал сумму в лирах, которая нам ничего не говорила.

— Ну, а сколько, например, стоит в Италии курица? — спросил Санько.

Я не знала, как по-итальянски «курица» и спросила по-французски «poule», забыв, что это слово имеет и другое значение.

— Смотря какого ранга эта дама, — ответил итальянец и почти улыбнулся.

Наступление продолжалось. Почувств, что их берут в клещи, итальянцы пустились наутек. Наши войска ринулись за ними, а штаб оторвался. Требовались сведения и показания пленных. Капитан Санько («сверху») собрал оперативную группу. В нее попала и я.

Дороги были забиты. Издали казалось, что перед нами движутся колонны машин. Это были застрявшие в снегу немецкие и итальянские грузовики и санитарные фургоны. На многих оставались окоченевшие тела раненых. Видно, кто мог ходить, успел удрать или потом сдался в плен. Остальные же были брошены и не выдержали тридцатиградусного мороза.

С одного из грузовиков сняли винную бочку. Стройные донские девушки в расшитых тулупах и белых шерстяных чулках расчищали снег. Но о том, чтобы быстро проскочить этот участок, не могло быть и речи. Санько, обвешанный планшетами, компасами, биноклями и прочим, заглянул в карты, сверил, прикинул и велел шоферу сделать рывок в сторону, где, по его расчетам, проходил спастительный большачок.

Весь день застревали в снегу, буксовали, толкали и только к вечеру пробились в небольшую деревушку, где не было ни наших частей, ни населения.

Пока «мушкетеры», так называл Санько двух автоматчиков и шофера, сгружали бочку — она была в человеческий рост, — Санько обнаружил в уцелевшей хате несколько мерзлых картофелин и сито с остатками ржаной муки.

Скоро в растопленной соломой печке кипел котелок с картошкой, а Санько собственноручно месил тесто для вареников.

— Солдат должен бить, есть, пить и любить беспощадно, — повторял он свою любимую поговорку.

Вареники с картошкой получились такими тяжелыми, что кто-то предложил подбивать ими вражеские танки, но съедены были без остатка.

Санько запретил пока прикладываться к бочке: владея таким богатством, рассудил он, можно раздобыть необходимый нам бензин. Выслали во все стороны «пешие дозоры», и в четырех километрах от нашей деревни была обнаружена саперная часть с запасом бензина. Командир этой части сначала и разговаривать не хотел, и винные перспективы на него не подействовали, а подействовал гость, наш старый знакомый Шакиров, чинивший там свои сани. Как не удружить товарищу, бывшему саперу. Шакиров и привез бензин, а от вина отказался.

Когда мы прибыли на место и открыли бочку, вино не потекло, хотя она и была наполнена больше чем на три четверти.

— Замерзло, — сообразил Санько.

Бочку водрузили на плиту, содержимое вскоре растаяло, но это оказалось не вино, а розовая водичка, наш «профессор» Грушевский объяснил, что

вода из вина замерзла, а спирт устоял. Его-то, видно, итальянцы уже выпили.

Довелось мне разговаривать и с итальянским генералом — командиром дивизии. На вопрос, сколько в его дивизии осталось людей, он ответил, что нам это виднее: все, кто остался жив, у нас в плену.

Шакиров привел ко мне какого-то старшину. «Вы переводчица? Помогите. Трофейные сули-мули нас не понимают». (На вопрос, какая у них тяга, все пленные из альпийских дивизий отвечали: «Су и мули» — на мулах.)

— У тебя старомодная упряжка, — сказал Карпов Шакирову, — смени лошадку на «сули-мули».

Тихая пристань



от-вот ожидалось взятие Харькова. У нас появился корреспондент центральной газеты. (Как я позднее убедилась, это всегда было признаком предстоящего освобождения большого города.) Прочно застрял у нас и Санько «сверху». Он был родом из-под Харькова, и ему не терпелось попасть в родные места. В штабе фронта он мог сказаться на другом участке, а маршрут нашей армии был явно нацелен на Харьков. Мы уже знали, какая пышная красавица — невеста Санько и какие кушанья готовят его мать и будущая теща.

Санько каждый день выезжал в части «за обстановкой», откуда всегда возвращался с каким-нибудь угощением, как шутили: «Пусть без сводки, но с водкой».

Я уже несколько дней не была в своем штабе армии. Шли бои, и Карпов возил меня на дивизионные командные пункты, где, как он говорил, «пленных подавали тепленькими, прямо с огня».

Мы находились постоянно в движении. Спали, когда и где удастся часок или два, а уж о том, чтобы раздеться или умыться, не могло быть и речи. Но в этот день Карпова вызвал командующий. И было особенно приятно вернуться в тихую пристань, в теплую пятистенную хату с крыши над головой — штаб армии передвигался медленнее и сейчас стоял в большом поселке.

Пока Карпов был у командующего, я приводила в порядок протоколы. Потемкин делал выписки из своих книг по военной истории, Элеонора печатала. Вбежал Санько, очень оживленный.

— На передовой — вот где житуха, — рассказывал он с упоением Потемкину, — закусили, как в лучшем ресторане, и вдруг он как выдаться из шестистольного! Прямое попадание в начпрод и двух мерингов. Начпроду хоть бы что, а лошади пали смертью храбрых. Мне выдали хорошую «телятину из-под дуги», но я ее выменял у башкирского повара из разведроты на кусок сала. Привез нас вместе с корреспондентом Шакиров и его помощник Маркушин. Разведчиков будут награждать, а корреспондент про них напишет целый вагон. Эти ребята — бог знает как — раздобыли эсэсовца из «Мертвой головы». Сейчас приведут. Вот его документы и моя карта, если хочешь. А Шакиров и корреспондент у начальства.

Потемкин молча отдал мне солдатскую книжку и начал переносить данные с карты Санько на свою.

Привели пленного эсэсовца, который отказался давать показания, пока его не будут истязать. Потемкин презрительно взглянул на него и велел мне перевести, что мы можем выдать ему палку, пусть он себя истязает сам. Но тут появились немецкие самолеты и сбросили бомбы где-то близко. Хрустнули стекла, упало со стены и разбилось зеркало. Пленный весь позеленел (своего лица я не видела). Еще несколько бомб.

— Да уведите вы к черту этого фрица, и давайте скорей ужинать, а то харч пропадает, — кричал Санько.

Но тут самолет спикировал над самой крышей, и грохот начался такой, что я накрыла голову шинелью, боясь за свои барабанные перепонки. Не помню, сколько это продолжалось, но когда стало тихо и я открыла голову, в хате было темно и пусто, а через разбитое окно слышались голоса и стоны.

Я вышла на улицу. На этой улице только наша хата уцелела.

— Где ты пропадала?! — обрадовался Карпов. — Сейчас вместе с Шакировым отвезешь в госпиталь корреспондента, да еще часового захватите. Пока их перевязывали, машина с ранеными ушла. А мы с Грушевским займемся пленным эсэсовцем. Потемкин, прикажи его привести. Грушевский, потом до-скажешь свой французский анекдот.

Только сейчас я различила Грушевского. Он стоял у изгороди около лежащего корреспондента.

Подъехал Шакиров, не без труда разбудил юного Маркушина, крепко спавшего в санях, помог перенести и уложить раненых, приказал Маркушину ждать его здесь, и мы тронулись.

— Сестричка, укрой меня, замерзаю, — кричал раненый часовой.

Шакиров накинул на него свою шинель. Но солдат продолжал кричать. Я сняла из-под шинели безрукавку и укрыла ему ноги, но он продолжал кричать: «Сестричка, укрой меня, я замерзаю», — и затих, только когда мы подъехали к госпиталю. Он был мертв.

В госпитале корреспондент попросил вынуть из его сумки материал, дать прочесть Шакирову и, если можно, подождать, пока окончится перевязка. Шакиров и я вместе пробежали очерк под названием «Король разведчиков». Там подробно описывались организаторские заслуги Шакирова в захвате языка: предварительная подготовка, каждый разведчик знает свое место и свои обязанности, двое идут впереди, двое в случае надобности прикрывают огнем и т. д. Шакиров весело рассмеялся.

— Что-нибудь не так?

— Нет, все правильно.

У корреспондента оказалось много ран, но не тяжелых — его засыпало мелкими осколками. Он записал в статью награды Шакирова, и тот достал из кармана вышитый кисет (из подарков фронтовикам), вынул из него пригоршню орденов и медалей. Потом снял с груди только что полученную Красную Звезду и все вместе опять положил в кисет.

На обратном пути я спросила Шакирова, почему он рассмеялся, прочитав очерк. Шакиров вынул из другого кармана мятую газетную вырезку — первую напечатанную о нем статью. Он выучил ее наизусть и рассказывает всем корреспондентам. На самом же деле, как только перейдет линию фронта, он ничего не помнит, все делается само собой: куда-то кидает гранату, кого-то хватает и тащит, если все хорошо кончается.

В дверях нашей хаты, свернувшись в клубок, спал Маркушин.

— Совсем еще мальчик, прямо из училища,— солидно произнес двадцатитрехлетний Шакиров, нагнулся и ласково потрепал Маркушина за ухо.

Тот вскочил и смущенно поправил ремни. Потом оба молча козырнули мне и направились к саням.

В хате было холодно и пусто. Видимо, всех приютили на соседних улицах. Я очистила лавку от осколков стекла и улеглась поудобней. На душе было тепло. От радости ли, что осталась жива и не струсилась, от первого ли разговора с Шакировым, но я чувствовала себя счастливой, неприлично счастливой для такого печального дня.

Санько ворвался в Харьков вместе с передовыми частями. Мы с нетерпением ждали его, но он не нашел там ни матери, ни невесты, ни дома, ни даже улицы, где он родился и жил.

Тревожные дни



азалось, дела шли как нельзя лучше. И вдруг за какие-нибудь десять дней все перевернулось.

...Пленный был из ряда вон выходящий: обер-лейтенант артиллерии, захваченный в наше расположение на своей легковой машине и с картами, на которые была нанесена обстановка. Личных документов у него при себе не было. Часть он назвал такую, какая у нас никогда не числилась, и уверял, что ее лишь три дня назад перебросили с Западного фронта. Мы заметили, что он понимает по-русски и не пытается это скрыть. На вопрос, почему у него нет личных документов и как он умудрился въехать на своей машине за линию фронта, обер-лейтенант ответил, что выезжал на рекогносцировку — в таких случаях документов с собой не берут, — а на обратном пути он посетил своего друга и недооценил русский шнапс «замогон-пэрваш». Он клялся, что хотя ему «ошен горко», он говорит чистую правду и что на наш участок фронта перебрасывается с запада еще не меньше десяти немецких дивизий.

Потемкин прочел написанный мной протокол допроса и, всегда невозмутимый, тут даже задрожал от злости.

— Зачем вы вписали лживые показания про десять дивизий? Разве вы не поняли, что это самый типичный провокатор, специально засланный к нам для дезинформации? Если он с запада, то откуда знает русский язык? Сейчас же перепишите протокол и выбросьте всю эту чепуху.

— Зачем же выбрасывать? Можно добавить, что показания требуют проверки.

— Дамская логика! Пишем данные, и сами же от них отказываемся. И почему я не взял Грушевского? Приказываю переписать протокол.

— Перепишу. Но подписывать его не буду.

Потемкин вырвал у меня из рук листок и ушел — видно, звонить «наверх».

Вернулся Потемкин с телефонных переговоров в хорошем настроении и о злополучном протоколе больше не заикался. Ему приказали самому отвезти пленного обер-лейтенанта прямо в разведотдел штаба фронта.

Пленный обер-лейтенант не лгал. Что-то нехорошее нависло над нами, хотя никто пока не произносил зловещее слово «отступление». Нас бомбили днем и ночью. На обратном пути из штаба фронта

попал под бомбежку и угодил в госпиталь Потемкин.

Карпов срочно перевел к нам мадам Хауптман, уже майора, а меня — в дивизию Бочарникова.

— Ну вот, твое желание исполнилось, — сказал мне Карпов. — Как только приедет Шакиров, он тебя отвезет.

Но Шакиров не приезжал.

— Что-то наш Мустафа нас «мустафицирует», — пошутил Грушевский.

Шакиров не появлялся уже три дня, и это тоже был тревожный симптом. Какие-то слухи дошли до местных жителей, и, чтобы успокоить нашу хозяйку, мы с Элеонорой выстирали и не спеша вывесили во дворе наше белье.

А ночью нашему штабу приказано было эвакуироваться. Тяжело вспоминать эту ночь: расстроенных жителей («опять уходят»), колонну грузовиков, буксующих в грязь; висевшие над нами немецкие «свечи» — предвестники бомбежки — и мерный голос Грушевского, который наконец нашел время досказать новеллу Боккаччо: «...Этот нечестивец откуда-то узнал об отъезде мужа, со слезами на глазах сказала дама святому отцу...»

Где-то на дороге вынырнул из темноты ехавший в обратном направлении Санько — его родной Харьков опять был в опасности. Он взялся отвезти меня на мое новое место службы. Мы долго петляли по только ему ведомым дорогам, два раза попадали под бомбежку, а до дивизии Бочарникова так и не смогли добраться. Она уже была отрезана. Санько на свой страх и риск отвез меня к себе, в разведотдел штаба фронта.

Работа для меня нашлась — классификация документов и протоколов допросов пленных. Только тут я по-настоящему поняла, как важны для общей картины эти, казалось бы, однообразные и ничем не примечательные показания пленных. Попался мне в руки и мой протокол допроса артиллерийского обер-лейтенанта-«провокаатора». Потемкин в протоколе ничего не изменил.

Утиха-бобылиха



а карте все выглядело проще простого: прямая дорога, сахарный завод и поселок, и оттуда рукой подать до хутора Софьино, где стоял штаб дивизии Бочарникова. Всего каких-нибудь 18—20 километров.

Я вышла на рассвете и надеялась к обеду быть на месте, но не учла апрельскую черноземную грязь. Это была уже весна 1943 года.

Дивизия Бочарникова, после боев еще не полностью укомплектованная, пока стояла во втором эшелоне, то есть в стороне от линии фронта, и поэтому в пути никакого транспорта не попадалось, да и людей, кого бы расспросить, тоже. Вот где пригодился бы попутчик.

Около полудня наконец появился сахарный завод, вернее, оставшийся от него черный каркас, и вместе с поселком — обгоревшие печи.

Казалось бы, эти грустные картины, жирная, липкая грязь, из которой ноги часто вытаскивались отдельно от ботинок, невеселое положение на фронте и слухи о том, что противник готовит новое большое наступление, — все это должно было вызвать чувство уныния, но нет, было какое-то радужное состояние от весеннего воздуха, сознания, что ты будешь там, где воюют по-настоящему, от предчувствия новых встреч со старыми друзьями.

Еще через несколько часов я увидела недалеко от дороги пруд, где плавала одна утка, и разбросанные вокруг пруда домишки — хутор Софьино.

— Приведите себя в порядок, и я вас представлю комдиву, — сказал мой новый начальник майор Буркин.

Я уже раньше много раз встречала Бочарникова на КП во время поездок с Карловым. Огромного роста, стройный, широкоплечий, с маленькими живыми глазами в сетке морщин, он всегда выглядел сердитым и не улыбался приезжим генералам, хотя тогда был еще в чине полковника. Теперь он уже и сам был генералом, и я немного побаивалась встречи с ним.

Майор Буркин и я застали его в саду под деревом, у самодельного стола на двух ножках, вбитых в землю, и окруженного такими же скамейками. Против ожидания Бочарников оказался простым и своимским.

— Тебе, товарищ начальник, пока баклуши бить, — сказал он (Бочарников и потом всегда называл меня «товарищ начальник»). — Вот на днях займем оборону, тогда и пленные будут. Шакиров языками обеспечит. А как лошадок подкинут, займемся верховой ездой, у меня все верхом ездят. И с уставами познакомься, ты их, наверно, в глаза не видела, а ведь офицер. Знаешь старую историю — еще во время первой мировой войны, когда я фельдфебелем был, рассказывали: сдает солдат винтовку, рассказывает про все части, что к чему, но унтер любит, чтобы все наизусть было вызубрено. «А ты не сказал, какая такая винтовка», — говорит унтер. «Русская винтовка...» «Нет, не то. Ты подумай как следует». «Деревянная винтовка...» «Опять не то. Нет, не выучил, придется тебя взгреть, а ведь в уставе так ясно, черным по белому написано: «вышеупомянутая винтовка».

Буркин рассмеялся, хотя, наверное, слышал эту историю не первый раз.

— А как тот же унтер учил солдат разведке, знаешь? Выстроил унтер взвод перед палаткой, а сам внутрь вошел и приказывает заходить по одному. Первый солдат появляется и браво, во весь рост: «Здравия желаю!» А унтер ему по морде и говорит: «Выходи и никому ничего не говори». То же самое со всеми остальными. Потом приказывает по второму разу. Тут уж солдат зашел осторожно, одной ногой, и держится подальше. «Ну вот, — сказал унтер, — вижу, начинаете кое-что соображать в разведке».

Бочарников, видимо, знал немало таких историй, но его прервал душераздирающий утиный крик. Дело в том, что над нами появился немецкий самолет — и утка (как я потом узнала, потерявшая всю свою утиную семью во время бомбежки) выскочила из пруда и с громким кряканьем, хлопая крыльями, понеслась к своему дому.

— Наша утиха-бобылиха, — сказал Бочарников. — Ну, ладно, вы свободны, товарищ начальник, можете идти. И помни, у меня дисциплина, а не то клюшкой.

И показал на толстую палку, которой еще пользовался, так как прихрамывал после ранения.

У домика, где помещалось разведотделение, ждал Шакиров.

— Наша новая переводчица. А это король разведчиков, — познакомил нас Буркин.

Шакиров, как всегда, молча козырнул.

В это время по ту сторону пруда появилась фи-

гура лихого всадника в развевающейся плащ-палатке.

— Кто это? Похоже на картинку с папиросной коробки «Казбек»... — спросила я.

Прежде чем Буркин успел ответить, всадник за какие-то секунды обогнул пруд, приблизился к нам, слез с коня, подал Буркину пакет и, ловко вскочив в седло, ускорился.

— Это полковой офицер связи. Понравился? Берегись. Самый опасный сердцеед.

«Мин нет. Х-во Ш. Ш.»

Она мечта исполнилась: я вместе с группой разведчиков шла на задание. Другими словами, «мы пахали»: я должна была дойти только до линии фронта и там ждать. В прошлый раз привели раненого пленного, и он умер, не дойдя до штаба.

Группу вел наш старый знакомый, молоденький лейтенант Маркушин, командир разведвзвода. Капитану Шакирову — уже командиру роты — Буркин не разрешал ходить за линию фронта. Шакиров только проводил нас и дал Маркушину последние указания. Все было обставлено почти театрально. Мне тоже дали разноцветный балахон, и я, как и другие, увешалась зелеными ветками. Разведчики — веселый народ, и в мой адрес было сказано немало озорных слов, но доброжелательных.

От штаба батальона шли молча, стараясь бесшумно ступать (по траве это было нетрудно). У самой линии фронта перед нами вдруг вырос высокий куст — это был Шакиров. Когда он успел нас обогнать — непонятно. Для меня до сих пор тайна, ходил ли он в тыл врага вместе с разведчиками (они бы его, конечно, не выдали). Он знаками велел мне остановиться и сесть в заранее приготовленную, замаскированную траншею с сиденьем. Шакиров и разведчики исчезли в темноте.

Где-то пел соловей. Пахло ночной свежестью и какими-то пряными цветами. Да, было так же, как в штабе дивизии, все тот же лес, три или четыре километра ничего не меняли, и линия фронта — понятие условное.

Я впервые конкретно столкнулась с этим делением — тут мы, а вон те дубки уже он. Несколько дней раньше, когда Бочарников со своими начальниками служб принимал оборону, Буркин захватил и меня.

Многое меня тогда поразило.

Генерал в нашей дивизии был только один, но в каждом подразделении часовой требовал у Бочарникова пропуск.

— Ты что, меня не знаешь?

— Пропуск, товарищ генерал.

Это повторялось везде и очень нравилось Бочарникову.

Все знали, что он не пил и ненавидел пьяниц.

— Выпить не хотите, товарищ генерал?

— А что у вас есть?

— Да вот хлебный квасок как раз подоспел.

— Ну, что ж, кваску — это можно.

Бочарников был в прошлом пулеметчиком. И в какую бы часть он ни приезжал, прежде всего подходил к пулеметчикам, обращался к какому-нибудь самому молодому и неуверенному паренюху и спрашивал, будет ли при каких-то определенных данных (я их не помню) перелет или недолет. Если паренек от волнения ошибался, что бывало редко, комдив с удовольствием «вправлял ему мозги», но когда

пулеметчик отвечал правильно, комдив делал удивленное лицо: «Это почему же?» И сбитый с толку паренек начинал оправдываться, что, мол, перепутал от неожиданности, и тут удовольствию комдива края не было.

Потому ли, что генеральская голова при его высоком росте выдавалась из ходов сообщения, по которым мы передвигались, или просто в порядке шаблонного «редкого арт. мин. пул. руж. огня» из наших ежедневных сводок, несколько раз что-то лопалось и жужжало довольно близко от нас, но генерал просто не замечал этого и не обращал внимания остальные. Я тогда почувствовала — и я уже не та, что полгода назад.

Но вот сейчас... недалеко послышались выстрелы, а потом взрыв — вероятно, гранаты. Стала мучить мысль: что будет с ребятами, вернутся ли они?

Операция продолжалась недолго, ребята вернулись, когда еще было темно. Без потерь. Пленный от шока не мог говорить. Но так как он не был ранен, можно было не спешить, и его повели в штаб дивизии. Во время этого допроса я впервые услышала о «тиграх» — этих, как выразился пленный, «непробиваемых машинах» и опять о готовящемся большом немецком наступлении.

Не доходя до землянки разведотдела, я увидела шалаш из веток с смонтированным в него куском стекла (величиной с пароходный иллюминатор), на котором мелом было написано: «Мин нет. Х-во Ш. Ш.», — а над входом на листке из блокнота: «Штаб зам. комдива по пленным».

Инициалы «Ш. Ш.» не вызывали сомнений — это была формула Шакирова еще по саперной роте. Но уму непостижимо, когда он успел соорудить эту сказочную резиденцию. Внутри меня ожидал еще один сюрприз: в самой глубине стояла консервная банка с полевыми цветами. Правда, когда я с удовольствием растянулась в своем новом собственном «доме», ноги немного торчали из «дверей». Но тем удобнее было моему начальнику Буркину будить меня ночью для выхода в разведку. А мой новый «титул» прочно вошел в дивизионный обиход.

Прошло немного времени, и выходы с разведчиками стали для меня привычным делом и уже не вызывали эмоций.

Тяжело раненный пленный попался только один, причем его не привели, а он нас ждал за речкой Раковкой в нашем боевом охранении.

Накануне дивизионное командование для усиления обороны ликвидировало мостик через Раковку. Ночью наше боевое охранение по ту сторону речушки подверглось атаке, отбило ее, а этот раненый немец остался. Буркину и мне надлежало переправиться на лодке и допросить его.

Берег речки с нашей стороны был густо заминирован, и два сапера, которым, естественно, следовало знать расположение своих мин, несли впереди нас лодку. Вдруг раздался оглушительный взрыв, затем дико закричали саперы. Они подорвались на собственных минах.

На курсах медсестер — до отъезда на фронт — я была круглой отличницей. Очень гордилась своими медицинскими знаниями и всегда носила с собой не один, а два индивидуальных пакета — на случай, если кого-то придется перевязать. И вот случай представился.

Пяти пакетов — два моих, один Буркина и два у саперов — оказалось мало. Один сапер буквально истекал кровью. Буркин побежал за транспортом, а я выдрала из-под гимнастерки и юбки куски своего военного белья для перевязок. Вскоре по-

явился и Буркин на повозке разведроты с ездовым и ординарцем Шакирова — пожилым башкиром Рахметдиновым.

По дороге в медсанбат саперы радовались, что рядом с ними оказался «доктор», то есть я. И мне было приятно, что Рахметдинов расскажет Шакирову про мои медицинские заслуги. Кроме того, я надеялась и сама посоветоваться с врачом: в последние дни меня мучило какое-то экзальтированное состояние, я не могла нормально есть и спать. Не шакировские ли цветы у изголовья меня одурманивали? (Я раз застала Шакирова у своего шалаша, но спряталась, чтобы его не смутить.) Или предчувствие надвигающихся грозных событий?

В медсанбате раненых приняла пожилая врачиха. — Сапожники! — закричала она нам. — Чему вас учили? Даже кровь остановить не умеете! Они могли умереть по дороге!

За это время Шакиров успел сам переправить пленного. Раны у него оказались не тяжелыми, и после допросов его отправили в госпиталь.

Было обидно, что бедные саперы напрасно пострадали, и стыдно за мои неумелые перевязки. Я даже постеснялась в хозчасти попросить белье взамен так бездарно истраченного.

«Так вот где таилась погибель моя»



очарников не шутил, говоря, что как только «подбросят лошадок», меня заставят заниматься верховой ездой. Конечно, не только меня. Вот как об этом вспоминает наш быв-

ший начхим:

«Шла учеба и подготовка к предстоящим боям. Одной из дисциплин была верховая езда. Эти занятия проводил сам генерал. Когда лошадей раздавали, я старался оказаться последним, рассчитывая, что мне не останется лошади. И в тот момент, когда я с радостью видел, что мне лошади не досталось, раздавался голос генерала: «Дать лошадь начхиму!» Подводили лошадь... Запомнилась мне рыжая кобыла, которая так же годилась для верховой езды, как и я сам. Однажды нужно было преодолеть барьер — жердочку на высоте полуметра. Моя кобыла остановилась как вкопанная. Тут раздался зычный голос генерала: «Ударьте по лошади начхима, да так, чтобы и он пришел в себя». Это была, конечно, шутка, но не без доли правды».

Буркина — бывшего кавалериста — от верховых занятий освободили, а мне в инструкторы назначили шакировского ординарца Рахметдинова — призера всех башкирских бегов и скачек, как представил его Буркин, — и тот привел белую лошадку, такую хилую, что Буркин не мог смотреть на нее без смеха и даже изменил в ее честь известную песню:

**Одержим победу,
К тебе я приеду
На белой разведротной кляче.**

И запел ее, как всегда, громко, на весь лес. Говорили, что Буркин своим голосом отпугивает немецкие самолеты-разведчики, которые постоянно кружились над нами «с попутной бомбардировкой», как писалось в сводках, но ни разу не угодили в наше «соловьиное царство».

Надо воздать должное Рахметдинову: на лошади этот маленький щуплый старичок (ему было лет сорок) преображался в стройного молодца, и сама

кляча казалась менее жалкой. Этого нельзя было сказать обо мне.

— Конь не сразу тебя уважает,— утешил Рахметдинов.

Остаток дня я провела в одном из полков — начальник полковой разведки привез из Харькова девушку, знавшую немного немецкий язык, и я ее обучала разговору с пленными.

А когда, уже под вечер, я доложила, что вернулась, Буркин сказал: «Иди, тебя там кавалер уже несколько часов дожидается».

Я сначала увидела двух коней, привязанных к дереву, а потом торчащие из моего шалаша длинные ноги в щеголеватых сапогах.

Красивый офицер связи (похожий на картинку с коробки «Казбека»), сославшись на самого генерала Бочарникова, предложил обучать меня «настоящей» верховой езде. Я сказала, что у меня инструктор уже есть, и он уехал.

В шалаше валялась перевёрнутая банка со вчерашними цветами. Я улыбнулась, представив себе, как Шакиров скрытно подошел к шалашу с букетом и застал там офицера связи.

А на следующее утро Рахметдинов явился без лошади и, опустив глаза, доложил Буркину, что «белый конь занят и командир Шакиров сказал: «Пусть переводчицу учат полковые скакуны»».

— Это он про офицера связи,— сказал Буркин.— Почему бы на самом деле не использовать для уроков этого долдона? А разведчиков жалко отвлекать от дела. Вечером придет Шакиров, и мы с ним переговорим.

Но Шакиров против обыкновения не пришел ни в этот, ни на следующий вечер, а присылал Буркину записки.

И никаких цветов. Неужели Шакиров не так истолковал присутствие офицера связи в моем шалаше? «Связь с офицером связи!» Я от злости выбросила из шалаша банку вместе с содержимым.

Не пришел Шакиров проводить разведчиков в очередной поиск. Разведчики ушли. Я села на плащ-палатку («трона», как шутя прозвали его ребята, на этот раз не было) и стала, как всегда, ждать.

Наступило утро, а разведчики не возвращались. Пришел Буркин, потом командир полка. И офицер связи был тут как тут. Выяснилось, что Шакирова не было в роте. Значит, он вместе с ребятами там, за линией фронта. Живы ли они? Живы ли? Больше ничто не имело значения.

Все разведчики благополучно вернулись в десять часов утра и привели какого-то фельдфебеля, который утверждал, что их наступление начнется в ближайшие сорок восемь часов. Буркин сразу после допроса сам отвез его в штаб армии.

Шакиров в суматохе исчез. Вернувшись в штаб, я бережно собрала в банку высохшие цветы и водворила ее в шалаш.

Показания фельдфебеля подтвердились. Продолжить занятия по верховой езде так и не пришлось.

Курская дуга

аши полки не попали под удар 5 июля, когда началось немецкое наступление. Их перебрасывали сначала на одно, затем на другое критическое направление, и решающий бой пришлось принять прямо с марша, у небольшой деревни. Надо было остановить врага, который прорвался на новом направлении, западнее Прохо-

ровки. В течение трех суток наша дивизия отразила более тридцати танковых атак. И выстояла.

Ни пленных, ни трофейных документов. Мне приказано было находиться около КП Бочарникова, и я сидела на траве (землянку отрыть не успели даже для самого командира дивизии) и смотрела на небо, на бесконечные стаи самолетов и падающие с них гроздьи больших и маленьких бомб. Меня научили рассчитывать, с какой точки — между двумя дубами — бомбы упали бы на нас. Прямое попадание — мы бы и моргнуть не успели. За секунду самолеты пересекали эту точку, и дальше уже не страшно. Разрывов бомб не было слышно, они сливались с общим грохотом танков, вражеской и нашей артиллерии и «катюш». Линия фронта находилась в каких-нибудь двухстах метрах.

К концу третьего дня неожиданно наступило затишье. Зловещее затишье, казалось. Как раз в это время шакировский ординарец Рахметдинов принес Буркину записку.

В эти часы, решающие не только для нашей дивизии, но, может быть, — как мы тогда считали — для всего хода войны, личное отошло на дальний план. Но, должна признаться, появление Рахметдинова что-то всколыхнуло. Прочитав записку, Буркин проверил свою кобурку и, сказав мне: «Я на тигровую охоту, никуда не отлучайся, ты будешь мне нужна; если комдив спросит, скажешь, я в разведроту», — ушел вместе с Рахметдиновым.

Буркин не вернулся. Но вражеские атаки не возобновились, и поэтому его отсутствие не вызывало тревоги.

На рассвете несколько сотен раненых лежали в овраге в ожидании транспорта. Мы помогали их эвакуировать. Раненые не стонали, а оживленно переговаривались, и, только когда над нами стал пикировать немецкий самолет, все замерли. Но с самолета ничего не сбросили и даже не дали очереди из пулемета — пилот, видимо, возвращался с задания пустой и решил поугаждать раненых ради собственного удовольствия.

Когда подходили повозки и машины, мы старались погрузить раненых как можно быстрее: немецкий самолет мог возвратиться.

— Младший лейтенант, подойдите ко мне,— услышала я слабый голос. Между бинтов виднелись впалые голубые глаза и заостренный нос, но губы улыбались.

Это был артиллерист Красна-девица. Он был знаменит тем, что приволок откуда-то разбитое пианино и, когда его вызвали к начальству для объяснений, сумел доказать, что в землянке пианино лучше уберечь, чем в разбитом доме.

— Пришли бы взглянуть на мою гаубицу, красную-девицу мою, и попутно послушали бы Шопена,— всем говорил он.

Так его и прозвали. До войны он был танцовщиком, но не солистом, добавлял он, краснея. У него был высокий, почти женский голос, и трудно было себе представить, как он командует: «Огонь!»

— Ты нам Шопеном и гаубицей зубы не заговаривай,— отвечал на его приглашение майор Буркин,— лучше признайся, какую красную-девицу ты собираешься окрутить. То телефонисток агитируешь, то подававший.

Однажды Красна-девица подошел к моему шалашу.

— Пожалуйста, пойдемте к нам, есть одно серьезное дело,— сказал он и покраснел,— и, кстати, посмотрите на мою гаубицу, красную-девицу мою, и послушайте Шопена.

Его замаскированная ветками «красна-девица» ничем не отличалась от других пушек и не произвела на меня никакого впечатления.

Скрепив в одном месте проволокой сломанную педаль, он сыграл на пианино два вальса и наконец приступил к делу.

— Я, конечно, не солист, — сказал он и стал совсем малиновым, — вы только никому не говорите, это будет сюрприз для самодеятельного концерта. Я хотел бы поставить чардаш, он у меня неплохо получался. Но нет партнерши. Может быть, вы? Фигура у вас подходящая. Неизвестно, в ком скрываются таланты.

У меня таланта не оказалось.

И вот он ранен, единственный живой из всего оружейного расчета.

— А я все-таки нашел партнершу в медсанбате. Готовили классический, на музыку Листа. Я еще вернусь. Ноги целы, для танцовщика это главное. Он был ранен в голову и в плечо.

Лишь вечером я узнала, что означало «тигровая охота». Шакиров увидел на ничейной земле «тигра» и предложил Буркину вместе с ним пойти взглянуть на него поближе. Они подползли к танку, но их заметили и дали по ним очередь. Буркин был убит, а Шакиров тяжело ранен. Может быть, и он находился в том овраге.

Почтальонша



Когда в сентябре 1943 года заново сформированная дивизия заняла оборону на Калининском фронте, начальником разведки вместо Буркина назначили Потемкина, теперь уже подполковника. После ранения он несколько не изменился — такой же подтянутый и элегантный. Не изменилось и насмешливое выражение все такого же красивого лица.

— Я видел в штабе армии вашего Мустафу, — сказал мне Потемкин на следующий после моего приезда день, держа в руках запечатанный конверт. — Он тоже получал назначение после госпиталя, но почему-то предпочел Н-скую дивизию. — Потемкин назвал номер. — Я узнал от него, что вы обучались верховой езде на каких-то выдающихся скакунах, так возьмите лошадь и отвезите пакет в разведроту. Ясно?

— Ясно, — ответила я и вся похолодела и от обиды и от предстоящей поездки верхом, к которой совершенно не была подготовлена.

Но не срамиться же мне перед Потемкиным!

Прикрепленная к нам лошадь, к счастью, тоже принадлежала разведроту, но была гораздо крупнее той белой клячи, на которой я пыталась учиться. Я с трудом взгромоздилась на новую лошадь, и, к моему радостному удивлению, она без всяких усилий с моей стороны побежала по знакомой дорожке в свое родное расположение. (Если бы она была трофейной, то могла бы с таким же успехом завезти меня к противнику.)

Я отдала пакет, не слезая с лошади, но обратный путь оказался гораздо сложнее. Дорога в штаб дивизии была кляче явно не по душе, и, как я ни старалась, мы каждый раз снова оказывались около разведроты. Не знаю, чем бы это кончилось, если бы нам не попалась повозка, за которой моя лошадь сразу увязалась.

Я вернулась в свой штаб обессиленная, растре-

панная и без пилотки, которая слетела у меня с головы где-то в пути, а на следующий день я не могла ни подняться, ни сесть, ни ходить.

Даже через столько лет меня продолжает мучить кошмарный сон: бесконечная тропинка, тряская конская спина и ощущение полной беспомощности.

Мне не везло на города (вот и Смоленск мы обошли стороной), а когда они и значились на нашей карте, то привлекали лишь издали: как подойдешь, оказывались грудой развалин. Я говорю «подойдешь», потому что мы обычно передвигались пешком. Только наше «имущество» — в основном справочные материалы, протоколы допросов и книги Потемкина — удавалось поместить на штабной грузовик или повозку.

Но однажды я устроилась на повозку с машинистой оперативного отделения. И ей и мне давно нужно было уединиться на минуту, но спрятаться было некуда — все выжжено по дороге. Наконец мы увидели издали недоразрушенный сарай. Мы рванули туда и только подошли к сараю, как услышали по-французски: «Ле террен эт оккюие» («Место занято»). Я узнала голос — это мог быть только Грушевский.

Повозка ждать не могла, и мы побежали обратно. Как я потом жалела, что не поговорила с ним в то утро!

Думаешь, Грушевский рядом — никуда не денется, а через каких-нибудь три недели узнаешь, что он пропал без вести: армейские разведчики в тылу врага захватили в плен крупного офицера, а разговаривать с ним не могли. Туда и забросили на У-2 Грушевского. Сначала передали по радио показания офицера, а потом связь прекратилась. Наши товарищи погибли или сами попали в плен.

Во фронтовых условиях ничего нельзя откладывать, но и повидаться, с кем хотелось бы, не в твоей воле. Стечение обстоятельств — в основном печальных — дало мне возможность поехать в дивизию, где теперь служил Шакиров.

В одно холодное солнечное утро (НП стоял на опушке нарядного осеннего леса) мы с Потемкиным примостились у ровика, в котором сидел со своим хозяйством телефонист и непрерывно бубнил: «Олимп — я Вобла, Олимп — я Вобла». На земле, выброшенной из ровика, Потемкин соорудил нечто вроде стола и разложил на нем свои книги по военной истории и блокноты. Я наносила обстановку на карту. Теперь мне доверяли и самой допрашивать пленных.

Спикеровали немецкие самолеты и сбросили бомбы. Я их не видела — это происходило за моей спиной, и в присутствии Потемкина я стеснялась обернуться, но по тому, как расширились зрачки у телефониста, глядевшего в ту сторону, можно было догадаться, насколько близко падали бомбы, и почти в то же время в нашу сторону просвистело и разорвалось несколько мин.

— Засекли НП, — сказал телефонист.

Генерал — он был в нескольких метрах от нас — позвал Потемкина. Я тоже поднялась.

— Вас не вызывают, — сказал Потемкин. — Сидите и работайте.

Не успел он пройти несколько шагов, как просвистела очередная мина, и он упал без крика, как на сцене. Я сначала испугалась, что он убит. А ког-

да подбежала, увидела, что он без сознания, но дышит. Лоб был разбит, и сочилась кровь. Его тут же унесли.

На следующий день я попыталась навестить его в медсанбате, но мне сказали, что он эвакуирован в госпиталь и что его жизнь вне опасности.

Место Потемкина занял начальник полковой разведки, а мое место — его харьковская дивчина, которую я обучала. Меня же отозвали в штаб армии на место Грушевского.

Но это был не тот штаб армии, в котором я начинала свою военную службу, тот воевал где-то на юге Украины. Здесь не только пленные, но и мы, работавшие с ними — то есть старший лейтенант и я, — помещались в нескольких километрах от штаба. И рядом 7-е отделение политотдела, прозванное у нас «семеркой». Строгого порядка стали придерживаться после происшествия с «бисквитом»: немецкий перебежчик, представивший себя антигитлеровцем, не хотевшим воевать против нас, был оставлен в «семерке», где он помогал писать воззвания на немецком языке и передавать их по радио через линию фронта. В один прекрасный день он исчез. Все было брошено на его розыски. Но безуспешно. А в это время в одной дивизии, сразу за линией фронта, захватили пленного. Это был тот же перебежчик. В подкладку мундира он зашил подробнейшие данные, день за днем. Грушевский назвал его «бисквит», по-французски — «дважды печенный».

В отсутствие Грушевского начальнику разведки помогала переводчица «семерки» Таня. Дочь советского дипломата, она прекрасно владела немецким языком и в 17 лет с трудом вырвалась на фронт. Однажды начальник разведки, допрашивая пленного, не постеснялся в выражениях, но Таня не решилась их перевести буквально.

— Фройляйн, вы сделали тонко нюансированный перевод, — сказал пленный.

У себя в «семерке» Тане переводить не приходилось. Там все знали немецкий язык. Ей — единственной женщине — досталась кухня. В первый раз она всыпала в кипяток втрое больше пшена, чем следовало, но потом приспособилась, и, когда бы я к ним ни заходила, заставляла ее у русской печки с хватом в руках.

Нашим войскам удалось отрезать и окружить две дивизии противника вместе с их тылами.

Однажды ночью я проснулась от чудесной музыки и сначала подумала, что это сон. Кто-то исполнил на аккордеоне отрывки из «Роз-Мари». (В плен попал и немецкий дивизионный оркестр.) Вспомнилась теперь уже такой далекий ноябрьский концерт, Карпов, Грушевский, Шакиров.

Наш Мустафа находился недалеко, если был жив и здоров. И хотя дивизия, где он служил, входила в другую армию, мы с ней граничили, и меня обещали отпустить туда для встречи «со знакомой врачихой из тамошнего медсанбата». Правду сказать я постеснялась.

Но пока было не до свиданий. К нам привезли целый грузовик немецких штабных документов.

Среди них оказался и немецкий протокол допроса советского офицера, захваченного вместе с группой радистов. Этот офицер назвал несуществующую фамилию и давал вымышленные показания. В конце протокола имелось примечание, что совет-

ский офицер лжет, и стоял крестик, видимо, означавший «пустить в расход».

Все мнения сошлись на том, что это скорее всего был Грушевский.

Когда работы стало меньше, меня не только отпустили, но даже привезли прямо в расположение штаба «заветной» дивизии. Осталось найти разведроту, которой, я знала, командовал Шакиров. Первый встреченный офицер посоветовал мне обратиться с этим вопросом к начальнику разведки и показал мне, как к нему пройти.

В землянке начальника разведки было тепло и уютно. На лесенке была постелена мешковина, чтобы вытирать ноги. Меня встретила симпатичная девушка с закатанными рукавами гимнастерки, открывавшими пухленькие локоточки с ямочками.

— Здешняя почтальонша, — представилась она.

Я видела над входом в соседнюю землянку надпись мелом «П/П» — полевая почта.

— Медсестра из армейского госпиталя, — сказала я.

Она приготовляла из пшенной каши оладьи.

— Майор сейчас вернется, — сказала она, — хотите чаю?

Она подала в эмалированной кружке настоящий, крепко заваренный чай и тонкие хрустящие сухарики из черного хлеба, так мастерски засушенные, что были похожи на печенье.

Покончив с оладьями, девушка взяла сверкающий котелок и начала крошить в него чеснок.

— Майор не любит чеснок, но я подсовываю его в борщ тайно, вместе с сырой клюквой, это проходит незаметно.

Прибежал сержант.

— Пакет для майора Шакирова.

Как я не подумала, что за это время Шакиров мог повыситься в звании и в должности?

Не помню, как я выскочила из той землянки.

А надо ли мне было бежать?

Ведь почтальонша могла заботиться о нем просто по-соседски. Кстати, я не увидела в его землянке ее шинели и шапки. А восприняла девушку точно так же, как он — злосчастного офицера связи.

Но эти трезвые мысли пришли слишком поздно. Через две недели меня, знавшую румынский язык, согласно приказу откомандировали в распоряжение 3-го Украинского фронта. После Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии я закончила войну в Чехословакии. Это вторая половина моего фронтного пути, о которой надо рассказывать отдельно.

Встречи



Заварищ младший лейтенант!

В московском метро и через столько лет я никак не могла подумать, что обращаются ко мне, да еще Потемкин. И в штатском я его сразу узнала: такой же стройный и красивый, голые волосы с проседью и зачесаны не вверх, а на косой пробор, и спущенная на лоб прядь, видимо, закрывала шрам. С ним была девушка лет 16, его дочь.

— Вот, приехали в Москву на День Победы, — сказал он.

Мы обнялись, как старые друзья. Потемкин жил в Ростове-на-Дону и читал историю в местном институте. Его рана оказалась не тяжелой, и меньше

чем через три месяца он вернулся в нашу дивизию и прослужил там до конца войны.

Сейчас он спешил на поезд, и я проводила его на вокзал.

Первое, что он спросил: дошло ли до меня письмо из другой части, прибывшее на мое имя в разведроту? Видимо, писавший раньше служил там (тут на лице Потемкина появилась знакомая ироническая улыбка) и не знал другого номера полевой почты. Письмо это переслали в штаб фронта.

Но все это передвинулось куда-то на задний план, когда я начала расспрашивать Потемкина о своих дивизионных товарищах.

Во время войны в действующих частях люди погибали ежедневно, и это казалось естественным и угрожало каждому. Но после ухода из дивизии я себе ее представляла в том виде, в котором оставила. А теперь я только и слышала: погиб, погиб, погиб...

Погиб разведчик Маркушин — этот безусый мальчишка, храбрый до самозабвения, а в сущности еще ребенок. Я вспомнила, как где-то под Невелем разведрота стояла в лесу, а штаб — в деревне. И Маркушин принес кусок сала и просил поджарить ему картошку. Хозяйка поступила по-своему — картошку сварила и полила растопленным салом. А ему хотелось такой, как мама жарила дома, и он от огорчения заплакал. Когда его смертельно ранило, рассказал Потемкин, никто не поверил в эту смерть, и его, уже мертвого, тащили несколько километров в медсанбат. И сколько еще чудесных ребят-разведчиков не стало! А девушек? Двух медсестричек, связисток и даже подавальщиц из столовой. Один командир полка подорвался на mine, другой убит. Никого, никого нет. Неужели из старых дивизионных товарищей только Потемкин и я празднуем День Победы?

Нет, не все дивизионные товарищи погибли. Кто-то разыскал Потемкина, он дал мой адрес, и так «по цепочке» находились все новые однополчане. Постепенно их собралось около четырехсот. Не многие прослужили в дивизии с начала и до конца. Моих старых знакомых — единицы. Но все — одна семья. Мы переписываемся, выезжаем на места боев.

Особенно дороги встречи в той деревне на Курской дуге, где мы оставили столько товарищей. Мы приносим цветы к еще не заросшим траншеям, где стояли наши пушки, в том числе гаубица Красны-девицы. Артиллеристам больше всего досталось. Постояли мы с бывшей сестрой из медсанбата у того оврага, откуда эвакуировали раненых — так удачно, пока вражеский самолет не вернулся. И мы обе машинально взглянули на небо.

Шакиров ни на одной встрече не появлялся.

И вдруг звонок Потемкина из Ростова.

— Ваш Мустафа в Москве, в гостинице «Россия». Я вчера видел интервью с ним по телевизору. Он начальник большой стройки.

В справочной «России» узнала номер его комнаты и телефона. Я много раз звонила, пока наконец застала его поздно вечером.

Я два раза, заикаясь, повторила свое имя, а он сказал:

— Однополчанам не по телефону надо разговаривать, приезжай в гостиницу.

Я ответила, что так поздно меня в гостиничный номер не пустят, и мы договорились, что позвоню ему на следующий день в 18 00. Дозвонилась лишь в 20.15.

— Как точно ты меня застала, я только что вошел.

Еще бы не застать. Я звонила каждую минуту в течение двух часов.

И вот я еду к нему, подымаюсь на какой-то этаж, стучу в номер.

— Да, да. Пожалуйста.

В номере человек шесть или семь. Все башкиры. Все пожилые и полные, все похожи друг на друга.

Я стою и не знаю, к кому подойти. Но кто-то говорит:

— Да обними же свою однополчанку.

Он встает, подходит ко мне и улыбается. Как меняются люди с годами, подумала я. Ни за что бы его не узнала.

Мне наливают коньяку, мы чокаемся, и гости постепенно расходятся.

— Я тебя, честно говоря, не припоминаю, — говорит он — Такое дело. Отметим с товарищами.

Сколько лет я мечтала об этой встрече, как волновалась весь день! Не знаю, с чего начать разговор.

— А вы женились на той блондинке из полевой почты?

— Да что ты?! Я женился до войны, в тридцать девятом году, моей внучке скоро десять лет.

Я начала рассказывать про недавнюю встречу однополчан на бывшей Курской дуге.

— А я там не воевал. Я служил на Карельском фронте.

Это был Шакир Шакиров из Башкирии.

Но не тот.

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН



Фото 1944 г.

ТРИПТИХ

1. До войны

Вы палкой в снег потыкали,
А там, внизу, ручей.
Весенние каникулы.
Над школой шум грачей.

По льду конечком чертите,
Но слаб и мягок лед.
Огнем четвертой четверти
В момент его сожжет.

Весенние каникулы.
Крушение основ:
Распухшие фолликулы,
Ангина и озноб.

2. В войну

В гимнастерках эти дети,
Холодны и голодны,
Находились на диете
У грохочущей войны.

Их мальчишеские лица,
Их мужские костяки!
Пулемет, как говорится,
Взять на плечи — пустяки.

Эти юные солдаты,
Эта грозная пора.
Эти давние утраты,
Это дальше «ура!..».

3. После войны

Солдат-мальчишка одноногий
На деревянных костылях,
Взлелеянный в госпиталях,
Плывет, как парус одинокий.

А небо — синего синей.
Уже идут занятия в школе.
Видна и в городе и в поле
Его широкая шинель.

Начало службы

Так что же там сначала!
Лопатка на боку!
Да кровь в ушах стучала
Со звоном на бегу!

Но чем-то сердце грелось,
Когда валился с ног,
И проявлялась зрелость,
Хоть был ты сосунок,—

В том, что и в одиночку
Старался горячо
И поднимал, как дочку,
Винтовку на плечо.

Первая велогонка

Гора, стоящая торчком,
Раскрутка серпантина,
И степь, упавшая ничком
Перед отважным новичком,—
Вот общая картина.

Велосипедный низкий руль,
Трясущаяся рама.
Бетон, щербатый как от пуля,
И два — на память — шрама.

Велосипедное седло.
Взамен стремя — педали...
А на душе еще светло
И никакой печали.

Дочь Трифонова

И после кратковременной заминки
Друзья, кто группкой, кто по одному,
Поехали — поминки, не поминки,—
Но все-таки отправились к нему.

Еще не знали многие — до стога!
...Звонкам обычным не было числа.
Дочь, поднимая трубку телефона,
Всем говорила:— Мама умерла...

Ей было лет четырнадцать в ту пору,
И поражаало сразу, что она,



Ища в отце привычную опору,
Была, возможно, более сильна.

Та детская пугающая сила,
Таящаяся в недрах естества,
С которой она произносила
Немыслимые, кажется, слова.

Сидели средь табачного угара,
Внезапных слез и пустяковых фраз,
И вздрагивал, как будто от удара,
Отец, ее услышав, каждый раз.



— Помогите! — крик из сквера,
Женский голос молодой.
В нем отчаянье и вера
Повстречавшейся с бедой.

Здесь нужна, конечно, смелость,
Чтобы кинуться вперед.
И она у вас имелась,
Проявлялась в свой черед.

Отдаленно:— Помогите!..—
Слышат окна и сады,—
На немыслимой орбите
Ночи, боли и судьбы.

Пусть же в чуткой жизни вашей
Не кончается завод —
Помогать и тем, кто даже
Вас на помощь не зовет.



А пока вы смеялись счастливо,
Загорали, ныряли на дно,
Неожиданно возле залива
Пали сумерки, стало темно.

После длительной солнечной ласки
Так внезапен был мрака накат,
Что свои полотенца и ласты
Собирали уже наугад.

Лишь прибоя размеренный голос,
Да усталому взору видны
То ли позднего паруса конус,
То ли гребень высокой волны...

Старый боксер

Мощно сплюснуто переносье.
...В чем себя он ни прояви,
Сквозь любое многоголосье
Голос гонга гудит в крови.

Машинально готовый к бою,
На прогулке или в гостях
Так и носит перед собою
Руки, согнутые в локтях.

Традиция

...И несмотря на зоркость глаз,
Порой бывала ты незрячей.
Ведь и «Онегина» в тот раз
Ты посчитала неудачей.

Традиция, как ты строга!
Сядь отдохнуть на подоконник.
Когда Моне писал стога,
Ты думала, что он дальтоник.

Персонаж

Был не склонен к мести,
А скорее к лести.
Знал любые вести,
Был всегда при месте.

Вдруг его со стула,
Где сидел сутуло,
Языком спизнуло
Или ветром дуло...

Поэты читают Есенина

Седые важные поэты
Есенина читают вслух.
Отчасти трогательно это,
Однако зал довольно сух.

Один его читает, воя,
Но зал опять же не согрет.
Они Сергея старше вдвое —
И в этом, видимо, секрет.

Собачий лай

Формальный лай собачий—
Там, где ее места,
Она своей задачей
Всецело занята.

Смесь злобы и задора,
Бурлящая в саду,
Пока я вдоль забора
Почтительно иду.

Средь птичьих трелей летних
Зашлась, раздражена.
Но кончился штахетник —
И разом тишина.

ВАЛЕРИЙ
АЛЕКСЕЕВ



В

от, сынок, и съездила я на родину свою. Столько лет собиралась, все никак не могла насмелиться. Сеня мне, бывало: «Куда да зачем? Лебедой заросло, поглядишь и расстроишься». А как получил он инвалидного своего «Запорожца» — и переменялось у него настроение. «Ладно, мать, прокатимся в твои края. Тебе память, а мне удовольствие».

О машине я уже писала тебе, хорошая попалась машина, ходкая и не ломкая, а про сборы наши в дорогу Сеня писать не велел: «Будет там волноваться без пользы». Я сама сомневалась: а откажет в дороге? Управление ручное, со слухом у Сени не совсем хорошо, врачи нехотя пропустили,

КОММЕНТАРИИ К ДЕТСТВУ

ПОВЕСТЬ

когда оформлялся. Попадется лихой самосвал — и раздавит, как жука, и понять ничего не успеешь. Многие отговаривали: это, мол, дорога для молодых, вы бы лучше на поезде. Все же заразил меня Семен своей уверенностью. «Я, — говорит, — до войны еще водил и ездов всегда был осторожный. Если б не нога, мы с тобой, — говорит, — давно бы уже по всему Союзу раскатывали». Ладно, думаю, была не была, поеду как барыня. Да и то: от железной дороги километров под тридцать, пешком или уж не знаю на чем, а тут — к самой нашей усадьбе подкатим, бывшей, конечно. Жаль, похвастаться некому.

Ну, готовился Сеня тщательно. Две недели с картами сидел, то к Волоколамке, то к Ленинградке присматривался. Атлас мира купил, как будто вокруг света собрался. В «Вечернюю Москву» написал, и оттуда очень полезно ответили. Я не вмешивалась: пусть потешится, пока игрушка новая. Так и вышло, что от хлопот своих предотъездных он больше удовольствия получил, чем от самой дороги.

Ехали мы медленно, целых три дня. Думала, совсем меня укачает, но Сеня внимательно за этим следил, часто останавливался, выпускал поразмяться. В первой половине дороги все пел, а я рядом, с атласом на коленях, дремала. Ночевали один раз в Нелидово, а другой раз под Невелем, вот куда нас занесло! Атлас сам по себе, а шоссе не на атласе строятся. Никто толком дороги не знает, будто сроду в ту сторону не ездили. И погода как назло солнечная, утром ничего, а с обеда солнце в глаза, все шоссе огнем залито. Ох, и поворачал Семен на третий день, поминал и Россию-матушку и советчиков добрых из города Великие Луки, где нам голову совсем заморочили.

А большак на Капралы булыжный, как был до войны, так и остался. Раньше, правда, все на телегах, а теперь автобус пущен, будто по городу, два

Рисунки
В. Юдина.

паза в день, пыль за ним — ну просто маршлей висит. А телеги ни одной не увидишь. Подвозили мы, кому по дороге: школьников, старушек, молодую одну с ребенком. Ездят много люди стали: чуть какая необходимость — в Остров, в Псков, а то и в Ленинград поднимаются.

Съехали с булыжника — дорога мягкая пошла, мотыльки голубые над землею летают. И еще цветков синий столбиками, все обочины им заросли, до войны его в наших местах не бывало. Сеня говорит: «Прямо как за границу попали».

Доехали мы до места Горватны Горки, вид красивый, бывало, выйдешь — вся наша деревня как на ладони: Капралы, сыночек, в которых и ты родился, и я родилась, и бабушка твоя Татьяна Антонова, а больше уж никто не родится. Остановил Семен машину, выбрался из кабины, отхромал в сторонку, закурил, стоит и любуется. Мне бы тоже выйти, а я не могу, ноги вдруг ослабели. Смотрю через стекло, все зеленое вокруг, как в дожде, и страшно поглядеть выйти.

Вернулся Семен, посмотрел на меня, ничего не спросил, сел — и дальше поехали. Тут окончилась дорога совсем, затрясло нас на луговых кочках, захлестало травой по дверям. «Все, — говорит, — или посади машину».

Встали, вышли. Кусты со всех сторон, стою как во сне: а туда ли мы приехали? Но окрестности, если вдаль посмотреть, все знакомые: пашни, правда, не на тех местах, но луга заливные внизу, как и раньше, за лугами лес темнеет.

Пригляделась — а стоим мы на бывшей улице наших с тобой Капралов, и по обе стороны зеленые холмки, а за ними подступает кустарник. Смотрит на меня Семен, что-то спрашивает, вижу — губы шевелятся, а звуков не слышу, в ушах как ветер свистит.

Подтолкнул он меня. «Ну, помещица, что стоишь? Веди на свою усадьбу».

Потопталась на месте, пошла. Продираюсь наугад сквозь кусты, слышу — береза шумит. Громадная береза, ветвистая, ветер дунет — как водопад. На углу нашей усадьбы стояла. За двором у пруда. Пруд уже в низине, забудки там у воды росли розовые, нигде больше я таких не видала, только нет их теперь, да и пруд пересох. А березе хоть бы что сделалось, стоит и шумит.

Проморгала я слезы — поляна среди кустов, в самом центре холмоков травянистая. Тут у нас дом стоял, высокий, добрый был дом, с приделом теплым, двор для коровы, при въезде — ворота большие в чистый двор с поветью. Помню я его, как живой, все сучочки в бревнах на память знаю. Ты забыл, конечно, этот дом, только у меня в глазах он и стоит, а другие, кто помнил, ушли, получили от жизни освобождение. Было все — и нет ничего, бугорочек зеленый остался.

Что же, думаю удивляться, знала, куда ехала.

Сходил Семен в машину, принес термос, хлеб, масло, яички. Постелили мы на холмоков редюжку, сели, сидим и едим. Как на кладбище. А береза над нами, стариками, гудит. Вид, конечно, у нее выстаревший, ствол весь грубый, бугристый, ветки, как кости, торчат, наполовину голые. Но жива — и то хорошо.

Вот, поглядела, приехала.

Здесь нас с тобою, сынок, и застала война. Скажешь ты: опять про свое. Слышал ты все это, сотни раз я рассказывала, да урывками, между делами. Маленький был — терпения у тебя слушать не доставало, вырос — рассудил, что и так все известно. «Опять ты, мама, про свое». А теперь и рад бы, наверно, послушать, да некогда. Весь, поди, почер-

нел на своем экваторе. Была я вчера у тебя на квартире, проверяла, все ли в порядке. По правде сказать, сынок, и проверять нечего: не дом жилой, а сарай пустой, одни картонки да веревки на полу валяются.

Сеня мне сейчас через плечо заглянул, говорит: «Ну и что? Такая у человека работа. А был бы он офицером-подводником?» Ладно, перестала брюзжать. Думала письмо тебе написать, рассказать про нашу поездку, а выходит не письмо, а бог знает что, восемь листочков уже набежало. Ну, пускай, сколько выйдет, не стану я себя обрывать. Может, выберешь время, прочтешь. Нет — в сторонку отложи, я пишу себе и пишу, внимания не требую, времени золотого не отнимаю...»

Видимо, рука у мамы устала, да и паста в карандаше начала иссыхать, последние буквы стали блекло-зеленые. А ниже, с середины страницы, побежали красные строчки. Плавные учительские наклоны, в округлых «о» и «а» проглядывает что-то ворчливое.

Стопка, однако, изрядная, с сигаретную коробку толщиной, пришла бандеролью. Толстая пачка тетрадных листов, сплошь исписанных синим, красным, зеленым и черным, мама вырывала свободные странички из ненужных ученических тетрадей, хранила их — и вот пригодились.

Вижу, как сидят они в однокомнатной московской квартире, два моих старика. Вечер, отчим в кресле у торшера, вытянул не сгибающуюся в колене ногу, читает свою «Вечернюю Москву». Лоб у него сурово наморщен, мамини очки ему не по глазам, а собственных для чтения у него отроду не было.

Мама, кутаясь в темный вязаный платок, тоже в очках, но более мощных, «ближнего боя», горбится над своим девичьим письменным столом, за которым она проверила не одну тысячу школьных тетрадей, при стовечевой настольной лампе под оранжевым матерчатым абажуром. Эта лампа всегда меня сердит:

— Ну, посмотри, как освещен у тебя стол! Это ж пытка для глаз.

— Ай, отстань, — отмахивается мама. — Посидел бы ты с мое при керосине.

На столе у нее стопка листов и граненый стакан с шариковыми карандашами. Ни один из карандашей толком не пишет, а моими зарубежными, с кнопочками, мама пренебрегает: от них мозоли.

На стене к обоям припилены открытки с видами тех городов, где я работал, и всегда под рукою у мамы — то лежит на коленях, то висит на спинке стула — безобразно старая кожаная сумка с довоенным названием «ридикюль». При одном только виде этого ридикюля вспоминается песня: «Милый купи ты мне шляпу, в этой мне стыдно ходить. Если не купишь — заплачу и перестану любить». В ридикюле хранятся пухлые потрепанные пакеты из черной бумаги с фотографиями, которые можно рассматривать только из маминих рук.

Я скучаю по ним, по обоим моим старикам. Вижу их в кабине тесного «Запорожца»: оба старательно (на проселочной-то дороге) перепоясаны черными ремнями безопасности, что-то парашютно-десантное, десант в прошлое. Отчим в поношенном пиджаке с моего плеча; давно миновали те времена, когда я донашивал его вещи. На маме невероятная шляпа-колпак от солнца, в красных и желтых ромашках. «Ташимся, как на поминки», — жмурюсь от солнечных лучей, бьющих в лобовое стекло, ворчливо говорит она. А отчим, увлеченно руля, то и дело

затягивает любимую песню: «И-и заслонила дорожку — ту, что ведет под уклон».

Собственно, отчим знал только эти две строчки и, когда, бывало, в застолье широким жестом приглашал подпевать, начинал с протяжного «И-и» — и оставался в одиночестве. Те, кто знал слова песни с начала, запевали, как надо, и отчим прислушивался недоверчиво, потом говорил: «Нет, опять не пошла». Возможно, ему просто нравилась эта строчка-картинка: темная травянистая дорожка, косо скрывающаяся за деревьями, чтобы там, в сырой тени, тихо сбежать под уклон.

Как далеко отсюда тот зеленый холмонок, о котором пишет мама, и как трудно поверить, что от него идет прямая линия к моему распахнутому ночному окну... И что это за слово «холмонок», никогда его от мамы не слышал. «О, Русская земля, уже ты за холмом...»

«Здесь нас с тобою, сынок, и застала война. Школы одиновской я ремонт начала в сорок первом, в июне. Жить там стало неудобно, вот и перебрались мы в Капралы, к бабушке твоей, Татьяне Антоновне. В этот самый дом, в воскресенье, двадцать второго. Потихоньку, пешочком пришли, и то на руках тебя несла, то вела за руку. Ножки у тебя, двухлетнего, были еще некрепкие, по дороге шел, спотыкался. И все бабушку бранил: «Как она далеко живет, старая! Идешь к ней, идешь...» Я не путаю, сынок: разговорчив ты был у меня не по возрасту, среди школьников жил, нахватался. В два года болтал уже, как четырехлетний. Да что в два! В годик — отругала я тебя за что-то, ты сквозь плач мне говоришь: «Любить! Не ругать! Любить! Не ругать!» Это ведь не просто лепет детский, любви человек требовал. С тем и рос: люби тебя, да и только, правым или неправым — все равно люби.

Вот лежит передо мною на столе фотография, уголки все обломаны: мы с тобой на крылечке бабушкиного дома в Капралах. Бревнышки родные, карнизы хоть и не узорчатые, но прилажены красиво, у завалины — скамья, братья делали, только мы на той скамье не любили сидеть, высоковатая она получилась. Все, бывало, на ступеньках сидели. На себя, как на чужую, гляжу: темная, худая, взгляд исподлобья. Платье белое — как на цыганке, Катя сшила, в горошек. А к коленям ты стоишь прижимаешься. Черноглазый, лысеный, волосики у тебя плохо росли. Уже не помню сейчас, по какой причине мы с тобой невеселые вышли. Снимал нас Толя не в день, конечно, войны, тогда не до съемок уж стало, а за неделю, за две до этого. Тоже в воскресенье, когда к бабушке приходили.

Брови у тебя насуплены, губы поджаты, вроде важную заботу какую обдумываешь, а глазами уже на что-то нацелился: очень ты любил безобразия. Где сломать что, испортить, разбить, навредить — тут как тут мой сынок. Нарядила я тебя хорошо, в беленское, летнее, и бантик на груди повязала, из того же материала, что и мое платье, в горошек.

Я тогда ждала вызова в Ленинград к твоему отцу, он в военно-медицинском училище учился. Может, оттого и привыкли мы с тобой, что вызова нет и нет, то ли мне бросать работу в школе совсем, то ли ремонт там заканчивать. Ты все спрашивал, беспокоился: «Что же папа за нами не едет? Может, он не хочет нас к себе забирать?» «Нет, сыночек», — отвечаю, — едет — значит нельзя, командиры ему не велят, он у нас с тобой военный». И такое счастье у тебя на лице, даже смеяться от радости начинаешь, за подол меня дергаешь:

«Мам, военный? Мам, правда, военный?» Что такое «военный» — ты тогда, конечно не знал, слово, наверное, нравилось. Ты последний раз папу видел, когда было тебе год и три месяца. Вернее будет сказать, что не ты его, а он тебя видел.

Вот смотрю я на детскую твою фотографию, а рядом — другая, только вчера от тебя получила. На лужайке стоишь, вид надменный, нерусский, кто не знает тебя — тот скажет: заносчивый человек. Лысый, старый мой сын. Мне бы дочку родить, все была бы сейчас к матери ближе. Может, и не пришлось бы эти листочки испускивать.

Ладно, дальше пишу. День был солнечный, теплый двадцать второго, молодежь в Капралах вся ходила нарядная: собирались в Мячиково на ярмарку, там у них в воскресенье был престольный праздник, что ли, теперь уж и не помню.

Кое-кто из молодежи подвыпивший уже, частушки по всей деревне: «Милый рыжиков насыпал, я по рыжикам пошла, дорога моя подруга, это все через тебя». Вот такие помню слова, а при чем тут рыжики — убей, позабыла.

Капралы наши хоть и небольшие, но богатой деревней считались, и невесты капраловские славилась. Взять из Капралов, пристать в Капралы — значило выгодно жениться.

Толя, младший мой брат, тогда еще совсем паренек, на дороге меня встретил: «Хорошо, что ты, Лена, пришла. Дай возьму я костюм Алексея бostonовый, не в чем в Мячиково пойти. Я бы сам взял, да мать сундук не открывает, ругается».

Был простой он, наш Толя, все свое деревенским мальчак отдавал. «Нá, бери, я еще заработаю». Он в районную газету тогда поступил, литсотрудником, только-только печататься стал, за подписью «Анатолий Подзорный», и все казалось ему, что грести он будет деньги лопатой. Так до старости с этим и прожил.

«Да бери, — говорю, — надевай, все равно он Алексею не скоро понадобится».

Мужинны гражданские вещи я все у мамы хранила, школа ведь — как двор проходной.

И пошел брат Толя вперед нас, только мама, Татьяна Антоновна, без меня ему костюм все равно не дала. Вот такая была твоя бабка Таня, всех детей своих крепко в руках держала. Отругала она Толю, вытолкала его в загорбок, а ему и горя мало: подхожу к дому, смотрю — стоит у ворот среди девчонок деревенских и соловьем заливается. «Что же ты не переоделся?» «Ай, — говорит, — я и так хоть куда».

Любимая была у него песня: «Сажу розу под березу, буду розу поливать. Не скучай, моя приятка, я приеду погулять». Много у него было приятка, которые со слезами ожидали, когда он из района приедет по газетным делам. Ты-то помнишь его уже старым, больным, заброшенным, а в молодости — привлекательный, интересный был парень. Как сейчас его голос помню, глуховатый такой, с придыхом, вроде как у Утесова: «Ох, забавочка моя, кака улыбочка в тебя...»

Ты не удивляйся, сынок, это не ошибки мои на старости лет, а так тогда пели. Все говорили «в гебя» вместо «у тебя», и не резало ухо. Даже Толя, на что литсотрудник, говорил, бывало, что в заметках у него сельская речь проскальзывает, очень трудно избавиться. Но послушала я в поездке — никто теперь уже не говорит «ляной» вместо «ленивый» и мусор «шумом» не называет.

Отвлеклась я, ну ладно. Заходим мы с тобой в бабушкин дом, с мамой я побранилась, Толе мужнин костюм вынула. Нарядила, проводила Толю, сели мы за стол, посидели. Бабушка твоя, старший

брат мой Александр со снохой нашей Катей. Дядю Саню ты, сынок, помнить не можешь, он погиб в сорок четвертом под Нарвой. С Катей мы почти в одно время похоронки получили, хотя я, того не зная, ходила вдовой уже целых три года. До войны дядя Саня в сельпо работал, такой хозяйственный был, серьезный, плечистый мужчина. Лицом не в нас, не в бабушку Татьяну Антонову, широкое, украинское у него было лицо, брови черные, красивые, дети оба в него пошли, что Юра, что Олег, их-то ты знаешь. С ними вместе тебе пришлось всю войну бедовать.

Дядя Саня, сынок, был опорой всего дома. Цену он себе знал и во всем поступал обстоятельно, взвесив. Как жену в дом привел—отселиться не стал, хотя мама с Катей не сразу поладила. То ли лучшей пары мама для старшего сына хотела, то ли острый Катин язычок ей не понравился, только, помню, дулись они друг на друга по первым порам. Саня так говорил: «Бабы, вы между собой сколько надо можете свáриться, только крынки не колотить, и отселиться меня не принуждайте. Человек я в районе заметный, что ни сделаю—все на людских языках. Не к лицу мне сейчас новый дом ставить, жить вам вместе так и так». Ну, к войне пожил, пообвыклись все, и было в доме полное уже согласие.

Собирались редко: мы с тобой—при школе, Толя в городе, Саня—тоже занятый человек, редкое у него свободное выпадало воскресенье. И пока мы по-семейному за столом сидели (последний в жизни раз), слышу из избы—кабакается ты на четвереньках по крылечку и поешь: «Трали-вали, девки...и, за траву держались». Дальше там такая похабщина, что и написать не могу. Это учительский-то сынок распелся. Катя с Саней—ну хохотать, а я взяла голик возле печки и выхожу в сени. «Что за новые песни, кто тебя научил?» А ты смотришь на меня снизу вверх, с четверенек еще не встал, и говоришь: «Юра научил. А ты что будешь делать, мама?» «Драть тебя буду, как кота». Этих слов «драть кота» ты пуще всего боялся: кот у нас в школе жил вороватый, и сторожиха тетя Нюша очень жестоко этого кота стегала. Выдерет, в блюдце молока нальет—и стоит, пригорюнясь, глядит, как он—уши прижаты—лакает. «Веничком драть будешь, мама?»—это ты меня спрашиваешь, а в голосе уже слезы. «Нет,—отвечаю,—прутик вытяну». Залился ты в три ручья, на пол сел и говоришь: «Лучше веничком, прутиком не надо».

Но ни веничком, ни прутиком тебе не попало, Юра тоже остался невыданным, хоть отец его пошел искать, озорника. Вдруг на улице зашумели, заголосили: парни наши с полдороги в Мячиново вернулись, ярмарку милиция распустила, говорят—война.

Тут же братья мои собираться стали: старший Саня—в отряд по вылавливанию десантников, младший Толя—в оборону границы. А граница от нас была в двадцати километрах. Старая граница, конечно, к новой-то так и не успели привыкнуть. Прибалтика тогда уже советская была, но идти в оборону все равно было назначено. Люди верили, что оборона будет стойко держаться, опасались больше десантников, немецких парашютистов.

Вся деревенская молодежь, кто переоделся, а кто и нарядный, как с ярмарки, двинулась кучей: кроме Сани с Толей—Сереза (Маши Доиной муж), Леша с Васей (братья Моченковы), три сына дяди Андрея Литовцева (Георгий, Михаил и Семен) и зять его Виктор, да всех не пересчитаешь. Тебе-то эти имена ничего не говорят, а для меня все люди

живые. Холостые—Толя наш, Вася Моченков да Семен Литовцев—хорохорились: «Вьюнов,—говорят,—идем ловить». Деревенские наши парни, и Толя в юности, очень увлекались этой ловлей: на мелкой воде, в торфяных полях, закатают штаны повыше, ходят и воду взмучивают, пока не станет коричневая, как кофейная гуща, а тогда уж вьюн и всплывает.

Но это я так, к слову, какое имелось у людей настроение. В общем, холостые, как на праздник, шагали. Женатые—те по-серьезному прощались, по-деловому. Особого плача, как показывают в кино, при этом не помню. Плач потом начался, через несколько дней.

Очень ждала я в то время письма. И нервничала, и сердилась на мужа, и перечитывала его последнее письмо, все хотела найти там знак: куда его могут направить? Истрепала, исчитала письмо—ни словечка о том, хоть на просвет рассматривай. Жаловался отец твой, что не службица, а службица идет, что подушка перьевая забыл как выглядит. А все больше о тебе твой папа писал, тебя вспоминал и тобой восхищался. Писал папа о том, что себя не пожалее, а откроет тебе в жизни дорогу. Последнее это было от него письмо, больше ни словечка единого.

Про эвакуацию речи не шло, но в деревне народ быстро почувал большое передвижение, понемножечку стал собираться, куда не зная, в дорогу. Канонады у нас в первые дни еще не было слышно, воздушных боев над нашими глухими местами тоже не видели, а пошел через Капралы табунами поторонний народ. Из Литвы идут, из Латвии, чуть ли не из Польши, ничего при себе не имея, только ужас в глазах. О ночлеге не спрашивают, одна у них забота: по какой дороге в глубь России идти. Тяжело на душе у нас стало. Тишина вокруг, а люди бегут и бегут, как от заразной болезни. Ну, они-то ладно, в глубь России идут, велика Россия, всем места хватит, а мы, на краю, чего ждем?

Суток через несколько начало оттуда греметь. Все в Капралах на улицу высыпали, женщины и детишки, стоим у ворот и слушаем, а оттуда с ясного неба все гудит и гремит. К мужикам поближе держимся: может, скажут чего. А мужиков осталось—дед Тимофей Петряков в окружении внуков (красивые были девочки, погодки, двенадцати, тринадцати и четырнадцати лет, Таня, Шура и Валя, мать их Куша без мужа осталась, бросил ее муж с дочерьми и пропал еще до коллективизации), дядя Андрей Литовцев, Петро Моченков (ему было от воинской службы освобождение) да пятнадцатилетний Кузнечихин сын Ваня Немой (Дониных). Это на нашем краю, тот-то край я совсем уж не помню. А ребятни насыпало—у Дониных трое, у нас с Катей трое, у Литовцевой дочки ровесник твой Валечка возле колен, у Петра и Нюры Моченковых тоже трое внуков, да еще младшая десятилетняя дочь.

Ты их всех должен помнить, хотя бы немного, ну а если забыл—может, к старости припоминать начнешь, как я. Для меня весь этот пустой пригорок народом заполнен, как на гулянии. Валя Литовцев был твой лучший дружок, руку левую ему после войны уже, в сорок пятом, гранатой оторвало. С Моченковыми Витей, Федей и Павликом вы все дрались, бесконечная шла между вами борьба, о причинах судить не берусь, вам виднее. А с девчонками Дониных, Фаей и Раей, ты охотно играл, все свадьбы разыгрывали, то одной ты был жених, то другой, даже ссорились сестры из-за тебя, может, помнишь. Да они к нам в Москву один раз

приезжали, в пятьдесят четвертом году. Ну, другие постарше, вам не компания. Разве Ваня Немой в ваши игры включался, шалаши вам строил, по ягоды вас водил. После войны, конечно.

Ближе всех к тебе были братья твои двоюродные, Юра и Олег. Юре шесть, Олегу четыре, а тебе всего два, и не очень им было интересно с тобой связываться, но война все сравняла. Только немцы на дороге к Капралам — мы с Катей (молодые, угонят) бегом из деревни в одну сторону, а бабка Таня с вами троими — в другую, и сидит себе в лесу на пенечке, прикрывая вас шубой. Вместе, как цыплята, росли, а теперь и не узнаете. Ну, да что ж, жизнь такая. Помните друг друга — и то хорошо. Юра баловник был, а Олег — тот любил без причины плакать. Дрались вы между собой интересно: ты с Олегом — на Юру, а ему было от вас спасение только за бабкиной юбкой. Олег басом ревет, весь в слезах, и лезет к нему с кулачками, ты пыжишься, раскрасневшись, и тоже все в бой, а Юра уж и сам не рад, что с вами, с мелкотой, связался: за братнины слезы ему же от Кати и попадало. Большой — значит все равно виноват. Только баба Таня его защищала. Но любила больше всех, сыночек, тебя.

Так вот мы и стояли посреди деревни со всем своим выводком, слушали, как пустое небо гремит.

Дядя Андрей ходил выяснять, вернулся пасмурный: толковали прохожие люди, что немец Двину перешел и двигается в сторону Острова — Пскова. То ешь прямо на нас.

Появились над нами самолеты, свои и чужие, мы их сразу различать научились: у немецких и вид другой, страшный, и гул железный. Немецкие ничего не бомбили сначала: сыпались из них листовки, и было там по-русски без ошибок написано, что Советская власть для России негодная и идет германская армия власть божественную восстанавливать.

Тут войска наши пошли небольшими, правда, группами, истерзанные, искровавленные, шли все лесом, избегая выходить на поля и дороги. На вопросы солдаты не отвечали, отмахивались или ругались последними словами.

Сутки так продолжалось или двое — не скажу. Наконец схлынул народ, мимо деревни никто не идет посторонний, канонада как будто утихла, редко-редко пролетит вдалеке самолет, и успокоились женщины: может, не все так страшно, может, остановился фашист?

И вот тут-то авиация немецкая нам себя показала. Как железною крышей небо накрыла, ровно так, не торопясь, идет и идет, волна за волной. И захула земля поблизости, загорелись села на большаке. В ужасе народ онемел: не видали еще таких пожаров среди ясного дня.

Прибегает мама с улицы, схватила платок: «Ну, Лена, плохи дела. Одинцово горит. Побегу спасать твои зимние вещи». Я тебя на руках держу, на нее смотрю во все глаза: «Да ты что, мама? Какие зимние вещи? Лето на дворе». Ничего не сказала мне мама, рукой махнула — и бегом.

А ты прижался ко мне. Смотришь на дым и огонь за Горватными Горками и спрашиваешь: «Мам, это мы воюем?» «Воюем», — отвечаю.

Хотела сама бежать за мамой вдогонку, только Катя меня удержала: «Не сходи с ума, Ленка! Что я с троими-то?» Посмотрела я на нее — она белей полотна: испугалась одна остаться.

Юра, ее старший, Олега отвлекает, чтоб не плакал, на крыльцо его вывел, показывает: «Вон, смот-

ри, немецкий упал!» Да какое немецкий — наши падали. А может, и не падали, может, вовсе не было наших, только кажется теперь: летели с неба, как горящие щепки.

Ждем мы час, ждем другой смеркаться уже стало. Сбились все в избе в одну кучу, сидим и молчим, и дети возле нас притихли, не плачут. Уж на что Олег любил всплакнуть по поводу и без повода, и тот притих. Чувствовали дети, наверное, что без бабы Тани мы пропадем.

Наконец, возвращается бабушка, простоволосая, подол весь в грязи и с пустыми руками. Километр не добежала до Одинцова: обстрелял ее немец с самолета, не поленился, оглушил, напугал, и вернулась она ни с чем.

И остались мы с тобою, сынок, на бабушкином иждивении в летней одежке, в чем пришли двадцать второго. Вот ведь странность какая: на неделе я бегала в Одинцово, проверяла, что и как, а забрать свои вещи — даже в голову не пришло».

Я, конечно, знаю эту старую пожелтелую фотографию, о которой рассказывала мама. Даже ябло-невую ветку с размытыми очертаниями в левом верхнем углу помню. А себя двухлетнего, с бантом на груди, — припомнить не могу. Совершенно чужой, посторонний ребенок, отдаленно похожий на моего Гошку, только более скованный, болезненно настроженный, с глазами недоверчивыми и сумрачными, которые смотрят не с вопросом, а с подозрением, не узнавая будущего себя. Я чувствую, что я ему не нравлюсь. Он так и отталкивает меня взглядом: «Уйди, я жду не тебя». Или хуже того: «Куда ты девал моего папу?» А в самом деле, куда я его девал?

В детстве, до самого приезда в Москву, у меня было странное дискретное зрение: мир представлялся мне густым пестрым мерцанием, то ли мелких пятен, то ли крупных точек, в котором, как в бульоне, плавали плотные сгустки материи в виде, например, животных или человеческих фигур. Помню себя стоящим посреди разноцветного луга, все вокруг меня разделено на зеленые и желтые соты, каждая клеточка мерцает по-своему, и это мерцание приобретает звуковую окраску, складываясь в равномерное жужжание: «Бз-з-з...» Лица людей, когда я рассматривал их вплотную, представлялись мне удивительно пестрыми, все в рябинах, прожилках, в голубых и красноватых пятнышках. Пестрыми виделись и чужие глаза: я с недоумением слышал от взрослых, что такой-то голубоглаз, по моему мнению, у него были глаза в серую и рыжую крапинку. Но особенно странные вещи происходили с небом: заурядное псковское небо было для меня либо белым в красный горошек (это в теплую солнечную погоду), либо белым в черную крапинку, когда вечерело, но никогда — голубым. Разумеется, я и не подозревал об этой своей странности, мне удобнее было верить, что и остальные видят мир так, как я... Впрочем, здесь противоречие: я и знал и не знал об этом, дети инстинктивно хитры, как зверюшки, мне случалось проговариваться, и тогда даже сверстники мои поглядывали на меня странно («Марк сказал, что ромашки зеленые и жужжат»), гораздо проще было прикинуться, что со мной все в порядке. До сих пор не имею понятия, в чем тут было дело: то ли врожденная близорукость, то ли небольшой астигматизм, а может быть, просто особенность детского зрения. Но детишки мои, Гошка и Тошка, с большим удивлением меня слушают, когда я навожу их на эту тему. Помню, когда я году



в пятьдесят седьмом увидел первых пуантилистов, меня охватил радостный и пугливый озноб: такое чувство, должно быть, испытал Робинзон, когда на песчаном берегу своего острова разглядел след босой ноги. Но к тому времени это странное видение безвозвратно исчезло, оно пропало, повторяю, с переездом в Москву: там я, деревенский мальчишка, не мог себе позволить роскоши видеть мир не так, как все. А сейчас, через полвека без малого, я даже представить себе не могу, как я двигался, ориентировался, просто жил в своем рябеньком пульсирующем мире: южное, роскошно распахнутое небо для меня словно накатано голубой масляной краской, ни одна точка в нем не мерцает и не жужжит.

Но когда я пытаюсь проникнуть в эту лысую головку на предвоенной своей фотографии, вообразить себя этим существом, перед глазами у меня начинает дрожать, и из пятен размытых складывается картина — поле ровных ромашек или белых тюльпанов, потому что их стебли и листья не сухи, а сочны и мясисты, и самая белизна крупных лепестков имеет какой-то зеленоватый оттенок. Но тюльпаны не растут в наших песчаных местах, по крайней мере полями, и, когда я говорю об этом матери, мать с досадой отмахивается:

— Ай, придумал, это ты за границей видал, всё путаешь.

Но я не путаю. Я вижу себя, как иду я среди этих белых цветов по пояс, раздвигая холодные стебли руками, касаясь головок, твердых, как огурцы, и у каждого цветка — черно-желтая жужжащая серединка. Где, когда я видал это поле мерцающих бело-желтых цветов и себя, бредущего по этому полю (да еще с белым бантом на груди), — остается загадкой. Но какое-то ощущение бессмысленного, затаенного ликования связано с этим полем, ожидание радости там, за кромкой цветов, на краю.

Я не помню родного отца и не могу помнить, слишком мал я был, когда всё случилось. Лицо отца существует для меня только на фотографиях, очень похожее на мое теперешнее, но — моложе, чище, светлее и, как бы это получше сказать, довернее. Да, у них тогда были другие лица: напряженные, сосредоточенные, с яростью в глазах, лица исторического оптимизма. Чувство превосходства? Нет, не то, но что-то около этого: будто они знали нечто такое, что нам, сегодняшним, знать уже не дано.

Вид жужжащего поля бело-зеленых цветов, ожидание счастья на краю и упрямый шепот «папа, папа» странным образом передаются мне через взгляд насупившегося ребенка всякий раз, когда я беру эту фотографию в руки. Тот малыш, которым был когда-то я, несомненно, видел это поле и знал, что на краю его ждет счастье. Может быть, когда-нибудь перед моими глазами под небом в черный горошек вновь распахнется сырое поле белых цветов, и это будет означать только одно: жизнь совершила свой круг и бесповоротно окончена. Вот почему я побаиваюсь этой фотографии.

Хотелось бы мне взглянуть в лицо тому немцу, который с самолета обстреливал бабу Таню. А впрочем, что новое я бы увидел? Сколько их глядит на нас с фотографий, с экрана кинохроники: молодые, в расхристанных униформах, кто шагает вразвалочку, кто стоит подбочась, сухонько и мелко смеется, а в зубах сигарета или жвачка за щекой, любители сорить фантиками и пустыми пивными банками, охотники воевать с безоружными... Сладкая это, должно быть, война: полоснуть из автомата поперек живота по толпе людей, ожидающих в аэропорту посадки, то-то радость, восторг,

упоение, когда женщины, прикрывая детишек, начинают метаться и выкрикивать что-то на древнем своем языке. Или так: с балкона кинозала швырнуть тяжелый пакет в темную глубину партера — вспыхивает, грохот, вопли, запах дыма и горелого мяса, судороги истерзанных человеческих тел в темноте, все вокруг вскопилось и, хрипло дыша, побежали кто куда, а он спокойно встает, выходит на неоновую улицу и, испытывая приятную дрожь во всем теле, сухонько и мелко смеется, дерьмовый борец за идею, которая не стоит дерьма.

И тот белобрысый, в очках и шлеме, с оскаленными в сухой улыбке нечистыми зубами, с золотистой щетиной на подбородке, стреляя, кричал, должно быть, что-то под рев самолета: «Ну, каково? Будешь, старуха, знать!» Сколько жизней ты, скот, истребил, столько, кажется, прибавил себе, так ведь недалеко и до бессмертия. Но при этом, конечно же, важно чувствовать себя защищенным, иначе какое уж там, к черту, бессмертие и какая там, к черту, идея.

И еще одна картина, которая роднит меня с тем ребенком на фотографии: на мелководье, где вода так прозрачна, что ее совсем не видно, и светлая рябь летит прямо по воздуху над песком, я стою (нет, мы с ним стоим) по щиколотку в этой ясной воде и ловим пятнышки на невидимой глади, а рядом с нами, смеясь, наклонившись и придерживая нас руками, стоит отец. Лица его я не вижу, только чувствую руки, но каким-то образом он дает нам понять, что то, что мы делаем, смешно, и мы смеемся... нет, смеюсь я один, а младенец так и остается озабоченным и насупленным. И не дай бог мне оглянуться, запрокинуть голову: я увидел бы наклоненное над собою свое собственное лицо — с седыми висками и коричневым морщинистым лбом.

Но все это довоенное, краткие отблески несостоявшейся жизни. Дальше всё поглотила черная пропасть глубиной почти в два года. Лишь один просвет, связанный, видимо, с первыми месяцами беды: нет, я не помню, как ухало на большаке, ни криков, ни беготни, ни паники, помню только ужасные сумерки, за окошком красное, усеянное черными точками небо, мы сидим с Олегом и Юркой на лавке возле стола, какая-то незнакомая тетка обнимает нас троих и зачем-то укрывает клетчатым платком, а Олег канючит:

— Лампу, лампу зажги.

Мама чуть поодаль, тоже на лавке, в красном, очень нарядном платье, сидит, стиснув колени, почему она не рядом со мной — не понимаю, и это меня очень тревожит.

— Лампу, лампу зажги.

А лампу зажечь нельзя, это ясно даже мне, малолетке. И еще я знаю, что тети Кати нет дома, караулит нас не она, а та самая незнакомая женщина, и еще кто-то чужой сидит в доме. Темный, толсто одетый, в дальнем углу у дверей.

Мама задумывается, морщит лоб, шевелит губами, потом тихо говорит:

— Нет. Никто к нам не приходил. Все по домам сидели.

И я вижу ее в сумраке, в красном платье, которого у нее никогда не было, в призрачном доме, которого нет, в сумрачной растаявшей деревне, населенной одними фамилиями: Донины, Литовцевы, Моченковы, Петряковы...

Впрочем, нет, не одними фамилиями. Дониных я помню послевоенных. Лучше всех, конечно, Ваню Немого: для меня в свое время это был самый большой человек на свете, самый сильный: подпаять на руки Юрку, Олега и меня ему не составляло



труда, да что там, он и племянниц своих, Файку и Райку, сажал себе на плечи и носил нас, пятерых, по дороге к кузнице, гудя, как автомобиль.

В кузнице Ваня Немой работал после войны, помогал пришлому старику Семенычу, имени которого у нас в деревне Новины (разумеется, Новины, Кап-ралов-то уже не было) никто не знал, и вообще-то приближаться к кузнице мне мама не разрешала: не потому, что это было бог весть какое опасное место, а потому, что Семеныч, худой морщинистый куряка с вечно слезящимися глазами, переставал шквернословить только тогда, когда кашлял.

— Опять вы, распертык в ноздрю вас и в ухо, возгривыц распротакие, явились,— это означало дружелюбное приглашение заходить.

Не брезговал Семеныч и немецкой бранью, но самыми излюбленными у него были словечки собственного, так сказать, изготовления: «падский выездок» или что-то вроде.

Мама не без оснований опасалась, как бы я не занес этот вокабулярий в школьное здание, где мы тогда жили, и часто сетовала:

— Ну, Ване хорошо, он хоть и слышит, да повторить не может. Детей-то зачем туда таскать?

Шалаш, построенный Ваней Дониным возле кузницы для нас, малышей, мама обнаружила в кустах и собственноручно разрушила. И сколько мы, ребята, ни просили Ваню построить новый, он только смеялся и качал головой: к маме моей он относился с безграничным почитанием. Мама научила его читать и писать, пользуясь при этом какой-то особой методикой: сидеть в классе среди других нормальных учеников он стеснялся, и она с ним занималась поздно вечером, после уроков. Я это помню: за войну Ваня многое позабыл, и после освобождения он приходил к нам в Новинскую школу в темноте, как будто крадучись, я засыпал за перегородкой и слышал сухой стук мела по доске и мамин голос: «Ну, понял? Ну, теперь понял?» Ответом было молчание.

А в этом шалаше мы с Фаей и Раей так славно играли под аккомпанемент перестука молотков и матерщины Семеныча. Не помню уже во что, вряд ли в свадьбы, я слишком дорожил своей мальчишеской репутацией, а Юрка насмешником был превеликим.

Шалаш, четырехкатный, добротный, просторен был, как изба, но за кустами, которыми заросла вся деревня, его почти не было видно. Нам, детям сырых и тесных землянок, он казался дворцом. Мы натаскали туда вдвоель сена, а чтобы случайно не заползла гадюка, Ваня выкопал вокруг шалаша глубокую канавку, в которой, бывало, даже стояла вода.

Сидя на мягкой сенной подстилке, ребята слушали мои, как мама говорила, «фантазии», которые я с ходу сочинял, об одиноком и бесстрашном разведчике по фамилии Туманов: возможно, фамилия эта была связана с известной нам всем партизанской песней «Ой, туманы мои, растуманы». Великие подвиги совершал мой Туманов со своим верным другом медведем, гитлеровцы боялись его, как огня, и я до сих пор вижу, как смотрят на меня одинаковыми серыми псковскими глазами две подружки мои, Фая и Рая, хотя из своих тогдашних «фантазий» я не могу вспомнить почти ничего.

Немой Ваня любил малышню бессловесно и преданно. Ходить с ним по лесу было все равно, что с верным псом: шаги у него были крупные, уйдет вперед, остановится, обернется и ласково смотрит. Это был наш человек. Увидит хороший гриб — пройдет мимо, не подав виду, но так, что мы, ребята, этот гриб непременно заметим и скопом, визжа,

кидаемся и толкаем друг друга, а Ваня стоит поодаль среди деревьев и радостно смеется.

Смех у него, надо сказать, был не вполне человеческий: если не видеть его лица, то можно подумывать, что он задыхается после трудного бега, а посмотришь в лицо — и видишь раскрытый в широкой улыбке рот, и почему-то сразу думалось о его беспомощном языке.

Ваня старался смеяться беззвучно, полагая, что смех в полный голос получается у него не так, как у других людей. Обыкновенно немые мычат, всё стараются привлечь к себе внимание либо что-то растолковать. Ваня же был на редкость молчаливый немой: звуки издавать он вообще не пытался, даже кашель и чих подавлял, и, понаблюдав за ним со стороны, можно было подумать, что он просто немногословный и сдержанный человек. Я, например, все надеялся, что Ваня бросит играть в молчанку и что-нибудь скажет. Мне и сейчас кажется, что это была не немота, а просто психологический барьер: страх говорения.

Несмотря на свою крупную статью и солидный (для нас, ребятни) допризывный возраст, Ваня Донин стеснялся и избегал девчат, которые, включая всех трех сестер-красавиц Петряковых, поглядывали на него совсем не пренебрежительно. Тогда-то я, конечно, этого не понимал, но меня раздражало, что при виде нашей ватаги, шагающей вслед за Ваней в лес (а идти надо было как раз мимо Петряковского подворья), девочки Петряковы, стоя у плетня и положив голые локти на жердину (именно голые, даже я, малолетка, обращал внимание на эти белые, полные, без единой царапины руки), начинали смеяться и говорить друг другу что-то ненужное, а бедный Ваня с покрасневшими ушами и втянутой в плечи головой ускорял шаг и чуть ли не пускался рысцой, стараясь поскорее укрыться за спасительными кустами.

И, собираясь за грибами или ягодами (мама и бабушка охотно отпускали нас с Ваней, хотя лес и кусты вокруг Новин были буквально забросаны неиспользованными боеприпасами), мы трое, Юрка, я и Олег, старались не поднимать суеты, чтобы петряковские не узнали о наших приготовлениях.

Конечно, Ваня не мог все время разгуливать с малышкой: он работал с Семенычем, как взрослый, надо было содержать всю семью маму Марфу и сеструху с детьми. Но грибник и ягодник (вообще д о б ы т ч и к) он был отменный, с пустыми руками никогда домой не приходил, снабжал добычей и бесхозного Семеныча, поэтому в лес или на реку его даже посылали. А он непременно звал малых детей. Я представляю, как сиротливо ему было в лесу одному да немому.

Чуть слышу мамин голос «Маркуша, Ваня тебя», — спешу на крыльцо. «Отпустили?» Ваня, улыбаясь, кивает большой белолобой своей головой. «Куда?» В ответ Ваня либо трюнкает губами, что означает «грибы», либо показывает щепоть, это ягоды, либо растягивает руками как бы веревочку, это значит «рыбалка». Глушить рыбу на Рвах он никогда не ходил и нас отговаривал (если можно назвать так его гримасу, когда он, прижмурив глаз и выпятив губы, начинал покачивать головой).

Бывало, что, блуждая с ним по лесу, мы, малыши, наталкивались на проржавевший автомат, неразорвавшийся снаряд, ручную гранату. Тогда Ваня косился на нас через плечо и, если видел, что мы заметили, начинал петлять по лесу, запутывая следы, чтобы мы не запомнили место. Подбирать при нем эти штуки не следовало: тогда Ваня просто останавливался, долго смотрел на нарушителя, и, если тот

цеплялся за находку, Ваня решительно поворачивал к дому.

Валя Литовцев, беленький, худенький и очень шкодливый мальчишка (мама ошибается, лучшим другом моим он не был, скорее наоборот — между нами шло негласное соперничество за влияние в ватаге ровесников, но у Вали было мало шансов, потому что оба моих двоюродных брата и все Донины стояли за меня горой, а других ребят я не помню, да и мама, похоже, их позабыла), — так вот, Валя Литовцев подобрал в лесу и спрятал в корзинке гранату, так что Ваня Немой этого не заметил. Нам Валька тоже ничего не сказал, побоявшись, видимо, что проговорятся девчонки Донины. А вернувшись из леса, как-то странно, бочком и оглядываясь, Валька припустил к себе на усадьбу. На беду ни деда, ни матери дома не оказалось, оттого он, наверное, и спешил: уж очень хотелось повозиться в одиночестве с настоящей гранатой. Я его понимаю: несколько снарядов мы с Юркой и с Олегом так-таки развинтили и натаскали домой разноцветной лапши, которую я, помню, сушил за печкой, в секретном месте, а мама с бабушкой ее оттуда выбрасывали. Озадаченные Валькиным поведением, мы долго крутились возле литовцевских огородов, но Валька от нас спрятался. Мы, конечно, чувствовали — он что-то нашел, но уверенности полной у нас не было.

И вот уже к вечеру во дворе у Литовцевых что-то ухнуло, будто погреб обвалился, но так, что по всей деревне зазвенели стекла. Мы с Олегом и с Юркой, обомлев, бросились к Дониным и почему-то спрятались у них в сарае. А взрослые, наученные войной, оставили все дела и побежали на Валькину усадьбу.

Оказалось, что Валька с оторванной уже кистью руки (за дровами, где еще все дымилось, так эта кисть и лежала, бабушка рассказывала и плакала) успел добежать до избы и попытаться залезть на печку, укрыться там от наказания. Но не сумел, обессилел от потери крови, забрался в кровать и накрылся с головой одеялом. Там, в луже крови, его и нашли.

На счастье, в Новины в тот день пришел грузовик, это было тогда редкостью, и Вальку, кое-как остановив кровотечение, отвезли в Остров.

Помню, как дед Литовцев пришел на другой день к нам в дом, долго сидел, поглядывая на меня, угрюмый, седой, сгорбленный (три сына его и зять погибли, остались только дочка и внук), потом спросил:

— Ты видел, как он это нашел?

Я отчаянно замотал головой, чувствуя, что мертвею от страха. Но ведь и в самом деле это была правда: не видел, хотя и догадывался.

— Вот и Вальечка, — проговорил дед Андрей, — вот и Вальечка говорит, что никто не видел.

Я хотел спросить, жив он или уже помер, и открыл было рот, но тут же сообразил, что этого спрашивать не следует.

Дед Андрей ждал.

— А баба Марфа Ваню все время бьет! — ляпнул я первое, что пришло в голову...

— Это зря, — сказал дед Андрей и тяжело встал. — Это она зря.

А Валька, вернувшись из больницы, до самой школы отсиживался дома, не то что дичился или его не пускали, но привикал, наверное, к своему новому положению. Тяжело показываться на людях, если что-то в тебе изменилось: даже остриженный наголо выйдешь не сразу. А тут — безрукий. В школе он уже спокойно показывал всякому желающему торчащую из рукава аккуратную культю. Порази-

тельно, но на лице у него не осталось ни единой отметины, хотя граната взорвалась у него в руках.

Взрослые постарались извлечь из этой истории всю возможную пользу. Но урок этот впрок не пошел: той же осенью трое мальчишек из нашей школы подорвались и погибли, разрывая артиллерийский снаряд. Один из них, рассказывают, держал снаряд между колен, а двое других сидели рядом на корточках. Видел это новинский пастушок из-за канавы, его при взрыве самого так потрянуло, что он после этого стал заикаться. А на лугу, где те трое сидели, сделалась глубокая черная яма. Когда люди сбежались, на дне ее еще что-то ворочалось и пищало. Яма эта на следующий год заросла густым бурьяном. Но все равно мимо нее жутко было проходить — все казалось, что оттуда слышится шепот: «Давай, давай...»

Не скажу, однако, что это событие нас потрясло. Я спокойно возражал маме:

— Ну, так дураки же. Кто ж зубилом, когда надо вывинчивать.

«На другой день было дано распоряжение на эвакуацию. Началась беготня, суета, ругань, слезы. Опыта нет ни у кого, далеко ли, надолго ли поедем — ничего не известно. Местное начальство тоже нельзя винить: раньше времени панику поднимать не разрешалось.

Брат мой Саня, я писала уже, работал в сельпо, и нашлась для нашего семейства отдельная подвода. А семейство не большое, но и не маленькое: мы с тобой, бабушка, Катя с детишками. Посадили мы вас, троих ребят, на подводу, вещи уложили и тронулись вместе со всеми. Получился как табор обозный: гнали скот с собой, везли и тащили все, что можно поднять. Корову старую и нетель свою мы тоже погнали: понимала бабушка, что с детьми, да в такую беду не один раз коровке в ножки поклониться.

Сзади нас Литовцевы ехали на своей подводе: сам дед Андрей, Прасковья да дочка Маня с Вальечкой. Вот и все, что осталось от крепкой семьи: прямо как палец с неба на них указывал.

Ехали без остановки, по лесным да по проселочным дорогам. Детей кормили, в лес по нужде отлучались — все на ходу, на бегу. Дождь пошел, а мы едем и едем. Головные подводы не останавливаются, им виднее, ну и все остальные за ними.

Вечером следующего дня догнали нас коммунисты района, в бору это было, в Больших Мысах. Обоз наш тянулся теперь огромный: приставали к нам люди из хуторов и селений, бойцы, выходившие из окружения, тоже с нами шли пока не обнаружился командир и не собирал их в группу. Группы эти отставали от нас и уходили в лес — кто в тыл, кто в сторону Демьянска, там объединялись в партизаны. Люди шепотом говорили это слово «партизаны», как будто военный секрет. И кто до сих пор еще сомневался, даже тем стало ясно: надолго война.

Слышим голоса по обозу: «Капраловские где едут?» Подошли к нам из-за деревьев Саня с Толлей. Вид у них был невоенный: оба в штатских пиджаках, в зимних шапках, с ружьями-двустволками, в сапогах. Ни дать ни взять — городские охотники. Попрощались с нами, с детишками. Толя долго нас заверял, что прогонят фашиста в ближайшее время, а Саня только сказал: «Вы уж, бабоньки, нас простите». Юра и Олег понимали, куда и зачем уходит отец, а ты, маленький, расплакался: голова у тебя разболелась от тряски в телеге по лесной дороге. Шли и обнимались и плакали — всё на ходу.

В общем, расцеловались братья с нами — и в лес. Напрямик пошли, не оглядываясь и не прячась: им, свободным, пешим и вооруженным, везде в лесу прямая дорога. Ну, а мы — своим табором. Катя даже поплакать как следует не успела: дождь тут хлынул, и кинулись мы на ходу детей укрывать.

Как стемнело, по каравану нашему поползли слухи, что впереди уже немцы. Теперь-то понятно, что по-другому и быть не могло: кто ж уходит от врага таким обозом, да еще по лесу, когда враг не селся на танках и грузовиках по большакам. Но тогда затосковал народ. Кто горячился — не должно этого быть, паника, в шею гнать паникеров. Кто плакал, кто ругался, кто молчал. И обоз пошел медленнее.

Утром — голоса по дороге от передних подвод: перекрыли нам путь немцы на мотоциклах, руками машут, командуют: «Рус, нах хаус!» Не знаем — правда ли, не правда ли, что передние передали, но напирают оттуда из тумана, оглобли в оглобли: «Домой!» Проснулись наши детишки, когда мы стали разворачивать своих лошадей, но плакать — не плакали уже, всю обратную дорогу до дома молчали.

И недалеко ж мы уехали: вернулись в Капралы через сутки, на рассвете следующего дня. Гнали лошадей беспощадно — чтобы успеть, застать родной дом целым, что можно — уберечь от разорения, ведь надо же продолжать жить. И немцев за спиной чувствовали, смешалось все у нас в голове: не понимали, не представляли даже, что приедем назад в Капралы — а там, может быть, тоже оккупанты сидят, нас дожидаются. Нахлестывала Катя бедную сельскую лошадь, как заправский мужик, мама корову с телкой рысью гнала, а я бежала рядом с телегой и детишек придерживала, чтобы не свалились, и дождь лил, как сквозь худое решето.

Въезжаем в Капралы — стоит деревня нетронутая, ворота и двери все на запоре, войны ни следа. Крайняя изба слева Бодуновых, выглянула в окошко на гром колес Клавдия Бодунова, машет нам рукою: нет, не появился фашист. Клавдия в эвакуацию не поехала: «Мне, — говорит, — одной и бездетной — все равно где бедовать». Разгрузились мы, выпрягли лошадей, затопили печи и стали ждать судьбы.

В эвакуацию мы с тобою, сынок, попадали два раза: вторую ты, может быть, помнишь. Отдало командование наше приказ: отселить от линии фронта местных жителей, чтобы не пострадали, когда начнутся жестокие бои.

Погрузили нас в военные грузовые машины, багажа набралось невесть откуда множество. Люди выкопали из ям все свое добро. Мы с мамой достали из ямы перину, подушки, теплое одеяло, хорошо все было завернуто в клеенку и не очень попортилось от земли.

Едем мы на машине по Порховскому шоссе, а навстречу нам к Острову движутся воинские части. Хоть усталый вид у наших солдат, а не те, которые в сорок первом: переродились люди в боях, спокойные идут, уверенные, у себя дома.

Немец, правда, не забывает нас беспокоить, побрасывает снаряды: то справа от дороги в землю ухнет, то слева. А самолеты их редко пролетают, да все высоко. Низко немцы тогда уже боялись летать, а то много было бы на дороге слез и крови.

Сидим мы в кузове, смотрим по сторонам. Часто были большие на дороге заторы. Ты серьезный такой, в китечке армейском с военными пуговицами, партизанская кубанка на голове, капитанские

погоны я тебе к кителю пришила подрезанные. Очень ты меня об этом просил, интересовался погонами: когда наши пришли, нам они тоже были в дивовинку. Автомат у тебя на груди деревянный, Ваня Киевлянин сделал, был такой в Третьей бригаде партизан.

Заглядываются красноармейцы на наших девчат петряковских, на малышню нашу обстрелянную: что за дети, не боятся воя снарядов, глазают себе по сторонам из кузова.

При заторе подошел к нам офицер и, видимо, интересничая перед невестами, обращается к тебе с рапортом, руку держит под козырек: «Товарищ капитан, разрешите проследовать мимо?» Покраснел ты до слез и говоришь: «Я неправдашний капитан, просто так». Испугался, что выйдет какое-то заблуждение.

Отвезли нас от линии далеко, фронтового шума не слышно, только ходят солдаты, которые после боев на отдыхе. Деревня полусожженная, два-три дома стоят, переполненные такими, как мы.

Здесь, сынок, и догнала нас папина похоронка. Съездила я в Славковичи по учительским своим делам и вернулась к тебе с таким известием: «Нет у нас с тобой больше папы». Как сейчас помню, окликнула тебя, ты вышел, стоишь среди Любиных маков, в глазах у меня сейчас эти маки, и говоришь мне с досадой: «Ну, мама, ну, не плачь». И больше про отца не спрашивал. А я — что же я? Всё мне так просто стало, и некого ждать, и незачем вроде жить. Но долго ли, коротко — жизнь начала подталкивать — как люди бывают такие нетерпеливые: ну, чего встала? Иди, иди.

Слышу, на улице ребятам ты сообщаешь, вроде бы с гордостью, как о радостном каком событии: «А мой папа на фронте погиб». Ну, таким сообщением в те времена никого удивить нельзя было. «И мой тоже, и у меня тоже», — отвечают твои одноклассники. И продолжают себе дальше бегать и играть. После, как отошла я от слез, стала показывать тебе папины фотографии, говорить, как приезжал он на тебя поглядеть, как про судьбу твою беспокоился. Вроде ты смотришь и слушаешь, но все как-то боком-боком к дверям. Один раз прямо так и сказал: «Не хочу я смотреть фотографии эти». «Почему, сынок?» — я даже ошеломила. «А чего ты все плачешь». Это со мной, а мальчишкам и девчонкам, ровесникам своим, ты охотно рассказывал, какие подвиги совершал твой отец. Фантазия у тебя с малых лет была чрезмерная и по рассказам твоим получалось, что отец наш был никак уж не младше полковника.

Папино последнее письмо у меня, я его вожу с собой, мама пишет по памяти, но уж ей ли не помнить. Я смотрю в это письмо, как в зеркало: это я писал гордые мальчишеские слова о дороге в жизни для своего сына, это меня убили, как сказала маме одна гадалка, «в жаркой стране Финляндии».

Я помню день, когда мне это стало понятно. Было это в Москве, в середине апреля, я приехал в «травматичку» забрать рентгеновский снимок сломанной Гошкиной ручки. Гошке было тогда полтора года, он упал через спинку нашей кровати на пол и стал горько плакать, а мы с Лизой сначала не придали этому значения: для проверки я протягивал Гошке шарик от пинг-понга, он брал его ушибленной ручкой и, как будто понимая, чего от него хотят, смеялся сквозь слезы, а потом снова начинал плакать. Ночью он не мог заснуть, все скулил, как

кутенок, мы отвезли его в травмпункт, там нас как следует отругали, сделали снимок и наложили гипс. Но я все же не был уверен, что сделано нужное, промучился до утра и приехал этот снимок забрать, чтобы кое с кем посоветоваться.

Меня встретили с терпеливой досадой, показали, в каком месте сломаны обе лучевые косточки, и я, выйдя на улицу, на мокрый апрельский снег, стал рассматривать снимок на фоне светлого серого неба. Тонкость косточек, прозрачность контуров меня ужаснули: словно сквозь низкие сырые облака проступило осмысленное и четкое знамение.

Я бежал домой по рыхлой слякоти, виноватый, пристыженный, ругая себя вслух самыми последними словами. Гошка с загипсованной рукой сидел на нашей постели и озабоченно примерялся, как ему теперь брать игрушки.

— Сыночек, милый, больно тебе? — спросил я, стоя в дверях.

Гошка поднял голову, посмотрел на меня карими дедовскими глазами. Должно быть, он очень обрадовался, потому что личико его осветилось улыбкой, и он, жалко, как крылышком, взмахнув своей поломанной ручкой, проговорил:

— Папа — тасятá!

Он, по-видимому, хотел сказать «красота», но так уж у него получилось. То ли он приветствовал таким образом меня, огромного, задымленного от сырости и слезки, то ли хотел заверить, что все у него благополучно.

И тогда я понял, отец, что я — это ты, это твоим коричневым взглядом пронизаны были бледные знаки на сером апрельском небе. Так разрешился вопрос, мучивший меня в юности: я люблю отчима, я сам его хотел, а где же ты, мой родной отец? Куда я тебя подевал? Ведь не мог же ты исчезнуть бесследно. Ты не исчез, ты всегда был во мне, ты передал мне свою молодость и свою отцовскую любовь, а больше у тебя ничего не было...

Пусть я рассказывал приятелям своим, что мой отец погиб, но сам я в это не верил. Я твердо знал, что этого не может быть, что мама плачет напрасно, и фотографии отца были для меня почти такой же абстракцией, как крохотный серый листок «похоронки».

Помню лето сорок шестого. Мне шел уже седьмой год, я отучился в первом классе (мама не хотела посылать меня в школу так рано и, как она говорила, «сокращает мое детство», и без того не слишком веселое, но учитель Анатолий Агапыч, недавно вернувшийся с фронта, сумел ее уговорить: «Пусть учится, Елена Ивановна, меньше будет шастать по кустам и собирать боеприпасы») — и был очень горд собой: читал «Евгения Онегина» (впрочем, больше не читал, а рассматривал виньетки, которые мне очень нравились), сам писал стихи («Ветхая избушка, мусор под окном, в той избе старушка со своим котом, котик не мурлычет, он все спит и спит, а старушка думает и в окно глядит»), а уж братья мои двоюродные и сверстники готовы были петь мне гимны («Он такой, он стихами говорить умеет») и называли меня почему-то «москвичом», как бы предвидя мою судьбу, хотя будущий отчим мой в наших краях еще не появился. Вообще самый момент появления отчима я никак не могу припомнить: память выбросила этот кусок времени как ненужный, и сколько ни думаю — всё получается, что отчим у меня уже был. Что же касается «москвича», то дело здесь, как я сейчас понимаю, не в предвидении: в детскую память мою запало мамин ожидание: вот придет вызов (или придет отец) — и мы куда-то отбудем. Я наверное

знал, что появится папа и заберет нас куда-то с собой. Возможно, я и делился своими надеждами с сотоварищами, и фантазия моя сумела их убедить.

Ярким солнечным утром шагал я в составе деревенской ватаги на Рыы — глушить рыбу. В руках у меня был завернутый в тряпку кусок тола (или того, что мы считали толлом и что более было похоже на стиральное мыло): нашел это Юрка, мой двоюродный брат, но кому же еще нести взрывчатку, как не Марку-Москвичу, который умеет говорить стихами?

Позади в линиях розовом платье брела соседская девочка Файка Долина, мы не брали ее с собой, но она все равно увязалась и теперь время от времени зывала ко мне:

— Марк, а Марк, тяжело тебе, дай понесу.

Я делал вид, что не слышу ее призывов, мне было приятно и совестно, что девочка эта с такой трогательной мольбой произносит мое имя («Ма-арк, а Ма-арк»), и про себя я решил, что пройдем еще шагов сто — и я дам ей понести, тем более что сверток для меня был и в самом деле тяжеловат.

И тут за поворотом мы увидели двух велосипедистов. Да нет, простые слова здесь слишком слабы: попробуйте представить, что значило «два велосипедиста» на глухой проселочной дороге в сорок шестом году. С нереальной легкостью и в то же время замедленно они будто плыли среди желтых и зеленых солнечных пятен под белым небом, густо усеянными золотистыми точками: мужчина в гимнастерке, с непокрытой головой, велосипед под ним казался маленьким, как конек-горбунок, и девушка в светлом платье, с распушенными «не по-нашенски» темными волосами.

И вот тут-то мне стало ясно, что только так, летя и сверкая серебряными спицами колес, может приехать ко мне мой отец. Из этого я делаю вывод, что все два года, со дня «похоронки», я его ждал. «Это за мной, это непременно за мной», — так, должно быть, подумал я, но не помню, что именно я подумал, знаю только, что сердце мое за т о п о т а л о. Я готов был уже закричать: «Папа, папа!» — но не смог, только остановился, положил почему-то свой страшный сверток в траву, и все ребяташки тоже остановились.

— Дядя Толя! — вскрикнул Юрка, и я его сразу возненавидел за это, как будто бы он своим возгласом мог спугнуть сверкающее видение.

Но сам уже видел, сникая все больше, что это действительно был дядя Толя, мамин младший брат. Я-то его помнил, а он меня, разумеется, не узнал, для него я, наверное, так и остался двухлетним, но Юрка и Олег изменились намного меньше, и, подвезжая, он стал присматриваться, притормаживать, потом и вовсе остановился, сбросил ногу с педали. Девушка тоже соскочила с велосипеда, несколько раздосадованная остановкой.

— Чьи такие? — спросил дядя Толя, когда мы сдержанно, по-деревенски, поздоровались.

— Из Новин, капраловские мы, — ответил Юрка, как самый старший.

Он, я думаю, тоже испытывал разочарование и немного обиду, что вот ведь — родной дядя, смотрит в упор и не узнает.

— А папка наш под Нарвой погиб, — сказал вдруг Олег, младший из моих двоюродных, у него была такая манера: брякнуть что-нибудь невпопад и умолкнуть, набычившись.

Дядя Толя уронил велосипед, бросился к нам, сгреб нас троих в охапку, поднял нас воздух и принялся целовать, царапа колючими щеками.

— Выросли, — только и повторял дядя Толя сда-

ленным своим голосом,— выросли, все-таки выросли...

Я не помню, плакал он или нет, это в старости я видел его уже слезокапкой, я только думал, что, во-первых, рыбалки у нас уже не будет сегодня, а, во-вторых, как это мы могли не вырасти? Теперь-то, задним умом, понимаю, что очень даже могли.

Наконец дядя Толя перестал нас тискать и целовать, поставил на землю, сам смущенный своим порывом, отступил на шаг и сказал:

— Ну?

Мы молчали. Девушка смотрела на нас и улыбалась. Вблизи она была не так чтобы уж хороша — смуглая, скуластая и с несколько приплюснутым носом, и улыбалась она странно, не разжимая губ, у меня даже мелькнула мысль, что зубы у нее, наверное, черные. Но глаза и волосы были красивые, блестящие, чистые.

Наконец я решил, что молчать больше нельзя, и спросил:

— Дядя Толя, ты прямо с войны?

— Ну, конечно, с войны,— засмеялся он,— видишь, даже медали снять не успел.

Много в нем осталось еще от хвастливого мальчика юных лет, и осталось до самой старости: оттого больной, запущенный и тщедушный, через двадцать лет не утратил он способности бурно и задиристо обижаться.

— А почему ты не стал офицером? — жестоко спросил я, ногой закинув свой сверток поглубже в траву.

Но дядя Толя уже его увидал.

— Что это ты там загребаешь?

Поколебавшись, я поднял и протянул ему тол. Дядя Толя внимательно и осторожно его осмотрел, даже понюхал.

— Рыбу, что ли, глушить?

Я кивнул.

— Где?

— Во Рвах.

— Вот оно что, завелась, значит, рыбка, не зря копали.

Копали как раз зря, это было известно каждому ребенку, враг пошел совсем не там, где его ожидали, но за время войны во Рвы зашло половодье, и рыбы там развелось больше, чем в ином озере.

— Капралы-то наши стоят? — спросил дядя Толя.

— В сорок третьем сгорели,— солидно ответил Юрка.

— Ну, ладно. Пошли тогда в Новины.

И мы повернули назад. Дядя Толя вел велосипед за руль, это была добротная, явно трофейная машина. Спутница его, так и не сказавшая ни единого слова, ехала чуть поодаль и очень медленно, я даже не думал, что на велосипеде можно так медленно ездить. Это была девушка самостоятельная, всем своим видом она подчеркивала, что она сама по себе, что к дяде Толе имеет самое приблизительное отношение. А может, ей просто неловко было въезжать в деревню в сопровождении босоногих и лохматых деревенских ребят. Она то и дело убирала концы пряди со лба, и тогда лицо ее становилось ожесточенным, а велосипед вилял.

Новины, приютившие нас, из земляночных в тот год начали становиться бревенчатыми: разрешили рубить малый Мысовский лес, и по обе стороны улицы поднялись светлые бревенчатые срубы. Кое-где стояли уже готовые, коренастые и мелкооконные, но добротные в о е н н ы е избышки, перенесенные из окрестных рощ, где в дни большого наступления размещались штабы и командные пункты. Но большинство капраловских погорельцев по-прежнему ютилось в землянках: волочь на себе бревна

пять километров в гору, до старого пепелища, было тяжело, и люди продолжали привычную жизнь, неизвестно на что надеясь.

— Вот кто малец так малец,— сказал, похлопывая меня по спине, дядя Толя.— Вырос, брат, и грамотный уже, а?

Я почувствовал себя задетым: дядя, а не знает про меня ничего.

— Я в лицее скоро буду учиться.

— Где? — удивился дядя Толя.

— В лицее.

— Так он уже сто лет как закрыт,— сказал дядя Толя, и девушка у нас за спиной засмеялась, не разжимая губ, я это чувствовал, хотя ее и не видел.

Я покраснел.

— Ничего,— утешил меня дядя Толя,— не горюй, теперь после войны, может, снова откроют.

— Да пускай,— сказал я с деланной беззаботностью, хотя это открытие очень меня огорчило.— Тогда я в газете буду работать.

— В газете? Правильно, речь у тебя грамотная.

Так шли мы по Новинам, степенно разговаривая, шли и гордились тем, что вот с нами рядом шагает дядя, гвардии старшина, фронтовик, кавалер солдатской Славы. И в то же время было в нашей беседе, как теперь мне кажется, что-то неловкое, стесненное. Дядя Толя, наверно, ни на минуту не забывал о том, что он, вернувшийся с войны, неженатый еще, цветущий мужчина, идет рядом с троими сиротами. Он хотел держаться с нами по-отцовски, но не мог, не умел, возраста не хватало, да и присутствие той, на велосипеде, ему мешало.

Дальше — ничего не помню, полный провал в памяти, как сырая зеленая яма. Я уже сказал: у меня совершенно выпало из памяти, как появился в нашей деревне мой будущий отчим. Иногда мне представляется, что отчим был уже тогда, в день возвращения дяди Толи, что они вместе пили водку и вспоминали, под чьим началом сражались, но этого не могло быть чисто хронологически. Сколько ни пытаюсь припомнить, получается, что отчим у меня уже был. Память услужливо подсовывает тысячу разных безделиц, вроде розового Файкиного платья, а тут упорно молчит. Словно не было того дня, когда я впервые увидел его н е з н а к о м ы м е щ е ч е л о в е к о м.

«Получили мы открытки, сынок, от тебя, хорошие очень, красивые, налюбоваться не можем. В город ты на этот раз попал замечательный, прямо курорт. Я такого, чтобы пляжи у самых домов, даже в Крыму не видала. Игорю с Танечкой, наверно, раздолье, только бы не болели. Пусть их Лиза на солнце подолгу не держит, это вредно, я читала недавно.

И окна свои ты мне крестиком указал — хорошо тоже сделал, спокойнее мне стало за то, где ты есть. Как будто вижу — стоишь у окна на высоте, голова к плечу наклонена, как у родного отца, и руки на груди сложил по-отцовски, откуда только взялась повадка, ты же не помнишь этого ничего. Семен говорит: «Марк — наша гордость». Да и правда, больше нам, кроме тебя, и гордиться-то нечем. Высоко ты залетел, везучий мой сын, только не зазнавайся. За спиной у зазнаек люди над ними смеются. А ты сам над собою посмеивайся да поменьше про себя говори, почаще про других расспрашивай, люди это любят.

Ладно, не стану бумагу я тратить на советы свои старческие, дальше пишу. А остановилась я, как вернулись мы назад, в Капралы, из первой дурной нашей эвакуации. Не по своей воле вернулись, а от-

правили нас немецкие мотоциклисты домой, «нахаус».

День прошел, другой, говорить начали, что немцы на больших дорогах очень зверствуют над мирным населением, беспощадно вешают всех, у кого нет на себе нательного креста. Ужаснуло нас это слово «вешают»: о таких делах мы и думать не знали. Просто в голове не помещалось: как это так, пришли чужие мужики, знать и слушать ничего не хотят, вешают кого вздумается на столбах и деревьях. Как с цепи сорвались, видно, крепко их там, в Германии, на цепи держали. Сами мы повешенных не видели ни одного, только слухи от беженцев, но слухи-то страшные, и сидим мы в своих Капралах, не высывая носа, как на острове.

И вот, как вернулись мы из глупой своей эвакуации, сразу почувствовали, что отношение людей к нам переменялось. До войны нас в Капралах уважали: бабу Таню — за то, что одна, рано схоронив мужа, на своих плечах всю тяжесть хозяйства несла и детей своих вывела в люди, меня как учительницу хорошо знали, Толю — по газете, а Саню — по работе в сельпо.

А теперь мы сразу заметили, что люди стали нас сторониться. Близо к изгороди не подойдут, мимо окон — чуть не бегом, головы понурив, даже скотину через наш прогон у березы и то перестали гонять. В деревне это сразу заметно: никто за шепоткой соли не зайдет, новостями не перебросится. И живем мы неделю, другую, как на отшибе. Даже Маша Донина перестала ко мне заходить, хоть и лучшая моя подруга.

Тут еще неизвестность сказалась: немцев нет, что делать — никто не знает, чего ждать — непонятно. От немцев хорошего не ждали и понимали, что наша семья в Капралах — на первой очереди.

А немцев нет, махнули они рукой на нашу деревню. Слышно только от беженцев, что рвутся к Новгороду и к Ленинграду, всё танками, по большим накатанным дорогам...

Вслух на нас зароптали женки-солдатки: из-за вас, таких активных, наши мужики неизвестно где воюют, перебьют их гитлеровцы — и что тогда? Маша Донина ревмя ревет, трое на руках, старшему пять, младшей — три, совсем голову потеряла. Ребятишки, Юра с Олегом, в драку на улице: Моченкова Нюра сказала своим внучатам, чтоб с нашими не играли, что таких, как наша семья, немцы вешают подряд либо стгоняют в особые лагеря, а всех остальных не трогают.

Но скажу в оправдание людям: так срывали на нас и обиду свою, и злость, и досаду, а явились фашисты да стали управу чинить — сразу всё оказалось на своих местах. То они, гитлеровцы, а то наши, и весь разговор. Да и кто срывал зло? Бабы, старухи, у них детвора на руках — а поля кому убирать, сено на зиму заготавливать? Поневоле голова кругом пойдет.

Собрались все жители Капралов и решили, пока не поздно (то есть пока не появились немцы), поделить скот колхозный и хлеб на корню. Петряковы и Моченковы сомневались, не выйдет ли из этого чего, но Андрей Литовцев высказался «за» и всем объяснил, что Советской власти навряд ли понравится, если скот и хлеб достанутся даром врагу. Часть скота тут же забили и распределили по едокам. А молочные дойные коровы достались по справедливости тем семьям, где было трое и больше детей. Стали люди потихоньку, ночами стричь колосья на отведенных им полях и печь лепешки из недозревшего колхозного зерна.

Суди хоть так, хоть этак, а правильно люди тогда поступили. Немцы колхозы, конечно, распустили, но потом хватились: брать продукты им удобнее было с общего. И когда появились они в нашей глуши уже как власть, план у них был такой: организовать «общества». Только поздно было организовывать: скот перерезан, хлеб острижен на корню, одна солома торчит на полях, а машины сельскохозяйственные еще в первые дни были утоплены или угнаны в тыл, где успелось. Да и машин-то в наших местах было тогда — на сто верст единица.

Нам корова от колхозного стада была не нужна: до войны еще мама за девяносто рублей купила корову в сельсовете на торгах. Соседку мамину Ульяну раскулачили, и сама она посоветовала маме купить: хорошая была корова, жирность молока — чуть ли не шесть процентов. Но, как фронт отошел в глубь России, явилась Ульяна и без лишних разговоров корову и нетель у мамы забрала. Заикнулась было мама: «Телку оставь». «А ты-то у меня разве старую корову брала?» «Мы же деньги платили». «Кому платила, с того и спроси».

Остались мы с троими детишками без молока, а это, считай, что голод крошечный. И приняли мы корову из колхозного стада, которая раньше нам, при дележе, доставалась. Стыдно было просить: то отказывались — легко держаться принципов, когда есть на чем; а прижало — и пришлось через себя переступить. Но народ не стал нас этим попрекать, сами все были потерянны. Черная, бодливая корова была очень баловная, недоющая. Только бабушка к ней подступиться могла: мы с Катей вызовемся ее доить, так она возьмет нарочно да подойкин и опрокинет. Ты бы этой коровушке должен сказать спасибо. Всю войну она с нами прошла, и скиталась, и мохом питалась, и от немцев, задрав хвост, бегала. Звали ее Ночка, а бабушка твоя ругала ее «бесово племя».

Беззаконная Ночка была еще благополучно жива и в год нашего переезда в Москву. Я не скажу, что так уж хорошо ее помню: как и для каждого деревенского мальчишки, она для меня была элементом природы, как, скажем, рогатая ольха, которая росла у канавы возле нашего новинского огорода.

С этой ольхи, положим, я имел свои детские радости: дерево хоть и ломкое, но некое, не смолистое, чрезвычайно удобное для лазания. Когда мне совсем уже нечего было делать, я забирался на нее, удобно устраивался в толстой развилке и, воображая себя затаившимся бойцом, следил оттуда за дорогой, а то еще во все горло распевал партизанские песни, учился свистеть (у Юрки получалось, а у меня не очень) либо жевал, неизвестно зачем, мелкие черные ольховые шишечки.

Там же, на ольхе, я, бывало, спасался от «дранки», развалив копну сена, потоптав грядки или учинив еще какое-нибудь безобразие. Бабушка стояла внизу с прутом в руке и ласково говорила: «Ну, слезай, вражина, слезай», — а я отвечал ей: «Не слезу, старая, не слезу», — отлично зная, что у нее дела и долго стоять она не сможет.

Ночку я попросту не замечал, мне было даже запрещено подходить к ней и спереди и сзади. Рог у нее были бедово закручены и опущены книзу, она свирепо лягалась, что твой конь, и на морде у нее постоянно держалась бессмысленная и сатанинская улыбка.

Были моменты, когда я испытывал к этому шалому животному чувство признательности. И совсем не тогда, когда пил парное молоко: молоко связы-

валось не с Ночкой, а с бабушкой. Но, бывало, среди ночи зимою я вставал по малой нужде, совал ноги в валенки и, дрожа от холода, выходил, как лунатик, в промерзлые сени. Оттуда два пути — направо, на заваленное снегом крыльцо (но об этом страшно было думать, да и дверь открыть я бы не смог) и налево, в крытый соломою двор, где зимовала наша корова. Я стоял, покачиваясь в полусне, на краю темной, пахнущей теплым навозом бездны, делал свои дела и чувствовал, что совсем недалеко от меня лежит и шумно дышит огромное одинокое животное, которое, прокрадись сюда враг, ни за что не даст ни меня, ни себя в обиду.

Эта Ночка, «бесово племя», аукнулась нам в Москве, и не раз. В коммунальном московском полуподвале, все окна которого не только утоплены были до половины в асфальт, но еще и глядели на глухой брандмауэр, так что свет приходилось жечь с утра до вечера, — в полуподвале, куда отчим нас из деревни завез, кроме трех семей наших новых родственников, обитали еще две посторонние семьи, практически это была целая подземная деревня. Мама, потерявшаяся от сложностей городского неуютного быта, не знала, как себя вести с этим множеством людей, которые ходят, полуодетые, мимо двери твоей комнаты и заглядывают туда с любопытством и слышат через стену каждый твой вздох и толкнутся рядом с тобою на гигантской многостаночной беззаконной кухне... Это ведь не деревенские соседи, чье подворье можно обходить стороной. Мама очень хотела всем этим людям понравиться, что навряд ли было возможно («Нашел, привез, да еще с ребенком, мало тут у нас колготки»), и в первую зиму частенько зазывала всех к себе в гости. Отчим только хмыкал, повторяя:

— Ты бы оставила эти деревенские замашки.

Но мама настаивала на своем:

— Перестань меня попрекать замашками. С людьми я буду жить по-людски.

Гости собирались охотно: все три тетки с семьями, соседи Пыжовы (муж, высокий и мрачный, жена, маленькая, беленькая, с восковым заостренным лицом, и сын Антошка, на два года старше меня, малоразговорчивый тихий школьник, истребитель электрических ламп, которые он расстреливал из рогатки) и соседи Коптяевы, чудовищно толстые и бездетные супруги. Вся эта компания, девятнадцать человек, если считать детей, заполняла нашу комнату от окна до дверей, мужчины дымили так, что голубой матерчатый абжур с бахромой едва виднелся в чаду, и пили, пили непрерывно и яростно, как рубили дрова, и разговаривали сначала степенно, потом громко, потом спор переходил в многостороннюю ругань, и дело часто кончалось скандалом: кто-то хлопал дверью и, чертыхаясь, уходил. Это был настоящий винегретно-водочный ад, и денег он нам стоил немалых. Сколько раз мама, скорбно убирая с огромного стола, повторяла: «Чтоб еще когда-нибудь...», — а отчим, пьяненько посмеиваясь, отвечал: «Кто ж тебе виноват?»

Начиналось все, бывало, с разговоров о пережитых военных годах. Мама простодушно описывала наши мытарства, гости слушали, все больше наливаясь тяжелой враждебностью, потом кто-нибудь из женщин восклицал:

— Ай, бросьте, Елена Ивановна, вы там как в раю жили. Хлебнули бы вы нашего горяшка!

И — начиналось.

— Это где же «как в раю»? — возмущенно спрашивала мама. — Это оккупация — рай? Ну, как же вам не стыдно?

Через пять минут все шумели, кричали, перебивая друг друга, рассказывая о своем, плача и ругаясь и

никого не слушая. Отчим, чтобы прекратить конфликт, пытался завести песню, но его никто не поддерживал, а если и запевали, то на другом краю стола кто-нибудь непременно ругался.

Особое ожесточение вызывало упоминание о нашей корове Ночке.

— А, молочко попивали! — кипятилась, то и дело вскакивая (муж ее молча усаживал), голосистая Пыжова. — Да на своей усадьбе, да при родной матери! А мы вот в Башкирии, в Башки-ирии очутились!

И она била себя кулачком в костлявую грудь. Тяжело ей, должно быть, там пришлось.

— Да брось ты, Зина, — бубнил ее муж, — да все понятно, да все же понятно.

— Что понятно, что понятно? — подпрыгивала, пытаясь высвободиться из-под его руки, Пыжова. — А мне вот непонятно! Нет, пусть объяснит, пусть объяснит, как все это у нее получилось!

Мама, с темно-пунцовыми щеками, сперва еще нарочитым учительским тоном возражала:

— Я вам уже неоднократно говорила, что не по своей вине...

— А по чьей? — кипятилась Пыжова. — По чьей? По моей? Мой муж воевал, у него ранения, половинны задницы нету!

— А я вот на нее напишу, — прогудел однажды, совершенно для всех неожиданно, толстый Коптяев. — Колхозный скот делить никому не позволено.

Эти супруги Коптяевы вообще отличались способностью молчать до поры до времени, а потом проносить что-нибудь нестерпимо обидное — и с достоинством поднимались из-за стола и уходили, пьяные, сытые, непоколебимые в своей правоте.

Лишь один раз толстякам не удалось отступить с достоинством. Мадам Коптяева, держа папиросу в жирной руке и усмехаясь, дождалась паузы и промолвила:

— Знаем мы их, партизанские женушки.

Стало тихо. И вдруг отчим, вообще-то пытавшийся всех замирить, трахнул кулаком по столу и, поблагодарив, закричал:

— Вон отсюда, сволочь!

— Ну, ну, — опасливо прогудел Коптяев, и супруги стали поспешно выбираться из-за стола, хотя отчиму с ними двоими было бы, наверно, не справиться.

Забившись в угол, я тогда со страхом подумал: а что было бы, если бы они не ушли? Вот не уйдем — и все?

Наутро, мучаясь от головной боли, отчим с досадой говорил:

— Заклинило ж тебя на этой корове! К чему людей дразнить?

Теперь-то я понимаю, что мама потому и заводила разговор о дележе колхозного стада, что этот вопрос ее тяготил.

Но, как ни странно, легко мирились. Пыжова приходила просить прощения «за вчерашнее», и Коптяева, обняв маму на кухне за талию, принималась ей что-то ворковать.

Счастье, что сестрички Донины не застали этого полуподвального ужаса. Приезжали они в Москву много позднее — в пятьдесят четвертом году, в начале лета. Нас только-только переселили, дали тридцатиметровую комнату — в коммунальной, конечно, квартире, но с телефоном. Мама и Рая ехали через Москву к своему отцу, а Ваня Немой их сопровождал: отпустить девчонку одних мать не решилась, а сама ехать не захотела.

Я в это время сдавал экзамены за девятый класс и каждый день ходил заниматься в библиотеку. Можно было бы и дома, младший братишка мне не докучал, человек он был независимый и, как говорила мама, «гульливый», да и экзамены в то время

были делом рутинным, в школах их устраивали каждый год. Но в читалке можно было посмотреть на девочек в естественной, так сказать, обстановке, когда они заняты тем же трудом, что и ты, и у них нету времени особенно жеманничать. Истекали последние дни idiotского раздельного обучения.

Отзанимавшись, я пришел домой пообедать и был удивлен, увидев за столом огромного, что называется, ражего мужика в нескладном костюме. Кроме него, в комнате никого не было, но он сидел, положив обе руки на стол, с таким видом, как будто только что задал вопрос и теперь, напрягши тяжелый затылок, с напряжением ждет ответа. Смотрел он прямо перед собой, туда, где стоял у нас желтый гардероб (мадам Пыжова, бывшая соседка наша, называла его «шифондер») с зеркалом, у которого после нашего переезда почему-то начала темнеть амальгама. В полуподвале, в сырости не темнела, а тут, в сухой и светлой комнате, видимо, утомилась от света.

— Добрый день,— сказал я, вступая в комнату.— Вы из домоуправления?

Ничего глупее нельзя было придумать: Ваня Немой дернулся и повернул ко мне широкое лицо, искаженное стыдом и смутением. В ту минуту он показался мне безобразным: голое красное безбровое лицо с большими губами, которые раскрылись в бессмысленной и в то же время виноватой ухмылке. Видимо, Ваня сосредоточенно изучал свое отражение в зеркале, и я застал его врасплох.

Ваня встал, сделал шаг по направлению ко мне — и остановился в растерянности: было ясно, что я его напрочь забыл, а сказать, объяснить, даже просто воскликнуть: «Что, Маркуша, не узнаешь?» — он не мог. Да и полной уверенности, что высокий худой городской юнец в голубом школьном кителе — это именно я, Маркуша, у Вани, наверное, не было.

Так и стояли мы в idiotском молчании, глядя друг на друга, и, пожалуй, долго еще стояли бы, но тут дверь за моей спиной открылась, я резко обернулся: в комнату вошла, точнее неловко протиснулась миловидная девушка в рябеньком сарафане, сероглазая, с русской косой, переброшенной через плечо на невысокую грудь, а за нею в полутьме коридора, я это видел, стояла еще одна девушка, тоже мне незнакомая.

Фая (или Рая? в этом я разобрался не сразу) покраснела, как мак, протянула мне руку с жалко стиснутыми пальцами и сказала:

— Здравствуй, Марк.

Машинально я взял эту руку, тоже покраснел, что-то буркнул в ответ, девушка посторонилась, пропуская другую, поменьше и очень худенькую, с конопатым носиком, совершенно светлыми глазами и жидкими косичками. Та, вторая, прошептала: «Здравствуйте», — шмыгнула мимо нас и, пройдя в передний угол, села на тахту, открыла книжку и сделала вид, что мгновенно погрузилась в чтение.

Вот те раз! Полчаса назад я еще сидел в читалке, переглядываясь с незнакомыми девочками, а тут в моем собственном доме оказались сразу две, и обе, похоже, меня знают. Немудрено смеяться. Фаю я еще держал за руку, пока она, застенчиво улыбнувшись, не шевельнула пальцами, и я ее отпустил.

— Как вырос, Марк,— сказала она,— и совсем нас забыл. Донины мы, теперь вспомнил? Дядю Ваню узнал?

— Ну, конечно, узнал,— бесшабашно ответил я, мысленно повторяя «Донины, Донины». В углу возле вешалки я усмотрел чемодан и два рюкзака, было ясно, что это приезд.

Я подошел к Ване (он был одного теперь роста

со мной и совсем не казался высоким, это сбивало с толку, да еще обращение «дядя Ваня» всю картину запутало: в том раскладе, который я мог бы припомнить, Ваня Донин вовсе не был ничьим дядей, он был моим приятелем, только великорослым), подал руку ему и спросил:

— Ну, как доехали?

Ваня жалобно посмотрел на племянницу и не ответил, естественно, ничего. Но в его взгляде была такая затравленность, его уши так покраснели, что я сразу, как при вспышке молнии, увидел его торопливо шагающим вдоль петряковского плетня.

— Господи! — сказал я — и до сих пор радуюсь, что я это сделал, а ведь можно было изобразить, что все нормально, что никакой заминки в моей памяти не случилось. — Господи, ну что я за дурак!

Ваня радостно замычал, обхватил меня своими ручищами, так что косточки мои захрустели, — и в таком вот виде застала нас мама, она бегала «на пять минут» в магазин.

Не скажу, однако, что после этого мы сразу же сели рядком и стали дружно беседовать, вспоминая былые дни: во-первых, и вспоминать было нечего, да и сами воспоминания имели такой характер, что никак не облекались в слова, а во-вторых, я все же был не взрослый человек, который может создать игровую ситуацию искренности и хотя бы для своего удобства постарается облегчить тягостное положение других, я был нервный, озобоченный подросток, и боже ж ты мой, какие пустяки меня беспокоили!

Жизнь подсушила мне редкую возможность встретиться с живым моим детством, но, увы, я оказался на высоте лишь, когда у меня вырвалось восклицание. В остальном же я вел себя, как самолюбивый подросток, которого больше всего на свете волнует, каково ему самому.

Эти два рюкзака представлялись мне ужасными, так и видел я, как шагаем мы по нашей улице, провожая моих невест на Павелецкий вокзал, и обе они, Фая и Рая, горбятся под тяжестью уродливых рюкзаков (нет, хуже, заплечных мешков) и еще несут в руках корзинки, обвязанные сверху тряпицами.

Псковский выговор девочек был, конечно, умилителен, но зачем они все время говорили «малыцы» вместо «парни, ребята, мальчишки» и «жача» вместо «жена» и при этом еще краснели?

И, конечно же, Ваня: он таким стал для меня приземистым, так разевал рот в своем тихом младенческом смехе, и при этом смотрел на меня такими преданными, собачьими глазами, ловя каждое мое слово, и глаза его слезились... Ну, естественно, его удивляло, как из белокрысой крохи, которая семеняла за ним по окрестным лесам, вырос этаким «малец» с зачесом и изысканными столичными манерами.

О постыдный стыд (иначе не скажешь), нет ничего мучительнее! Я краснел, бледнел и нервничал, то сидел надутый, как сыч, то вдруг становился развязно-многословен, поддельнолся год деревенский говор — и при этом еще заботился, чтобы мама не угадала мое состояние.

Надо отдать должное маме: до самого отъезда гостей (оба рюкзака понес на себе Ваня, а мои невесты шли вполне пристойно, каждая со своей корзиночкой), до самого отхода поезда она даже взглядом не дала понять, что мной недовольна, и только когда поезд отошел, посмотрела на меня, скорбно поджав губы, и произнесла:

— А ты, Марк, нехороший вырастешь человек.

Да, мы шли по улице именно так, как мое конфузовое воображение это рисовало: впереди мама

с моим братиком и с девочками, меньшая, Рая, то и дело на нас с Ваней оглядывалась, воинственно оглядывалась и в то же время тревожно (как бы мы с Ваней не потерялись в городской толчее), и носик ее, конопатый, но прямой, безукоризненно псковский, был чем-то вроде путевой звезды, мы за этим носиком шли, отягощенные поклажей, и спокойно, по-мужски разговаривали... да какое там разговаривали, я болтал без умолку, а Ваня Немой слушал меня с умиленной улыбкой, как слушал бы любой человек говорящую куклу, если бы она обнаружила способность к связному монологу. И что уж там я говорил немому — не помню, по моему, речь шла о моей статье (ну, разумеется, о чем же еще?), которую только что приняли к публикации в молодежной газете. Статья (а точнее, письмо в редакцию) называлась «Ты неправа, Кузнецова Валя», в ней говорилось о том, что не все дороги в жизни лежат через институт, — тема злободневная для пятидесят четвертого года.

А Фая совсем на меня не оглядывалась, спина ее была чуть изогнута (корзинка, которую она неслла, я попробовал, оказалась довольно тяжелой, и что только могли везти своему бывшему отцу эти девочки, и зачем они вообще к нему ехали, и как должен был немой «дядя Ваня» смотреть на этого человека при встрече?), да, Фая не оглядывалась на меня, но я-то знал, почему она на меня не оглядывается, и радовался этому больше, чем самому влюбленному взгляду.

Вчера поздно вечером, после чаепития с сушками, когда мы захлопнули крышку нашего «Авангарда» (был тогда такой телевизор, с крышкой, как патефон), мы с Фаей вышли на кухню выносить чашки, и вдруг она посмотрела на меня сумеречно светлыми глазами и шепотом быстро сказала:

— Я о тебе всегда думала. А ты?

— Я тоже, — так же быстро ответил я — и, разумеется, соврал; оправданием мне было лишь то, что в тот момент, когда я это говорил, я и в самом деле верил, что думаю.

Это было последнее прикосновение детства, последнее касание малой моей родины, и осталось от этого слова «всегда» ощущение безудержной радости и какой-то смутной вины. А что такое любовь, если она не соединяется с чувством неискупимой вины?

«Конец лета сорок первого мы, можно сказать, тихо прожили. Немцы в нашей деревне появились только однажды, к осени уже. Приехали на пяти больших мотоциклах на заготовку продуктов. Все, как на подбор, рослые, белобрысые, долголицые.

Таких сытых, довольных, веселых немцев мы за всю войну больше не видели. Ничего они еще не боялись, стали ходить от калитки к калитке: «Матка, мод! Матка, пырх!» «Мод» — это они мед имели в виду, а «пырх» — всякую домашнюю птицу. Яиц не требовали: наверно, боялись в мотоциклах побить.

Ну, кто посмелее — успели поспрятать и припасы, и кур, а кто посмирнее — в дураках остался. Надежда была у некоторых, что лучше самим кое-что вынести, чем силой все заберут. Но не оправдалась эта надежда. Брали немцы, что дают, без поклонов, придирчиво осматривали, как будто сомневались в качестве, а потом отстраняли хозяйку в сторону — и прямехонько во двор. Самый верный расчет: откуда вынесли — там и осталось неспрятанное, да получше. Видно, опыт по другим странам у немцев уже был накопленный.

В общем, познакомились мы с врагами. Деловито, без шума, без стрельбы и насилий загрузили они

свои коляски. Пришли и к нашей усадьбе. Огляделись — ничего не вынесено заранее. Бабушка руками разводила: нечего, мол, у нас взять. Нет так нет, походили немцы вокруг дома для порядка, не обращая на нас никакого внимания. Смотрят — под крыльцом петух копошится, здоровенный такой, как дворняга, рыжий, совершенно ручной петух. Голосу совсем не подавал, шипит, как патефон, кукарекать не может, вот мы про него и не вспомнили. Юра его очень любил, все возился с ним, как с собакой, учил его всяким штукам. Посмотрел на нас немец укоризненно (что же это вы, хозяева?) — и давай бегать по двору, петуха этого ловить. А петух смекнул, что дело плохо, и летает с одного конца двора на другой. Откуда крылья взялись — не петух а коршун. Один немец топает, как мерин, второй, руки растопылив, калитку загородил, петух крыльями хлопает, а мы стоим и молчим.

Услыхал шум наш Юра (он в окно на немцев смотрел, выходить ребятам мы запретили), выскочил из избы, схватил палку — и на петуха, хотел прогнать его за огороды. Олег тоже на крыльцо, ты один в доме остался. А немец понял так, что дети ему помогают. Изловил петуха, похвалил Юру: «Гут, гут», — погладил его по голове и пошел к мотоциклам.

А второй, который в калитке стоял, направился прямо в дом. Катя шепчет мне: «Маркуша, Маркуша!» Я за немцем вслед. Он спокойно так через сени прошел, ног не обтирая, конечно, ввалился в комнату и глядит белесыми своими глазами, что где.

А ты, маленький мой, услышал чужие шаги, стал за занавеску, от полу на вершок, и оттуда на немца выглядываешь, валеночки твои грязненькие из-под занавесочки торчат, переминуются. Спрятался, значит. В валенках ты по дому ходил, домашней обуви тогда не водилось.

Вот скажи мне теперь «война» — не пожары вспомню, не обстрелы, а тебя за цветастой ситцевой занавеской, белую головенку твою и черный глазок. Что при этом ты чувствовал, на немца глядя, — рассказать не берусь, а с тебя, конечно, толку мало, все позабыл.

Юра, бедный, долго потом хворал от немецкой похвалы, что-то вроде нервной болезни с ним случилось: тепло ли, холодно ли в избе — он все равно в шапке-ушанке сидит, не снимает. Катя стащит с него шапку, стукнет его по затылку, а он плачет: «Мама, мне все время что-то на голову сыплется». Вот какая неприязнь была к гитлеровцам у шестилетнего мальчишки: ведь его никто этому научить не успел, быстро так война обернулась. Наоборот, Саня пропаганду нам вел, и Толя ему поддакивал, что при столкновении с нашими все немецкие трудящиеся прозреют. И была первоначально такая идея, что немец на войну против нас идет подневольный. Ну, открылись сразу глаза, при первом же, как говорится, свидании: граблили они нас в охотку.

Соседка наша (через улицу дом наискосок) Клава Бодунова одна из всей деревни позвала сама немцев к себе. Уж не знаю, чем она их потчевать собиралась, только немцы то ли сытые приехали, то ли брезгливые попались, но не стали они садиться у нее за стол. И разговора у Клавы с ними не получилось. Она по-немецки ни слова, они только: «Матка, гут-гут». Постояли на пороге, повернулись — и к мотоциклам своим. Сели, затрещали, задымили, уехали.

Ну, конечно, взять у Клавы они ничего не могли: хозяйство было сильно запущенное. Дом, правда, самый красивый в деревне все хернзы и наличники резные, раскрашенные. Это еще муж ее, Заси-

лий старался. Рыжий был такой, угрюмый, работающий мужик.

До войны, когда выписывали местным жителям паспорта, отказался Василий Бодунов принимать антихристианские документы. Был он членом секты какой-то, верование ему не позволяло ходить с паспортом. Ну, а зона у нас пограничной считалась, и беспаспортных всех выселили. Увезли Василия, а жену его Клавю оставили, она паспорт взяла, он сам велел взять и остаться. «Ты не веришь, как я,— говорит,— и не лезь в это дело, не путай».

Ну, так вот. После Васиного убийства все хозяйство пришлось в запустение. Сама Клавя привыкла жить за крепкой мужниной спиной, все у нее из рук валялось. Выспросить, наверно, у немцев хотела, что-нибудь узнать, когда мужа вернут. Глупое, конечно, затеяла дело, показала свой ум на всю округу.

Но запомнили ее немцы: видимо, не в каждом селе их за стол накрытый звали. Стали осенью они чаще бывать в наших краях, останавливались все у Клавя. Не звала она их больше, да они ее и не спрашивали. Было там для немцев важное преимущество: высоченный, глухой вокруг усадьбы плетень — сам Василий, как корзину, особым способом его заплетал, по росту своему и характеру. Раз приехали немцы — Клавя в баньку ушла посидеть, два приехали — сами ей на дверь показали: не путайся под ногами. Так и кончилось дело тем, что перебралась она по своей воле в старую баньку.

А зачастили к нам оккупанты по заботе простой: не допустить, чтобы исчезло то, что еще на полях оставалось. Не все колоски успели люди состричь, дали дозреть до уборки. Начали немцы устанавливать власть на местах. В сельсоветах были назначены волостные старшины, в деревнях — старосты, они-то за уборку и отвечали под страхом виселицы или (если некогда) расстрела. Что поделаешь? Погорбатились люди на полях, и весь оставшийся хлеб до последнего зернышка немцы забрали.

После этого успеха стали они проверять попавший под оккупацию народ, проводить свою паспортизацию. Маме с Катей паспорта выдали, а мне отказали. Волостной старшина, бывший подчиненный мой, учитель Одинцовской школы Журавский Евгений Васильевич, заявил мне так: «Вас, Елена Ивановна, народ здешний знает, кто вы. Поэтому паспорт на проживание дать я вам не могу».

Смотрю я на Журавского и не верю своим глазам: ты ли это, Евгений Васильевич, умная твоя голова, рассудительным мужиком у нас в районе считался? Ведь погонят же немцев когда-нибудь, не век им сидеть, так не бывает. Как же ты от всего этого отмоешься?

Ничего я этого, однако, ему не сказала, спрашиваю только: «Что же мне делать?» И глядит он на меня уверенно, твердо и отвечает: «Один только выход у вас: добровольно отправиться в концлагерь города Острова».

Что такое концлагерь, в подробностях люди тогда не знали, но беженцы из городов рассказывали страшное.

«А ребенок-то как же?» «Оставьте у матери». «У нее на руках еще двое». «Ну, возьмите с собой. Очень может быть, что немецкие власти окажут вам как матери малолетнего сына какие-нибудь снисхождения».

Стала я просить, умолять. А он — как каменный. Худенький, низенький такой, припадал на левую ногу, совсем невзрачный был мужичок, а тут словно вырос, походка — и та поправилась.

Попыталась я с другой стороны. «Вы же школу,— говорю,— рано или поздно организуете. Неужели

вам не нужны будут опытные учителя?» Усмехается Журавский: «Такие, как вы,— не нужны».

Наконец вроде сжалился, натешился моими слезами, приказал мне пойти с обходным листом по округе и собрать с населения поручительство для него, что люди отвечают за мое будущее поведение и за мои будущие поступки.

Большинство людей сразу же, без возражений, расписывались на моем листочке, который я дрожжащими руками протягивала. Но находились и такие, которые отказывали мне в подписи, отвечая уклончиво, что ни за кого они теперь поручиться не могут и вообще ни в каких бумагах не расписываются. Тимофей Петряков, односельчанин, повертел мой листочек в руках и сказал мне со вздохом: «Нет, Лена, не могу. Никак не могу. Кто его знает, что у тебя там на уме. Погубишь и меня и внушек». От таких, как он, извинялась и уходила, про себя их оправдывая, что вот как люди сбиты с толку и напуганы.

Как-то раз возвращаюсь из округи, вся намерзлась, намаялась, мимо Клавяного плетня прохожу — выходит мне навстречу сама Бодунова. «Собираешь подписку?» Я кивнула и мимо иду, что с ней связываться. А она не отстает: «Отчего же ко мне не заходишь? Мало что у меня детей нету. Может, и я за тебя поручусь». «Поручись,— говорю,— если не шутишь». «Заходи». И ведет меня к своей баньке.

Обжилась она там кое-как: щели законопатила, подперла кое-где, топчан сколотила кособоким, железную печурку в присенках поставила. Подаю ей бумагу. Послуживала Клавя карандаш, расписалась. «Видишь, добрая я,— говорит.— За тебя заступлюсь. Ну, а за меня-то, за меня кто заступится?» «Новые власти проси,— отвечаю я ей,— ты их хлебом-солью встречала».

Посмотрела она на меня, вверх пальцем уставила: «Нет уж, видно, Василий был прав. Там один мой заступник».

Очень Клавя изменилась к зиме: вся оплыла, лицо водянистое, желтое, косматая ходить стала, седая. И глаза как золою подернулись: видно, чувствовала, что жить ей осталось недолго. Как нас сторонились в сумятице первые дни, так и Клавдин двор теперь обходили. Да спросить-то у нее было нечего: до войны, бывало, мама спичек попросит или там иголку — ничего-то у Клавя нет. А теперь и совсем опустила руки. Чем жила, как питалась — никому не известно. Говорили люди — на немецких обедах живет. Кто и верил, это после мы разглядели, что у немцев обедков не остается: бережливый народ.

Мне Семен опять через плечо пальцем тычет. По его словам, нельзя было у Клавя брать подписку, человек, мол, себя запянавший. «Ты ей честь,— говорит,— оказала, а она этой чести не стоила». Ты уж сам, сынок, рассуди: я пишу тебе все, как было, ничего не выдумываю. Да и что за честь — просить народ поручиться за меня перед Журавским? Дядя Андрей Литовцев, к слову сказать, долго вздыхал над бумагой моей, колебался, хоть три сына и зять — фронтовики.

Ну, угомонился наконец, сел за карту Сеня, расстелил на диване, выясняет, где он с частью своей воинской тогда находился. Ты же знаешь его: чуть про оккупацию разговор, сразу к карте. «А какого числа, а мы где в это время стояли?»

Выяснили сообща, что лежал он в это время первый раз в госпитале...

Было так: лето сорок седьмого, теплый август, в окошках — солнце, в избе никого нет, если не считать кота нашего Севки, но Севке до меня никакого

дела, он застыл, рыжий враг, возле печи и, вытянувшись, ждет. За кем-то охотится. И вообще с появлением в нашем доме отчима Севка стал игнорировать мое общество: спать у меня в ногах не желал, все мои попытки затеять с ним игру воспринимал с презрительным недоумением, да и в дом являлся только по своим звериным надобностям: что-нибудь сожрать или кого-нибудь поймать. Но меня это как-то мало тревожило, я уже собирался в Москву.

Комната полна снопов соломенно-сухого солнечного света, в нем, мерцая, плавают голубые и зеленые пылинки, в бревенчатых стенах что-то потрескивает, покряхтывает, стрекочет: отстают, коробятся, приклеенные в несколько слоев газетные листы.

Некоторое время я спросонок наблюдаю за Севкой, потом, потянувшись, громко зеваю — так громко, что Севка совершает нелепый прыжок вбок и вверх и, вздыбив шерсть, смотрит на меня полными ужаса глазами. Он кого-то ждал оттуда, из-под печи, а этот кто-то хавкнул, подкравшись, на него сзади. И меня охватывает такой безудержный восторг, что я начинаю хохотать, лежа в постели. Смеюсь — и сам не понимаю, что за радость такая меня обуяла. Воскресенье сегодня? Ну, а мне-то что? Лето.

Входит баба Таня, она несет что-то в переднике, смотрит на меня и ворчливо говорит:

— Господи, никак добрый проснулся. А то гырчит на меня и гырчит.

Я, убей бог, не помню, отчего это вчера «гырчал» на бабу Таню, и от этого мне становится еще смешнее. Задираю ноги, начинаю «сурукаться» — дрыгать ногами, сбрасывая с себя одеяло.

Бабушка глядит на меня с какой-то непонятной и неприятной мне жалостью и спрашивает:

— Кисельку или так побежишь?

— Так побегу! — кричу я и соскакиваю на пол. И тут же вношу поправку: — Кисельку!

Бабушка приносит в миске обожаемый мною молочный кисель из картофельной муки, я сажусь на табурет и начинаю с жадностью есть, а она стоит у печи и скорбно на меня смотрит. Наконец это мне надоело.

— Ну, чего ты, ба? — спрашиваю я, не переставая болтать от удовольствия ногами.

— «Чего, чего»... — передразнивает меня баба Таня. Властная бабка моя и в самом деле любит меня без памяти, и мы с ней, как это часто бывает между старым и малым, спорим на равных. — Ничего.

— Кагорцу хочешь? — ехидно спрашиваю я.

— Кого? — переспрашивает бабушка. От любимых никогда не ожидаешь подвоха.

— Да не «кого», а кагорцу!

Мне уж-жасно смешно, я чуть не падаю с табуретки от смеха.

Историю с кагорцем бабушке не хочется вспоминать. В доме у нас до появления дяди Толи спиртным и не пахло, я прошлым летом с большим недоумением наблюдал, как дядя Толя с Анатолием Агапичем, учителем, пьют водку и медленно, но неуклонно глупеют. А тут в районе маме досталась бутылка кагора, и бабушка отведала чуть-чуть и одобрила: «Вино-то церковное».

Как и многие урожденные псковитянки, бабушка путала «ц» и «ч», но делала это реже, чем другие ее ровесницы, мама всякий раз ее поправляла: «Ну что такое опять? У нас дети растут, следить надо за речью».

Так вот, кагорец этот за ненадобностью стоял у нас в сенях, под столиком с керосинкой, и бабушка потихоньку его прихлебывала, а доливать водой бутылку, как это делала няня нашего Гошки, она не придумала и наступил час расплаты. Собственно,

мама только посмеялась над происшедшим, но сама бабушка, не подозревавшая в себе такой слабости, была очень сконфужена. Поэтому, напоминая о кагорце, я бил наверняка.

— У-тю, — растерявшись от моего бесстыдства, бабушка махнула на меня рукой. — Дурак тебя понюхал.

Во всем арсенале ее ругательств это было самым крепким. Но меня разбирало веселье, я просто не знал, куда свою энергию употребить. Доев киселик, я вскочил, покрутился по избе — и вдруг, спохватившись, спросил:

— А папа ушел?

Слово вырвалось у меня непроизвольно, до этого дня я не имел случая вообще как-нибудь его называть: должно быть, чувствовал, что, как я его ни назови, это было бы трудно поправить. Даже просто «вы», не говоря уже о «Семен Семеныче». «Дядя Сеня» — это не пришло бы мне в голову. Но тут была еще и особая ситуация: «А...?» Кто «а»? Не мог же я спросить: «А Семен Семеныч?» Возможно, я сам инстинктивно искал такой случай, когда можно было бы опробовать слово «папа», оттого и радовался с утра, что еще вчера решился.

Баба Таня отвернулась к столу, взяла мою миску, вновь поставила ее и тихо проговорила:

— Там, на крыльце... удочки ладит.

И обернулась.

Ее мудрый и страдальческий взгляд я вижу сейчас, тогда же, по малолетству, мне просто показалось, что она сердится на меня за озорство, но ликование мое (слово произнесено, чего же еще? У меня действительно есть теперь папа!) — ликование мое было настолько велико, что я сбросил со счетов эту мелочь: подумаешь, сердится, с бабушкой я всегда успею помириться. И, как был, в рубашонке без ворота, выпущенной поверх трусов, побежал на улицу.

Баба Таня наотрез отказалась ехать с нами в Москву, хоть и мама и отчим ее уговаривали. «Что я там, в городе? Ничего не сумею...» Помню, ночью я проснулся от шепота, вышел из-за занавески — мама и бабушка сидели на лавке возле печи, в одной руке бабушка держала блюдце с горелой бумагой, в другой керосиновую лампу, и от пепла на стену, оклеенную газетами, падала тень.

— Видишь? — шептала бабушка. — Видишь, нельзя мне с вами ехать, бог не велит. Видишь, воз, а на возу ты с сыночком, меня-то и нет.

Я подошел на цыпочках, взгляделся — тень на стене была и в самом деле как груженная подвода, на ней две фигурки, большая и маленькая, прислоненные одна к другой.

— Да ну, не верю я! — нервно проговорила мама и примяла пепел рукой.

Тень на стене стала маленькая, но по-прежнему горбатая, и две фигурки остались, горестно ссутулившись.

— А где же Сеня? — спросила мама, обе они не замечали меня, поглощенные своим занятием.

— А на него я не гадала, — ответила бабушка, — только на вас да на себя...

...Мама и отчим сидели на бревнышке возле заросшего высокой травой кривящегося крыльца нашей новинской «военной» избушки. Отчим действительно обстригивал березовое удище, длинное, выше крыши (да нет, это потом я оценил его длину, а сейчас гибкий темный его конец с уже готовой рогулькой ползал по земле), а мое, короткое и тонкое, было снаряжено леской, поплавком из коры и стояло, прислоненное к стене избушки.

Лица мамы, тогдашнего, я не могу сейчас вспомнить: другие ее лица, с фотографий и живые, раз-

ные в разные возрасты, мерцают в моей памяти. Оно было светлое и строгое, светлое — должно быть, по контрасту с загорелым лицом отца, строгое — потому что она сказала мне с нарочитой сухостью:

— Чу, вот, не умылся и не оделся. Что надо сказать?

Отчим поднял голову, глаза у него, тогда еще молодые, но часто и виновато моргавшие, были светло-коричневые, почти такие же, как у меня, и это меня радовало, — и, не переставая ловко строгать (ножик так и ходил у него в руке, снимая кору и осторожно, от комля к верхушке, срезая сучочки), произнес без улыбки в голосе:

— Привет, рыбак. Ничего, на речке умоемся. А вот одеться придется.

Я покраснел, набрал полную грудь воздуха и, как кидаясь в холодную воду, не выкрикнул, а скорее выдохнул:

— Папа... А у меня сапогов нету!

Теперь-то мне кажется, что все вокруг смолкло и померкло, и сразу наступил вечер.

Потом уже все было ладно, и мы шагали вместе на речку, и я старался прихрамывать, как он, чтобы быть на него похожим, чтобы все встречные говорили: «Похожи», — а он шагал крупно, как будто бы не считаясь со мной, и я был счастлив, что мне, как собачонке, приходится то и дело догонять его бегом.

Самой рыбалки не помню. Помню: «Папа...»

К отъезду в Москву у меня всегда привязывается патефон, инструмент теперь почти уже позабытый, вроде клавикордов или клавесина. Для меня патефон был вещью священной: единственное, что, помимо фотографий, осталось от отца, — это был черный, нет, черно-синий патефон, оклеенный рифленным в шашечку дерматином. Фотография — плоскость, мираж, а патефон — вещь объемная, и я помню, как, сидя на лавке и поглаживая (поскребывая по-кошачьи ногтями) оклейку, повторял в полудремоте: «Папа, папа». Это была отцовская вещь, и ручку ее, вкладываемую в никелированное лязгающее крепление, папа не один раз вынимал. «Милый, купи ты мне шляпу...» Мама на подкрашенной розово-коричневой фотографии, в довоенной шляпе-каска с ярко-розовой лентой, с подрумяненными щеками, и отец, дерзко глядящий прямо в объектив. «Если не купишь, заплачу...» Много пришлось плакать моей маме, а шляпка — навеки — осталась довоенная, та.

С этим патефоном я впервые, пожалуй, наткнулся на человеческое непонимание. Отчим уже был, я сам назвал его папой (и, может быть, поспешил, может быть — никогда не забуду выражение виноватых его глаз, ох, не хотелось бы, чтобы на моих Гошку и Тошку пала когда-нибудь такая нагрузка), но был еще и патефон, который я упорно укладывал на подводу, увозившую наш скарб на железнодорожную станцию, в Остров. А патефон не помещался, он был лишний на возу, и взрослые уже несколько раз его снимали и относили в сторонку.

— Да у нас там есть такой, — сказал отчим.

Я затаился, пытаясь связать несвязуемое, две разные жизни пытаюсь без спросу свести в одну, через патефон, через войну, мне хотелось, чтобы это был один папа, ведь слово-то было одно.

И мама сказала:

— Оставь, не надо, он все равно сломанный, купи другой.

Но как же другой? Я не выпустил патефона из рук, и патефон поехал со мною в Москву, какой разговор, если ребенок так хочет, но отчим меня

не понял, он к этому отнесся как к причуде, и мне стало ясно, что этого он не поймет никогда.

Ах, как я тогда страдал, неумело, бессмысленно (ибо, поверьте, страдать можно умело и со смыслом, высветляя свою душу страданием), бессознательно, как страдают только младенцы, подозревающие (заподозрившие), что они не такие, какими их видеть хотят... как мне все было безразлично вокруг — и вагоны составленного из зеленого железа поезда, первого поезда в моей жизни, и какое-то подмосковное Перхушково, куда мы непременно будем ездить (за грибами, что ли, или кататься на лыжах... так мне и представилось, что мы поедем из Москвы по грибы в спальном вагоне), и троллейбусы, повергшие меня в тупое оцепенение, и известные мне только по картинкам светофоры. «В двадцать третье отделение постовой привел Фому и о правилах движения прочитал доклад ему». В деревне это казалось бессмыслицей: какое такое отделение, что за правила могут быть у движения вообще? Я смотрел в окно двигавшегося уже по Москве поезда и чувствовал себя Фомой (да еще с патефоном), которому будут сейчас читать доклад о тоскливых правилах движения.

Нет, мой новый папа совсем не был безразличен ко мне, он как раз мучился моим безразличием.

— Может, заболел? — И трогал мне голову большой своей солдатской рукой.

А вот патефоном он пренебрег. Да пропади они пропадом, все отделения, включая и двадцать третье, где ребятам читают доклады, лишь бы он понял, что патефон — это пока единственное, единственное, что связывает мое «папа» (или оно не стоит копеечки) и его самого.

Но нет, он не понял, и более того: моя тупая возня с этим старым патефоном показалась ему неприятной, скопидомской. Вот, думал он, наверное (нет, это я думал, что он, наверное, думал), вот — маленький подкулачник, бабушку родную покидает без слез, а с каким-то сломанным ящиком не может расстаться. Я ужаснулся, когда до меня дошло, что именно так отчим все и понял. Ужаснулся — но поделать с собой ничего не мог: настоял на своем, патефон был уложен, и больше я о нем уже не вспоминал, даже в Москве, и не знаю, куда он вообще делся.

С бабушкой я простился почти равнодушно — так, как будто мы расстаемся до завтра:

— До свиданья, баба Таня.

И она перекрестила меня и осталась на пороге «военной» избышки, высокая, худая, с длинными, опущенными и слегка разведенными руками, с седыми прядями, аккуратно заправленными под клетчатый платок, с мудрыми и горестно-удивленными, не знающими слез глазами.

Я же, в черном долгополом, застегнутом доверху пальто, в новой, только что купленной кепке, нахлобученной на уши, в тесных хромовых сапожках, не уложившись в телегу и, подавленный сознанием, что делаю не то, чего от меня ожидают, всю дорогу до города Острова молчал.

Ехали мы долго, сеялся мелкий холодный дождь, пальто мое отсырело, несколько раз я, привалившись бочком к маме (как тень на стене), засыпал и сквозь сон слышал, что мама всхлипывает и сморкается, а отчим монотонно и пристыженно ее утешает, повторяя одно и то же:

— Ну, что ж поделаешь, что ж тут поделаешь...

Надо отдать им должное: больше про патефон они мне не напоминали, как сговорились. Проснувшись окончательно я уже на улицах Острова — лежал на мягких узлах и смотрел в черное небо, а надо

мною проплывали ярко, по-городскому освещенные голые ветки деревьев, они казались белыми и леденисто блестящими, я такого никогда не видал.

— Все-таки переживает,— тихо сказал маме отчим, уловивший, что я проснулся.

Я и в самом деле переживал, но вовсе не расставание с бабушкой: я не мог себе представить, что больше не увижу ее никогда. Я стыдился себя самого, своего толстого сырого пальто, своей дурацкой кепки, своего преждевременного «папа», своей дикой возни с патефоном, тупого молчания своего. Под пальто на мне был китель с военными пуговицами, и этих пуговиц я тоже стыдился: по дороге вдруг понял, что в Москве над ними будут смеяться.

Отчим наклонился надо мной.

— Что, москвич,— спросил он,— укачалось?

— Нет, просто смотрю,— шепотом ответил я, думая о том, что в Москве-то меня уж наверняка не станут звать «москвичом», скорее всего будут дразнить «скобарем».

— Так не видно же ничего,— сказал отчим.— Можешь, сядешь?

Я покачал головой.

— Искры,— проговорил я.

Небо, черное в мелкий белый горошек, влажно искрилось надо мною, справа и слева проплывали редкие фонари, окутанные туманною пеленою, и эта пелена тоже разноцветно мерцала.

Отчим огляделся — и ничего не сказал: никаких искорок он вокруг себя не увидел. Сколько помню, это был мой последний дискретный взгляд на окружающий мир: в Москве я пытался хоть на время вернуть себе эту странную радость видения, щурился и жмурился, вызывая в памяти радужные переливы цветочных точек,— но все это было уже не то.

Кот Севка перед самым нашим отъездом выкинул прощальный фортель: рыскал, как лиса, по соседским огородам и по кустам, а наш дом упорно обегал стороной. Я его изловил, притащил домой, баба Таня привязала его на длинную веревку, чтобы он мог ходить по избе, но Севка ухитрился вылезти на крышу, прокопал проход через солому, а дальше веревки не хватило, и он повис возле чердачного окна. Пришли соседи, заинтересовались: «А что это вы с котом делаете?» Отвязали Севку, он метнулся, как молния, и исчез уже навсегда.

«Подписку мне два раза пришлось собирать: поручительство годилось только на три месяца. Но зато уже во второй раз я знала, к кому идти, а чей дом миновать, как заразный. Оба раза старшина Журавский ездил с моим листком в комендатуру, а на третий раз сказал наотрез, что не может: правила у немцев сделались суровые. Так и стала я с весны сорок второго обходиться без немецкого на жизнь разрешения».

Как мы прожили эту зиму — сама уж теперь не помню. Взрослея своим трудом кормились. Сноха Катя хорошей ртничкой была, меня мама в детстве тоже кое-чему научила. Перешивали мы женщинам старые платья и юбки, платили нам за шитье продуктами — кто что мог дать. Да какое шитье в оккупацию? И до войны-то люди в наших местах одевались скромно. У кого платье шелковое или шерстяное — так это уже считалось большим богатством. Такие-то вещи были у людей давно спрятаны до лучших времен... Но и рваненькую одежку тоже надо в каком-то порядке держать: перешивать ее, перелицовывать. Получишь за работу краешку чего-нибудь похожего на хлеб либо пять-шесть кар-

тошек — и бежишь домой со всех ног, радуешься. Скармливаю, бывало, тебе по кусочку, а самой и есть-то не хочется.

Очень плохо было с хлебом. Хлеб — продукт простой: есть — не видишь его, вроде как и не нужен, нет — почувствуешь сразу, хоть при этом корми тебя крабами. Ну, о крабах я просто так, у мамы оказался мешок сухарей, со стола она куски собирала, поросенка хотела до войны завести. Сухари эти нужно было разламывать на мелкие крошки, потому что в них жили лохматые моли.

Терли мох еще болотный в муку и, смешав с картошкой, пекли горькие лепешки. У кого корова дойная — ничего: запивая молоком, да с водой по полам, эти лепешки можно было жевать и глотать. Лепешки — еда не совсем-таки русская, а стала тогда всеобщей едой: печь их быстро, класть в них можно и отруби, и жухлую лебеду, и гнилую картошку, и половину от зерна, которое немцам свезли. Погляжу я на тебя, как ты эти лепешки кусочками глотаешь и давишься, и душа у меня разрывается.

Партизан той зимой не было слышно в наших краях, а то многие бы ушли в партизаны. И вели бы себя по-другому. Безвременье, сынок, — ничего нет страшнее. Это было для нас безвременье, выпали мы из поля власти своей, радио у нас не имелось, а газетой немецкой на русском языке даже зад вытирать избегали. Я скажу тебе так: нашу страну, как она сейчас, истребить невозможно. Не пропадают такие страны совсем, если уж тогда не пропала.

Слухи ходили, что там и там наши люди действуют, хотелось этому верить, но, может быть, это было желаемое, а не действительное? А подтвердились эти слухи, когда немцы стали карательные отряды организовывать. Кого карать, за что, когда люди сидят как пришибленные? Значит, не повсюду сидят, значит, есть шевеление.

Первый карательный отряд в Комах появился, и стали немцы загонять в тот отряд всех оставшихся в оккупации парней. Да какие парни: мальчишки шестнадцати лет. Кузнецихино сына Ваню Немого тоже хотели увести в Комы, но Марфа Кузнециха сумела отстоять сына, кое-как объяснила немцам, на пальцах, жестами, что он у нее совсем дурачок. Немого поди пойми, мычит — и все, а паренек смывленный был, работающий, подросток — и опорой стал всей семье. Не стали немцы разбираться в этом деле, пошли по другим дворам, но больше ровесников Ваниных у нас в Капралах не осталось. Расчет у немцев был, наверно, такой: загнать в карательный отряд всех без разбору, пусть половина потом разбежится, но чтобы как можно больше парней запятнало себя соучастием.

И начальник этого отряда кулацкий сынок Ваня Кислый с большим рвением и злобой взялся за дело. Высокий, здоровый, как бык, брови красные, воспаленные у него были, как у тетерева, любил Ваня Кислый избивать людей резиновой дубинкой. Хорошо помню такую картину: на расчистке большака от снега ходит Ваня в белом полушубке, в белой кучерявой папахе, ходит и лупцует женщин и стариков по спинам, по головам. Дубинка у него была увесистая: закрыться не успел человек, копнулся в снег — и лежит ничком, не двигается.

Недолго, однако, гулял начальник: в сорок третьем году у деревни Бараново подстерегли партизаны его отряд, взяли Ваню живьем и отправили, как важную птицу, самолетом куда надо. Катя мне писала после войны уже из Пскова, что освободили его по какой-то амнистии, живет себе в Мячиково,

не стесняется. «Я,— говорит,— в истреблениях не участвовал, а всю прочую вину искупил».

Да, насчет искупления. Что сказать я могу? Конечно, в колониях у нас исправляют, спору нет, но не думаю, чтоб Ваня Кислый от этого дела исправился. У меня, сынок, такое мнение: человек он был самый заурядный, туповатый такой, но здоровый и исполнительный, а попер от границы фашист — и помнилсь ему, что и есть это настоящая сила. А за силой вроде бы правота, есть такие люди, в это как раз и верят. Умудрись он почувствовать нашу, а не германскую силу, повезло б ему так — стал бы он и для нашего дела стараться. Только вред от него все равно, кем бы он ни заделался. Ох, и проклинает он, наверно, немцев сейчас, если жив: «Экий насморочный народ, а куда же, взялся мир завоевывать. Не хватает кишок — не берись», — вот такая у него должна быть логика.

Но все дело это было еще впереди. А пока, приезжая проверять Капралы, облюбовал Ваня Кислый наш дом, стал здесь частым гостем со своими подручными: якобы удостоверился, не захватывает ли к нам по ночам кто из братьев, а попутно брал у нас все, что под руку попадалось. Ну, а что ж, если сила, если все вокруг хапают? Даже детский велосипед — Санин подарок Олегу — и тот унес. За чем — неизвестно, детей у него не было. Катина старшая сестра была за ним замужем, но у таких, как Ваня Кислый, детей не бывает.

Катю только держи: того и гляди в волосы ему выпепится. «Что, Иван,— кричит из сеней, а мы с мамой за руки ее хватаем,— что, Иван, сладко русскому русского бить? Гляди, как бы кисло не стало!»

У мамы был оставлен отрез простого ситца для одеяла, метров шесть, так Кислый взял этот ситец, заткнул за ремень, покрывки от велосипеда на плечо повесил и ходит по избе, под лавки заглядывает.

«Сладко,— отвечает,— а еще слаще станет, когда мужа твоего отловлю. Уж тогда, не обессудь, изувечу по-своему».

«Безоружного — это ты можешь! — кричит Катя.— Был бы у меня револьвер, ты б не так сейчас говорил. На коленах бы по полу ползал».

И тут Ваня Кислый отстегивает свой пистолет, подходит к порогу и Кате протягивает: «На, попробуй».

Мы с мамой так и обмерли: возьмет и стрельнет сгоряча. «Катерина,— кричит мама.— Катя, не бери у него, идола!» А Катерина и сама опешила.

«То-то,— Кислый смеется,— враз поджилки ослабли. Да случись со мной что, хлопцы мои знают, как поступить, все инструкции им дадены».

Знали мы об этих инструкциях: сожгли бы нас вместе с детишками в избе, и весь разговор. Вот Кислый и рисковал.

Один раз книги у нас сжечь приказал, ополчил-ся. Подручные печь растопили, а Ваня сортировал, какую книгу жечь, какую оставить. Грамотность у него была невысокая, считай, что нулевая, книг он сроду не читал, но изображал из себя знающего. Ходит по избе и лекцию нам читает:

«Немцы здесь, на Псковщине, жить не будут, победят — и расселятся к теплым морям. Не нужны им наши мерзлые болота. Ну, конечно, вывезут отсюда все добро, леса хорошие вырубят — зря, что ли, воевали, старались? Оставят ольху да кусты. Жи-ви и веселись, как знаешь».

«Ну, и что, тебе это нравится?» — спрашиваю. «А чего? Я им пригожусь», — отвечает с уверенностью. — Посадят на места они крепких людей — вас,

дураков, пасти, вот и будет порядок. А такие учительницы, как ты, не понадобятся, вас учили — портили, и вы детей будете портить грамотностью, так что не рабывать тебе больше, и жизнь твоя теперь конченная».

С тех пор, как приходил к нам, так всякий раз спрашивал с издевкой: «А почему ты, Лена Ивановна, еще здесь? Я думал, ты уже в лагере».

Меня не столько насмешки его задевали, сколько издевательства насчет школы: вся душа изболелась, дети перерастают, не учатся, неграмотные будут переростки, если затянется война. Немцы школу открыли — никто туда своих не послал. Моченкова свела один раз свою дочку и назад забрала: портрет Гитлера на стене мамашу напугал. Вскоре все про эту школу забыли, сами немцы в том числе, и осталось от нее одно только искаженное немецкое слово «кляксапир», что по-нашему значит «промокашка».

Три года дети без школы маялись, три раза первое сентября я как черный день провожала, а летом сорок четвертого, после второй эвакуации, направили меня обратно в Новины открывать школу. Боже мой, думаю, да какая ж там школа? Неужели в землянках придется детей учить? Ведь по всей округе ни одной постройки деревянной и каменной не пропустил фашист, все уничтожил.

Ну, вернулись мы с тобой в Новины. Поля изрыты, истоптаны. Фронт ушел далеко, и оставили красноармейцы после себя кое-какие постройки. Строили наши солдаты для штабов, для военных нужд хоть и временно, но добротнo. Бревна пригнаны одно к одному, вот что значат солдатские руки.

Самую большую постройку, метров около сорока, к моему приезду заняла местная власть — председатель сельсовета Куприянов. Разгородил Куприянов постройку на четыре части, разместил там свои учреждения.

Я сказала Куприянову, что назначена заведующей школой, спросила о помещении. Он повел меня посмотреть небольшие военные домики, их было несколько штук, в кустах, далеко один от другого. Посмотрела я и говорю, что они мне никак не подходят. Школа одна на весь сельсовет, детей придет много, а откуда столько учителей наберешь, чтобы в разных избушках работать?

Вслушал Куприянов меня терпеливо, только пятнами красными пошел. Был он белобрысый, белокожий, краснел очень быстро, по поводу и без повода. Лицо молодое, как у девушки, свежее, но сидела в нем какая-то болезнь, и от армии он был освобожден вчистую. Покраснел, отвечает: «Осенний сев у меня, людей на постройку новой школы не будет. Видели, что на полях делается? И тягловой силы я не найду».

«А для школы и не нужна ваша тяговая сила,— говорю я ему.— Освободите большое здание и переезжайте в эти избушки».

Что тут сделалось с Куприяновым — описать невозможно. Стал он весь багровый, а когда пришел в себя — целую лекцию мне прочитал. И что такое Советская власть — я не понимаю, и подрываю авторитет местных органов, и иждивенческие у меня настроения, договорился до того, что оккупация нас испортила.

А что же? На всех на нас можно было бы пальцем указать. Я, учительница народная, подписку по дворам собирала, об открытии школы при немцах заговаривала. Андрей Литовцев к дележу колхозного добра призывал, бабушка твоя корову колхозную приняла, Катя в полиции стрелять отказалась, про Клавдию Бодунову уже нечего говорить. Все, выходит, замешаны в историю.

Но не так рассуждали в сорок четвертом году. Не подозрительными, а пострадавшими считались мы, переживший оккупацию народ.

В общем, поговорила я с Куприяновым, повернулась и пошла — не домой, а прямо в район, к завроно Гусеву. Инвалид, герой войны — умел он людей понимать.

Пошли мы с Гусевым в райком партии, там я объяснила все, как есть: что три года дети не учились, перерастают, а это хуже всего, нам-то уж известно, что их потом научишь, но не обучишь, что по спискам моим (а я весь сельсовет обошла) набирается сто десять одних первоклассников от семи до десяти лет, а еще ведь тринадцатилетние начальная школы не кончили.

Пришлось Куприянову помещение освободить — и сразу у него выход нашлся: перевез он маленькие домики в Кресты и собрал из них один большой для всех своих учреждений. И тягло и люди откуда-то на это взялись. Но мне настойчивость мою не раз еще припомнил: не хотел помогать в школьных делах, особенно с отоплением, где я была ему подвластна. Каждый раз в район жаловаться на него не пойдешь. И, закончив первую смену, шла я с ребятами в лес собирать валежник и на себе тащить к школе.

Дети слабые были, желтухой болели. В оккупацию как-то держались, хоть и питались чем попало. А тут еще и малярия начала детей косить. Малярия, наверно, из-за лепешек болотных, которые из тертого мха и картошки пекли. А может быть, и другая какая причина, но, когда по лесам от немцев отсиживались, малярией никто не болел. А тут прямо на уроке начинала ребенка трепать малярия. И температура под сорок. Но на другой день ребенок опять приходил, уроков тогда пропускать не хотели. Это уже в Москве я узнала городские фокусы: чуть у кого-то соплюшки — сердобольные матери устраивают отгул.

А как легко было работать с этими детьми. Заставлять их не надо, слушают с жадностью, схватывают все на лету. Не оттого, что подряд все способные, а по учению стосковались. На уроках географии, когда про Советскую страну я им рассказываю, сидят слушают, а по щекам катятся слезы.

Школа наша армейской постройки казалась нам прямо дворцом. Справа старшие учатся, слева младшие. И во вторую смену так же. Оборудование — никакого. Довоенное все в районе было уничтожено, новое завезти не успели: ведь война еще продолжалась, и не так далеко от наших мест она ушла. Когда была я на переподготовке в Славковичах, железнодорожный узел немцы каждую ночь бомбили, лежишь и вздрагиваешь на койке, и с потолка сыплется труха.

Все, что можно было получить для школы, таскала я за двадцать километров из района на своих плечах: за подводой к Куприянову было лучше не обращаться. Нет, я против него ничего не хочу сказать: человек он был старательный, дела в сельсовете налаживал, как мог и умел. Но обиды прощать за всю жизнь не научился.

На четверть давали мне по одной тетрадке на ученика, берегли мы эти фабричные тетрадки, как святыню. Чтоб листочек вырвать или промокашку потерять — это было невозможное дело.

Писали дети в самодельных блокнотах, сделанных из газет и разлинованных прямо по печатному, от руки, и сшитых белой ниткой. А какие аккуратные были блокноты. Или газетная бумага тогда другая была, но не представляю сейчас, чтоб можно на газете чернилами так красиво писать.

Учебники выдавались по одному на троих-четверых детей. В школу некоторые приходили за десять километров. На следующий год, правда, открылась начальная школа в колхозе «Искра», дальние ребята стали туда ходить.

Ни минуты свободного времени у меня не было: проведешь первую смену — идешь дрова заготавливать или парты сколачивать. Проведешь вторую — на митинг в колхоз. Ты и лектор, и предвыборный агитатор, и какой только работы не было, но все в охотку, потому что свое.

А ночью — известное учительское дело, тетради проверять. Да не тридцать — сорок: до полутора-ста штук.

Жить нам было негде с тобою и с бабушкой (Катя пристроилась у новинской одной в уцелевшей избе, Маша Головешкина звали хозяйку, потому что черная была, как цыганка, а избу ее не сожгли оккупанты, потому что на отшибе стояла, далеко в кустах), и пришлось нам устроиться прямо в школе. Отгородила я задний угол географическими картами от потолка до пола, поставила там два топчана и небольшой столик, ножки крестом. На столике — крынка молока, накрытая краешком хлеба, на топчанах ты сидишь, а я с той стороны, куда карты лицом выходят, веду занятия сразу на двух половинах, в первом — третьем или во втором — четвертом классах. На сгибах карт образовались дырочки — сами карты не новые были, присланы из тыла, — надоедало тебе сидеть да рисовать коряки, ты вставал коленками на стол и в эти дырочки подсматривал. А иногда, смотрю, выходишь из своего закутка, садишься за заднюю дощатую парту и сидишь, не шевелясь, слушаешь, что я объясняю.

Братья твои и товарищи, Юра и Олег, оба учились, и было тебе одиноко. Баба Таня с утра до вечера заготавливала сено для коровы на зиму. Косила на лесных полянках, это осенью уже, трава вся пожухлая, волгая — а что делать? — и таскала, веревкой связав. Смотрю я в окно — бредет из кустов, на плечах огромное беремя.

Вечером после второй смены, когда дети расходились, а бабушка начинала ужин готовить, я — тетради проверять, бродил ты по пустому классу, рассматривал азбуку разрезную, что-то про себя бормотал, и кто ж знал про тебя тогда, что ты окажешься в своих тропиках. Мелом на классной доске корякал сам себе, журналист. Мне, сынок, твоими занятиями интересоваться было некогда. Было бы когда, стала бы настраивать я тебя по-своему, а поскольку не было — сам себя ты учил, и вот — определился. Я в Москве видала детей, которые учатся, пока у родителей кураж не кончился. Поостыли родители или нить потеряли — начинает дитя хулиганить и злобствовать.

И подналовчился ты отметки мне в журнал подставлять, по совету Олега и Юры: нашенским, то есть бывшим капраловским, — «пятерочки», из других деревень — похуже. Так рисовывал ловко, и с наклоном и с нажимом моим, что потом я в этой арифметике никак не могла разобраться».

Голода я как раз не помню совсем, ни в тот год войны, ни в другие. Вообще не припомню случая, чтобы я просил есть, и скормить мне всегда пыталась больше того, что мне было нужно.

Откуда-то из темного погребка моей памяти поднимаются голоса той зимы, запахи, ощущение дымного холода. Печка топится, хворост трещит, пахнет сухой глиной и старым тряпьем: наверно, мы, ребята, лежим втроем наверху, на печи, и со зве-

грушевой радостью чувствуем, как внизу сквозь кирпич начинает проступать долгожданное тепло.

Олег канючит:

— Ба, драконки... ба, драконки...— выпрашивает любимую свою еду.

Я теперь уж забыл, что такое «дрочена», но вот слово осталось.

— Ба, драконки...— жалобно, но настойчиво.

И я точно знаю, неизвестно откуда, что на улице гололед.

— Сейчас, рожу я тебе драконку,— сердито отвечает снизу голос бабы Тани.— Протрюхаешься — ляпеху будешь есть.

Тут не выдерживает Юрка:

— Ба, давай ляпеху, я буду ляпеху. Со сметанкой, ба...

А я совсем не чувствую голода, я лежу стиснутый между братьями и с тоской думаю, отчего это мамы и тети Кати нету дома. Я знаю, что на улице гололед и темно, в избе даже пахнет гололедом (а может быть, да и скорее всего, так пахнет принесенный со двора хворост), и слово «гололед», кем-то произнесенное, вырастает в ослепительные горы черного льда.

— Ишь ты,— ворчит баба Таня, воясь у печи,— со сметанкой. От сметанки-то глаза заволокеет...

Взрослые убеждали детей, что у тех, кто злоупотребляет сметаной, на глазах образуются бельма, но мы в это, конечно, не верили: понимали, что есть сметанку — излишество, из сметанки баба «масьелце собьет».

И где-то там, на улице, по горам черного льда идет в темноте моя мама.

— Ба, давай ляпеху... Ба, давай ляпеху,— бормочет Юрка.

А я не хочу есть... и при слове «ляпеха» меня подташнивает. Видимо, это зима с сорок первого на сорок второй: через год войны о «драконке» и думать забыли. А после войны — после войны мы уже не лежали втроем на печи: тетя Катя от нас отселась.

Братья мои росли крепкие, как боровички, это я болел часто ангиной, а их не брала никакая хворь, кроме разве желтухи и цыпок. В этом я от них тоже не отставал: желтуха нас дожимала в конце зимы, а цыпки — уже весной.

Зато как только начинало зеленеть, все хвори сразу прекращались. Я не скажу, что мы с утра до вечера шатались по окрестным лугам и лесам: в военное время от нас требовалось, чтобы мы постоянно находились на глазах у взрослых. Наверно, мы просто копошились где-нибудь возле крыльца: жевали всякую траву, стебли сурепки, сосали головки клевера и еще такие желтенькие цветы, которые у нас назывались «пцолки». Братья делали это, побуждаемые витаминным голодом, я же — за компанию с ними.

Впрочем, нет: сладкого и в самом деле сильно не хватало. Когда после войны уже, перед самым отъездом в Москву, отчим принес мне откуда-то банку грушевого компота, я был потрясен: у меня в голове не укладывалось, что бывают такие сладкие вещи. Я вылил все содержимое банки в миску (отчим, мама и бабушка сидели за столом и молча на меня смотрели... как именно смотрели — не знаю, я был слишком поглощен компотом), взял ложку, краюху хлеба и принялся с жадностью есть, не думая решительно ни о чем, соловья от простого животного счастья. Никогда больше в жизни я так жадно не ел.

И надо же было случиться, что в это время пришел Юрка. Когда за моей спиной открылась дверь,

я сразу понял, что это он, и мне так страстно захотелось поскорее покончить с компотом (там в густом прозрачном бульоне плавали белые мягкие и в то же время каменистые дольки), что я, не оборачиваясь, бросил ложку, схватил миску обеими руками и хотел было выпить все через край — пускai останутся, ладно уж, одни дольки,— но что-то меня остановило.

Юрка скромно поздоровался, как-никак отчим был для него посторонним человеком, и остался в дверях, пока мама не позвала его к столу. И тогда, покраснев и не глядя на Юрку (похоже, что он тоже смутился), я протянул ему миску с компотом: — На, попробуй.

Юрка взял ложку и, стоя, деликатно попробовал. Потом в это дело вмешались взрослые и навели порядок. Мы сидели рядышком и доедали компот из кружек. Утолив нестерпимую потребность, я сразу расслабился, мне было даже приятно, что я поступил как надо, не осрамился перед отчимом, и, поворачиваясь к Юрке, я то и дело дружелюбно спрашивал его:

— Сладко? Сладко?

В ответ он молча кивал.

Не знаю, о чем он думал при этом, но ему было неловко. Возможно, он думал: «Вот чем Марка будут кормить в Москве». Если так, то он ошибался. В Москве мы долгие годы жили довольно скудно (если не считать бессмысленных застолий), и бывали дни, да что там — месяцы, когда единственной сладостью, достававшейся мне, был колотый сахар. С этим колотым сахаром я поступал вот как: берешь стакан пустого кипятка, а то и просто воды из-под крана и через кусок сахара начинаешь сосать воду, закусывая это дело черным хлебом. Колотый сахар тем и хорош, что он долго не тает. А с черным хлебом — вкуснее любых конфет.

Что же касается отметок «нашенским», то тут мама неправа: ни наклона, ни ее нажима я, неграмотный, осенью сорок четвертого подделывать не мог, ибо знал и умел писать только печатные буквы. Превращение печатных букв в письменные казалось мне таинством.

Сидя за географической картой и держа на коленях букварик, который мама оставляла мне для развлечения, я сверял то, что слышал из класса, с напечатанным и радовался легкости чтения, но когда там, по ту сторону, наступала тишина и только мамин мел стучал по грубо покрашенной доске, я заглядывал в дырочку и с тоской убеждался, что опять это чудо от меня ускользнуло: мамина рука выводила другие буквы — те самые, которые я вижу сегодня на ее листках,— их красота казалась мне непостижимой. Карандашом на полях газеты я пытался скопировать эти буквы — и начинал тихонько плакать: буквы у меня получались в лучшем случае прямоугольными.

Дав прописи первоклассникам, мама переходила на левую половину, где за такими же длинными дощатыми столами с косой распоркой внизу сидели третьеклассники, ту половину мне не было видно, я только слышал оттуда мамин голос, но меня значительно больше интересовало, как же справляются с письмом младшие, почти мои сверстники. Выждав время, я слезал со стола, «набубал» валенки и, стараясь производить как можно меньше шума, выходил в класс. Подкрадывался к заднему столу, заглядывал в тетрадки и, увидев, что у других получается почти так, как у мамы, горестно возвращался в свой закуток.

Задерживаться в классе мне было запрещено: детишки начинали вертеться, перешептываться, хи-

хихкать и вообще, как говорила мама, размагничиваться. Вдруг рассказ ее обрывался, она смотрела на меня долгим взглядом, не предвещавшим ничего хорошего, и при этом как-то особенно сжимала губы, весь класс, как по команде, оборачивался, и я поспешно уходил за карту.

Отметки в журнал подставлял сам Юрка, моя же задача сводилась к тому, чтобы вынести ему журнал. До поры до времени мне это удавалось. Мама садилась проверять тетради, я поспешно одевался и, сунув украдкой журнал под пальто, с лихорадочно бьющимся сердцем направлялся к дверям. Я прекрасно понимал, что совершаю тяжкий проступок, мама мне этого ни за что не простит, но интересы «нашенских» были превыше всего.

— Мам, я к Вальке...

Голос мой звенит и фальшивит, мама медленно поднимает голову и поворачивает ко мне молодое свое лицо, освещенное яркой керосиновой лампой (разумеется, это тогда она казалась мне яркой) — освещенное и оттого строгое и прекрасное, как лик судьбы.

— На ночь глядя? А раньше где был?

— Я вторую смену слушал, историю.

Слушать уроки мне не возбранялось — да подика этому помешай, — но у мамы была такая идея, что у меня, несмышленища, это преждевременное слушание отобьет интерес к школе и вырасту я всезнайкой, не умеющим заниматься.

— Совсем запечник стал, — вздыхает мама. — Ну, ладно, иди, только ненадолго.

И вновь склоняется над своими тетрадями.

О радость и стыд облегчения! Я выбегаю на улицу, Юрка ждет меня за углом школы, мы присаживаемся тут же на корточки, я чиркаю зажигалкой, сделанной из мятой гильзы, и при свете этого неверного пламени Юрка вершит свое дело.

Я смотрю на него с укоризной, поторапливаю шепотом:

— Ну, скорей, ну чего ты!

Юрка таким образом завоевывает авторитет в школе, а я-то страдаю во имя чистой идеи, и мне еще предстоит подсунуть журнал маме на стол, а это сложнее, чем вынести.

Как-то раз Юрка капнул на журнал чернилами, оба мы помертвели от ужаса, но потом Юрка слизнул кляксу, да так ловко, что остался лишь бледный след, и мама его не заметила.

Я не помню, какими он руководствовался критериями, но приходил уже с готовым раскладом, кому что поставить, и не злоупотреблял: я сужу хотя бы по тому, что мама долго наших махинаций не замечала. Да и учеников у нее было больше ста.

Один раз нас застала за этим занятием баба Таня.

— Да никак курите? — ахнула она.

Мы вскочили как ошпаренные, я сунул журнал под полу пальто, благо было темно.

— Не, ты что, ба, ты что! — пролепетал я.

Бабушка нагнулась и недоверчиво нас обнюхала: ей и в голову прийти не могло, каким черным делом мы занимаемся, школьные дела дочери были для нее священны.

— Зажигалку чинили, — сказал более догадливый Юрка.

Баба Таня отобрала у него зажигалку и успокоенная, удалилась. Но для Юрки зажигалка была не потеряй: Ваня Немой готов был сделать для него хоть сто штук.

Не скажу, что мы подставляли отметки ежедневно, Юрка был хитер и расчетлив, но ему-то что? Сделав дело, он мог идти по деревне и похвастываться, а я, как нашкодивший кот, возвращался до-

мой. Утомленная работой, мама не обращала внимания на то, что я так скоро вернулся: пришел — и ладно.

— Галоши сними.

И я, сняв галоши, сначала тихонько подкладывал журнал на топчан, поближе к маме, за ее спиной, потом, раздевшись, подходил к столу и начинал перекладывать книги ее и тетради.

— Мешаешь, — не поднимая головы, говорила мама.

— Книжечку ищу посмотреть, — уже более уверенно отвечал я. — Мам, я есть хочу. Ты скоро?

— Не мешай, говорю. Бабушка придет — покормит.

Наконец дело сделано, журнал перекочевал на место, и вот тут-то начиналась работа совести. «Ах, я пакостник, мама работает с утра до ночи и не знает, что сын у нее — враг».

Как все напроказившие детишки, в такие минуты я начинал ластиться к маме, заговаривать с нею таким умильным, заискивающим голосом, что, будь она менее занята, она бы сразу заподозрила неладное.

Совесь грызла меня вперемежку со страхом лишь до той минуты, когда мама открывала журнал, чтобы проставить отметки за домашние и контрольные (на последние Юрка никогда не посягал). То краснея, то бледнея, я поглядывал на маму — и наконец по выражению ее лица видел, что она опять ничего не заметила.

Иногда, впрочем, мама, хмурясь, начинала приглядываться к журнальной страничке:

— Описалась я, что ли?

И зачеркивала оценку, которую мы с Юркой пять минут назад выставили.

Но, как говорят, сколько веревочке ни виться... Видимо, однажды я не рассчитал время, и мама, покончив с тетрадями, стала искать журнал. Тут у нее все в голове и связалось. Я вхожу в наш закуток — мама сидит за столом и смотрит на меня, скорбно улыбаясь. Я сразу понял: это все.

— Положи на стол.

Я достал журнал из-под полы, осторожно приблизился.

— Отметочки подставляешь? — каким-то даже ласковым голосом спросила мама. — Ну, и кто ж тебя подучил? Ах, молчишь... Значит, сам. Значит, грамотный. Ладно, пусть так и будет.

Я стоял, чуть живой от страха, прижимая журнал обеими руками к груди.

— Клади, клади.

Я повиновался и тут же отступил на шаг, готовый, если что, выскочить на улицу.

— Да ты не бежать ли надумал? — удивилась мама. — Ну, беги. Беги хоть на все четыре стороны. Но сначала ответь: ты мне сын или не сын?

— Сын, — сказал я и заплакал навзрыд.

Но маму это не тронуло.

— Погоди плакать, плакать будешь потом. Значит, ты мне сын. А ты знаешь, кто твоя мама? Я молчал.

— Хочешь славу обо мне пустить по району, что, мол, в Новинской школе отметки неправильно ставят? Чтобы люди твою маму уважать перестали?

Я молчал, оцепенев: меня ужаснул тот масштаб, который, оказывается, имела моя провинность.

— Молчишь? Хорошо. Мама, принеси-ка мне ремешок.

Эти слова обращены были к бабушке, которая пригорюнясь стояла за моей спиной.

— Мамонька, прости...— пролепетал я, ни на что уже не надеясь.

— Ну, конечно, прощу,— сказала мама и поднялась.— Куда ж мне от тебя деваться. Но сперва я научу тебя уважать мамину работу. И не вздумай кричать, что за крики из школы?

И я был выдран, не скажу, что до полусмерти, я как раз ожидал худшего, но запомнил я эту «дранку» навек, оттого что она происходила в крошечном молчании: мама не приговаривала того, что принято в подобных случаях («Вот тебе, вот тебе! Будешь еще? Будешь?»), и баба Таня не пыталась меня отстоять, как это она делала не однажды, и я сам молчал, оберегая репутацию Новинской школы.

Не уверен, что «дранка» была необходима, я и так уже потрясен был маминими словами о дурной славе по всему району: для меня слово «район» означало что-то бескрайнее, волнообразное и туманное, время от времени мама уезжала в эту бескрайность на учительскую конференцию (или просто «уходила в район»), и мы с бабушкой ждали ее долго и беспокоило.

Я прекрасно знал, что в районе маму уважают, да я чувствовал это и по отношению ко мне наших новинских, я гордился тем, что живу в школе, которой моя мама заведует, и откуда ж мне было знать, что о нескольких пятерочках «нашенским» могут прослышать во всем бесконечном районе?

После «дранки», как это обычно случается в семьях, где главенствуют женщины, меня тихо и незаметно пожалели, и все скоро забылось. Юрку я не выдал и о катастрофе, меня постигшей, ничего ему не сказал, но он и сам о журнале больше не заикался.

«Вот болтлива я стала, я ж про Ваню Кислого писала, а каки-то образом на школьные дела перекинулась.

Ну, так вот.

Как-то раз привел Ваня Кислый к нам немецкого офицера с переводчиком. Переводчика я знала: бывший учитель железнодорожной школы из Острова. Никакой неловкости он при виде меня не почувствовал, хотя тоже встречались не раз, и в рон, и на конференциях. Только усмехнулся кривенько да плечами пожал: что поделаешь, мол, Елена Ивановна, дело наше невольное, не я — так другой.

Стал немец с бабушкой твоей разговаривать, поначалу вроде бы мирно. Мы, конечно, с Катей делаем вид, что это нас не касается, продолжаем свои дела, с детьми занимаемся, слушаем. По отдельным словам, по вопросам, поняли мы с Катей, что в городе Острове что-то произошло, какая-то вроде диверсия, немцы гнались за партизанами, но упустили и теперь ищут концы. И для нас это было косвенное подтверждение, что у немцев есть данные: Саня и Толя живы. И страшно нам было, и радостно, а еще я, правду скажу, втихомолку за папу твоего порадовалась: в действующей армии он, среди своих, и казалось мне, будто это все равно, что в безопасности.

А вы трое, ребяташки, присели на лавку неподалеку от бабушки и тоже внимательно слушаете. Смотришь ты на немца, у него на руке компас такой большой, и вдруг как лгнешь: «А у моего папы — такой же». Мы, взрослые, так и охнули. И говорил-то ты это братишкам двоюродным, они отца своего, дядю Саню, вспоминали все время, а тебя поддразнивали, что ты отца твоего не помнишь, вот ты и выбрал время доказать, что ничего подобного, помнишь.

Нам бы, взрослым, сделать тогда вид, что не слышали мы, о чем ты бормочешь, а Катя мне шеп-

чет: «Уведи ребенка, погубит нас всех». Я тебя за руку с лавки стаскиваю, а ты упираешься: «Никуда не пойду». Заинтересовался немец, остановил переводчика: «Что этот мальчик сказал?» Переводчик на меня зыркнул — и с вопросом к тебе. Ты и повторил: что возьмешь с малолетнего? «А папа твой разве приходил домой?» — спрашивает через переводчика немец. «Приходил», — отвечаешь ты с гордостью.

Бабушка хотела вмешаться, но немец ей не дал. «А где сейчас твой папа?» «Бьет фашистов». Как перелетел это бывший учитель — сейчас судить не могу, думаю, что смягчил формулировку, но это не помогло. Немец покраснел, вскочил, быстро заговорил по-своему, переводчик нам со злостью внушает: «Что же это вы позволяете детям язык распускать? Вы думаете, что с вами только по-хорошему можно? Хорошего обращения вы как раз и не понимаете, вот что говорит господин офицер».

Бабушка пытается его перебить, слово вставить, что нельзя на малое дитя обращать внимание, и вдруг немец извернулся так ловко и своей тяжелой рыжей рукой — хлоп с размаху бабушку по щеке. Бабушка на лавке сидела — так затылком об стену и стукнулась. Ребята все заплакали, мы с Катей подскочили, а немец бабушку еще и еще по лицу. «Что ж вы делаете, пан офицер? — кричим мы с Катей. — Это ж старая женщина, как же можно?»

Насилу втолковали мы ему, что ты своего отца помнить не можешь, что ты видел его до войны и что просто болтаешь, хвастаешься. Переводчик и сам испугался, не очень-то ему хотелось присутствовать при избиениях, затахтел, как пулемет, и от себя, я чувствую, прибавляет, а немец и на него, как бешеный, глядит, глазами белыми фыкает. Успокоился пан офицер только тогда, когда выяснил, что вы двоюродные братья, а значит, не про того отца речь, которого он ищет. А спокойный такой был немец, худощавый, красноносый, весь конопатый и в золотых очках. Желтые прядки на лысине красной зализаны. У себя в Германии старой женщине место бы уступил, а тут перед бабами и детишками распоясался.

...Потеппело, зазеленело, стали люди пахать землю, боронить, засеивать, прикидывая про себя, как лучше будущий урожай от немцев спрятать. Укромных ям понарыли, сложили туда, что имело для жизни хоть какую-то ценность. Теплую зимнюю одежду, как с себя скинули, тоже в землю зарыли: соображал народ, что этой зимой немец намерзся, начнет теперь впрок полушубки по деревьям заготавливать. Так оно и было, верно народ рассчитал: стали немцы по печным лежанкам шарить. Ну, уж это если ротозей какой полушубок оставил.

Посеяли немного и мы с Катей и с мамой. Тут хоть десять оккупаций, а семя в землю набросать надо. Кто не делал так, кто руки опускал, тот не пережил даже татарского ига, не оставил после себя семейства и не дожид до настоящих времен. Землю вспахал нам сосед с отработкой: лошадей сельповскую у нас еще осенью отобрали, я забыла сказать. Да и не прокормили бы мы зимой корову и лошадь.

И пошла вроде сельская обычная жизнь. ни стрельбы ни пожаров. Немцы и каратели косить-пахать не мешали, полагая, что осенью свое выберут. Но и люди усвоили: у дороги не сей, не коси, на усадьбе огорода не заводи, для чего понапрасну стараться? Все отберут. И поля наши, и огороды по лощинам да по полянкам попрятались. Немцы и каратели уважали только накатанные до-



роги, напрямую они никогда не ездили, по кустам и перелескам не шарили.

Как-то раз в середине лета собрались мы, женщины, кто помоложе, на Ивановский погост за малиной. На погостах старых всегда малина хорошо родится, хотя не все туда ходят ее собирать. Ну, в войну особенно брезговать не приходилось. Место глухое, заброшенное, только один раз дорогу надо перебежать. Пошли со мной Маша Дочина, еще другие женщины — всем хотелось детей своих чем-то сладеньким покормить.

Набрали мы по хорошей корзинке малины, выходим из кустов — на дороге, как раз в том месте, где нам перебежать надо, стоит немецкий грузовик, а от него к нам идут четверо солдат с автоматами. Меж собой разговаривают, нас пока не видят. Куда деваться? За кустами — открытое поле, далеко не убежишь. А на поле какой-то добрый человек накопил сена и собрал в большие копны. Разбежались мы к копнам, зарылись каждая поглубже и сидим, едва дышим.

Прокопала я себе дырочку, смотрю — трое немцев стоят у кустов, а четвертый идет прямо к моей копешке. Ну, пропала, думаю, Лена, плохо зарылась, какая-нибудь тряпка торчит. Те трое стали по грядкам ходить (был там за кустами чей-то небольшой огородец), а этот прямо идет, заинтересованно, не сворачивая. Подошел поближе, снимает с себя автомат, кладет на землю. Спустил штаны, присел. И смех, и грех. От облегчения усмехается, про себя бормочет «бом, бом, бом». Кончил дело, облачился и той же дорогой к машине. По пути выкопал что-то из грядки, об рукав обтер, съел на ходу. Погрузились — уехали.

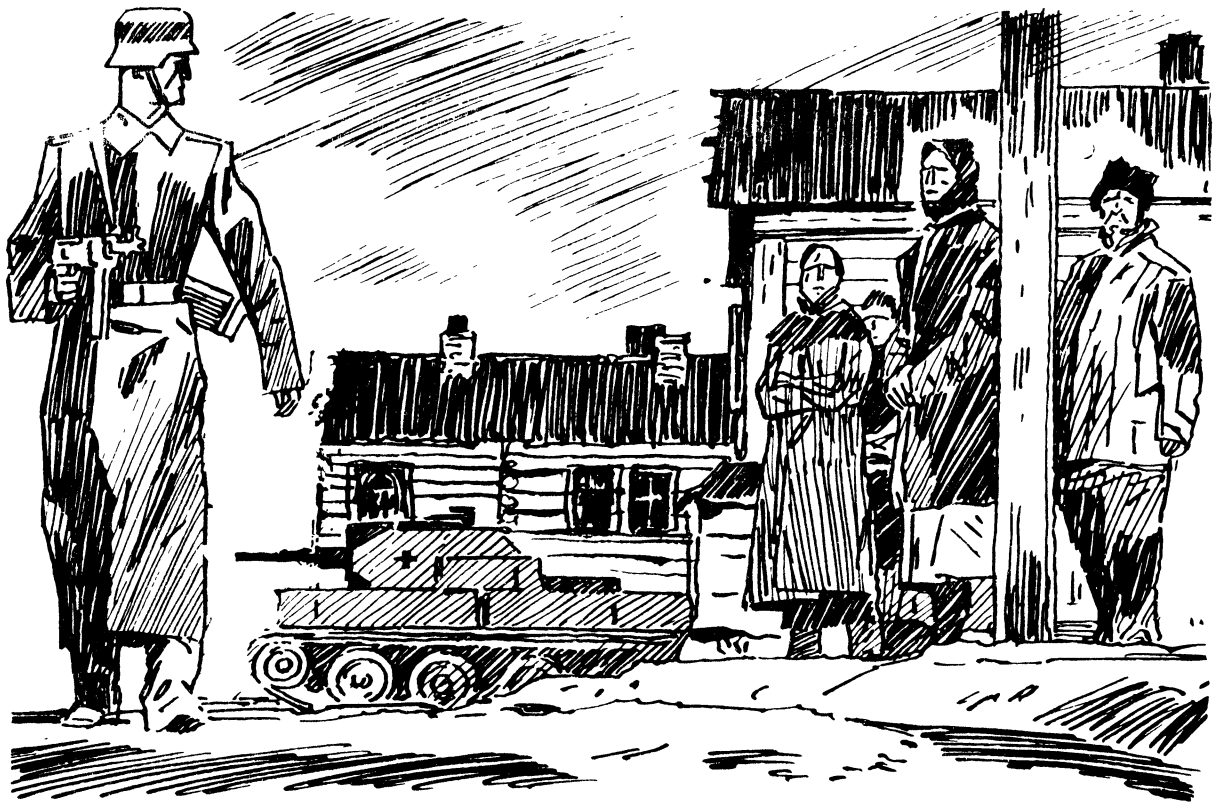
Как машина за поворотом скрылась — выезаем

мы, все в сенной трухе, смотрим друг на друга — и давай хохотать. «Ленка, ты живая?» — спрашивает меня Маша. «Да живая, — говорю, — только контуженная».

Почему я вспомнила это, не бог знает какое событие? Думаешь, наверно: пожилые бабы в платочках до самых бровей, а ведь мы тогда были совсем молоденькие, посмеяться хотелось до смерти, только не над чем было смеяться, такая наша молодость шла. Вот и здесь — ведь не четверо гуляк брели вразвалочку через луг, а четыре наших смерти, автоматы у них возле пупка не для красоты болтались, а на нашу погибель, и догадывались мы, сколько пулек железных туда насозано.

Попадалась среди оккупантов такая сволочь: что ему высморкаться, что пустить очередь автоматную в человека — все едино. Мы ж для них были нелюди, что-то вроде мышей земляных. И они для нас тоже: бывало, смотришь издали, как они, в кучу сбившись, кишат, вроде и не трогают тебя и не видят — а просто дрожь по спине осыпает, как будто гадюшник увидела. Есть в сухих болотах наших такие места: собираются между кочками штук по десять — пятнадцать гадюк, и кишат, и кишат. Раз, я девочкой была, вышла на такое место: бросила ведро с гоноболом и до дому бежала без памяти. А в войну куда бежать, когда кругом они кишат, серые, черные и зеленые.

Вот никак я понять не могу: средняя по размерам страна — и столько людей понаслала, что и там, и здесь, и в нашей глухомани они на каждом шагу. Оголили свою Германию, неужели такая большая гожила с войны? «Пырьх и мод», да еще вот редиску на ходу выкопал, ну велосипед чужой увел, валенки прихватил... разве чужого столько возь-



мешь, сколько своего нажить можно? Семен меня поправляет, что добро наше они только по пути прихватывали, а нужна им была, главное, наша земля. Ну, мне с вами, с мужчинами, в этих вопросах не тягаться.

Говорит с тобой немец — человек вроде как человек, и болячки у него человеческие: то прыщи на лице, то в платок беспрерывно сморкается (очень много их было, прыщавых и насморочных), и голос-то у него человеческий, тихий, — а в глаза ему смотреть нельзя, головы лишиться можно. Видимо, внушали они себе, что нелюди мы, каждый сам себе внушал, для своего облегчения, человеческое в нас их пугало.

И опасно было ходить по земле: за грибами идешь — чуть ли не со всеми прощаешься. До войны в наших местах слух прошел: появились в лесах трое диких людей, два мужика и баба. Голые, волосатые, по-звериному мычат, холода не боятся. Зубоскалила, конечно, молодежь: как они живут промеж собою. В лес, однако, баб перестали пускать, а мужчины ходили группами, с топорами за поясом. Но такого вот дикого человека не страшнее было встретить, чем немца, на своей-то земле.

Прослышали мы летом, что за восемнадцать километров от нас, в Алехино, старушка одна на полнолуние очень верно гадает. Собрались женщины из Капралов, человек около десяти, мы с Марией, Моченковых невестка, Катя наша, другие солдатки: «А что, бабы, пойдём! Может, скажет чего про наших мужей, где они сейчас воюют». Куша Петрякова с нами увязалась, ни одной она гадалки не пропускала, все надеялась беглого мужа своего разыскать. Идти решили вечером, когда смеркнет-

ся, чтобы меньше было возможности напороться на немца. Мне, конечно, учительнице, не к лицу было с ними, но понять тоже можно, сынок: ни газет, ни писем, истосковались мы все от безвестия.

Женщина была гадалка охотливая, всех приняла, завалили ее избушку приношениями, и стала она гадать. Многим нашим сказала, что живы мужья и воюют (Дониной она так нагадала, Моченковой, но тут ошиблась), Кате высказалась неопределенно, что, мол, жив или нет, это еще как поглядеть, а меня спрашивает: «Ты-то здесь зачем?». Я заплакала и сказала о муже, а она мне в ответ: «У тебя судьба другая. Твой муж погиб в жаркой стране Финляндии». Очень это меня поразило, но сама себя я убила, что невежественная она женщина, водит людей за нос, где Финляндия — и того толком не знает. А ведь верно она сказала, вот и думай после этого.

И еще одно событие было тем летом, у Андрея Литовцева: старший сын его, Георгий, вернулся с войны, как ни в чем не бывало, и открыто пришел, по дороге, не крадучись. На него вся деревня сбжалась смотреть, как на диво заморское. Объяснял всем и каждому Георгий, что дезертировал он из рядов Красной Армии, отработал год в городе Старая Русса у какого-то немца гражданского — и вот вернулся к семье. Староста деревни послал его с повинной в волость: если б он тайком вернулся — дело одно, а с такой замечательной биографией дезертира — совершенно другое. Короче, создалось у нас впечатление, что здесь что-то не то: петляет Георгий, темнит. А когда он вернулся из волости, с разрешением на жительство, окончательно это мнение укрепилось. Бабушка все по-

ривалась зайти к Литовцевым, побеседовать с Георгием о сыновьях, но мы с Катей ее удержали.

А осенью Георгия арестовали. Его и Журавского и еще пять человек из нашей округи, за связь с партизанами. Увели их в Островскую тюрьму, там били, мучили долго, а через месяц казнили. Видели люди, как Журавского Евгения Васильевича вели немцы казнить. Он был замучен пытками, черное лицо у него стало. Вот, сынок, кому мы с тобой жизнью обязаны. Не мог он помочь мне открыто, но от концлагеря спас».

А отец мой в это время, навеки оставшийся молодым, лежал в земле «жаркой Финляндии», а будущий отчим, командуя взводом, уходил на восток, к Сталинграду, все дальше и дальше от нас...

Да, война дорого обошлась отчиму: четыре госпиталя — не шутка, и всякий раз из бинтов — на передовую. Черный, задымленный порохом и куревом, с молодым лицом (как увидел я его, так он для меня и не стареет, только горбится с годами и дышит все тяжелей) и со старыми глазами, к которым так и не подобрали мы очков...

Он подошел ко мне, строгому и насупившемуся, прихрамывая и подволакивая ногу, и сказал те слова, которые, по его понятиям, должен был сказать:

— Вот, Марк, будем жить вместе.

Между этой фразой, застенчивой и виноватой, и моим отчаянным «папа» пролегли недели, да что там недели, половина души моей пролегла. Я не помню, как он сказал мне эту фразу, но знаю, что именно так он сказал. Я лицо его помню, это много важнее, сконфуженное, молодое и старое одновременно, темное в сравнении с моим детским, побледневшим от волнения лицом:

— Вот, Марк.

Все я мучаюсь своими печальями, а каково было ему произнести чужое имя, сорок раз перед этим произнеся его в уме: «Вот, Марк». Он ведь к этому готовился, как готовился и Журавский, чтобы в муках и честно встретить свой смертный час. Когда мама пишет «Журавский», так и вижу окаленное отцовское лицо (то ли отчима, то ли отца), наклоняющееся ко мне со словами «Вот, Марк». Так сказал он — и пошел на виселицу, ради меня. Где найду я столько жизней, чтобы оплатить эти три?

Он не слишком тонок, мой отчим, и, взглядевшись, я вижу: много больше силенок потратил я, малыш, чтобы только ему понравиться, он же этого как бы не замечал. Он не слишком тонок, мой отчим, чуткости ему порой недоставало, но он знал, что делать, а это, может быть, больше, чем понимать. Он стеснялся не там, где, по моим понятиям, надо было стесняться, и гордился совсем не тем. Искалеченной ноги своей он всегда стыдился, и мучительно было ходить с ним в баню, где он чувствовал себя ущербным среди здоровых молодых мужиков.

Никогда он не гордился тем, что всю войну прошел строевым офицером, а вот тем, что сам товарищ Бабичев не гнушался с ним выпивать, — этим он гордился. Бабичев был мерзавец, каких поискать, на его бледном, испитом длинноносом лице так и было написано, что он мерзавец, есть такие лица, отмеченные печатью подлости и вырождения, особенно ужасны были его длинные, покрытые серым пухом уши с мочками, приросшими к щекам. Приходя к нам, он напивался всякий раз почти до икоты, но при этом третировал отчима, как мог: «Ты — тюфяк, понимаешь? Тюфяк, и замолчи, и слушай меня!» — и махал на отчима длинной белой

веснушчатой рукой так близко от лица, как будто хотел сделать ему «шмаз». Бабичев не давал проходить маме, приставал к ней, стоило ей только приблизиться («Держись от него подальше — и всё», — советовал отчим перед его приходом), и гнусавым голосом говорил мытые-перemyтые банальности. А отчим смотрел на него своими фронтальными глазами (Бабичев был белобилетник, и на всю жизнь у меня это слово связалось с его фамилией: белобилетник Бабичев) — смотрел и терпеливо моргал.

К моим фантазиям отчим всегда относился с недоверием и опаской. Как-то вечером мы шли из магазина и я спросил у него:

— А почему в Москве небо рыжее?

Мой старик удивился. Он остановился, посмотрел озадаченно в темное вечернее небо и переспросил:

— Какое?

Я повторил и добавил еще — не подтрунивая, а с некоторым тайным любопытством: «Рыжее в крапинку». Никаких крапинок я уже не видел, они остались в моей предыдущей жизни, но отчим вдруг обиделся:

— Ну, зачем болтаешь? Зачем?

И, не оглядываясь, пошел вперед.

Он не так играл со мной, не так меня ласкал. По головке гладил чуть ли не с опаской, как будто я его сейчас укушу, про учебу расспрашивал с таким озабоченным видом, словно не понимал, что мне учеба — не учеба, я все свои школьные нагрузки раскидывал играючи, и меня оскорбляло, что отчим не верит в такую легкость.

Когда я врал взалхлеб (а это со мною случалось часто), отчим смотрел на меня так, как будто видел впервые, а потом вполголоса (но я-то слышал, я только и жил, что этой заботой: как о нем я в и д и т) — вполголоса спрашивал маму, как о больном:

— Слушай, Лена, а наш Марк не заврется?

Что он подразумевал под «заврется» — для меня так и осталось загадкой. Каким-то образом «заврется» было у него связано с «зачитается». Удивительно: он терпеть не мог, когда я читал или просто задумывался.

— Что это, уроки?

— Нет, просто так. Интересная книжка.

— Иди гуляй, — говорил он, мягко, но настойчиво отбирая у меня книгу. — Зачитаешься.

Или так:

— Ну, о чем ты все время думаешь? Что тебе думать? Ты что, больной?

Он не слишком был тонок, мой отчим, а я так старался ему понравиться. Ну, положим, прихрамывать, как он, я быстро перестал, уловив, что это у него вызывает недоумение и досаду (как будто я его передразниваю), но в мечтах своих я слышал, как люди вокруг говорят: «Посмотрите-ка, ну до чего похожи!» — и отчим слышит тоже, и ему приятно. Я старался подражать до мелочей его неторопливой и в то же время по-крестьянски жадной манере есть, привычке морщить лоб, поскребывать всей пятерней стриженный под полубокс затылок. Никто не оценил моих стараний. Бывало так, что я иду с ним рядом (о, как я любил с ним ходить, все равно куда, лишь бы рядом), копируя его манеру отмахивать присогнутой в локте рукой, и вдруг он останавливается, смотрит на меня и говорит:

— Ну, что ты как обезьяна, ей-богу?

И нам обоим одновременно становится неловко. Мне — оттого, что он застал меня врасплох, переполненного чувством сыновней радости, ему — оттого, что он не мог разгадать выражение моего ли-

ца. И вместе с тем он меня любил — по-своему, как умел. А я хотел, чтобы он любил меня по-моему. И обоим нам было трудно.

У него была другая война. У меня — тихая, почти безлюдная, зелено-снежная, пахнущая сырой землей и сладкой мороженой картошкой, у него — железная, ржавая, дымная, с массами бегущих вооруженных людей. Немцы подходили ко мне близко, что-то картова приговаривали и посмеивались, я по сей день вижу их длинные белые лица, он же видел их маленькими сине-зелеными фигурками в чужих касках и близко не подпускал, убивал из грохочущего пулемета.

Много позднее, когда отношения наши как-то установились, он слушал мои рассказы с недоверчивым удивлением. Помнится, я рассказал ему про одного немца, которого допрашивали в партизанском отряде: я сидел на коленях у дяди Егора Ксенофонтова и смотрел на руки пленного в грязных нитяных перчатках с обрезанными почему-то пальцами, эти руки тряслись и суетливо перебирали блестящую цепочку, видневшуюся из-под расстегнутой шинели. Я спокойно гадал, что ж такое спрятано там, пристегнутое к этой цепочке, немец, видимо, перехватил мой взгляд, поспешно отстегнул цепочку и протянул мне огромные, величиной чуть не с чайное блюдце, часы. Я вопросительно поднял голову, посмотрел на дядю Егора, тот кивнул мне: «Бери». И я взял эти часы, они были с непонятными римскими цифрами, а немца потом увели, и я его больше не видел, и часы сами собой пропали, да так хитро, что я о них даже не горевал.

— Что, расстеляли? — спросил отчим.

Этого я не знал, а отчима судьба пленного интересовала куда больше, чем его часы и перчатки с отрезанными пальцами.

— Куда ж вы их, интересно, девали? — проговорил он.

— Кого, часы? — наивно спросил я.

— Кого... медведя, — беззлобно передразнил меня отчим. — Пленных, конечно.

Меня приятно щекотнуло это невзначай оброненное «вы», но вслед за циферблатом с римскими цифрами (которые я счел немецкими) у меня в памяти был очередной проскок, дальше я видел себя уже лежащим на кровати в чужой избе с голыми стенами, между бревнами торчит нестерпимо сухая пакля, меня терзает ангина жар, щиплет глаза, и кажется, что эта пакля сыплется прямо в лицо, я начинаю плакать и хрипло кашлять, и какие-то два незнакомых бойца, оба в белых полубухбах, озабоченно наклонившись надо мной, поят меня молоком, а ложка как раскаленная...

Не добившись от меня вразумительного ответа на вопрос о пленном, отчим помолчал, подумал и потом произнес:

— Да, не детское это дело.

И переменял тему.

Мама, сердясь, уверяла меня, что не часы это были, а именно компас, и не мы допрашивали немца, а наоборот — нас допрашивали, и вообще этого я помнить никак не могу. Но часы с цепочкой я не просто помню: я их чувствую в своих руках: большие, плосковатые, но с выпуклым немногим стеклом, без крышки и без украшений, одна головка для завода и кольцо вокруг нее, и не м е ц к и е цифры, слегка искаженные кривизной стекла. Точно так же знаю я, что у дяди Егора Ксенофонтова было гладко выбритое, совсем не партизанское лицо, бородавка на щеке и тихий тускло-

ватый голос бессемейного мужика: кто-то произносит в отдалении «Бессемейный мужик» — и у меня это связывается с его тихим голосом.

Но одновременно мама в чем-то права, вижу я и переводчика-железнодорожника (может быть, он перешел к партизанам? такое бывало), он стоит посреди комнаты, узкоплечий и щуплый, в куцем пиджачке, с пышной черной шевелюрой, и изо рта его, точно клубы темного дыма, вырываются немецкие слова.

Мне и самому довелось поговорить по-немецки: «Нихт ферштее», — сказал я наклонившемуся ко мне лейтенанту. То, что это был лейтенант, говорит мама, но когда это было — не помнит она сама, я тем более. Проходила через деревню колонна немецких солдат, и, по-видимому, офицерик, тосковавший по детям, подошел ко мне и что-то спросил, а я пробормотал в ответ то, чему был обучен. Мама рассказывает, что взрослые учили детей: что бы тебя ни спросил немец, пускай даже по-русски, отвечай: «Нихт ферштее».

«Зима с сорок второго на сорок третий была у нас суровая. Топили печи хворостом, который собирали в окрестных лесах. Дров заготовить немцы не дали: все леса хорошие, бывшие барские, они спилили, сложили в штабеля и отправили в Германию. Одни пенечки остались, точно как Ваня Кислый говорил. Смотрят люди: всё-то они к себе в Германию тащат, даже рельсы со шпалами снимают и грузят в вагоны, значит, совсем собираются жизнь здесь истребить. И такое зло вскипает в душе: поглядим, на сколько хватит ваших силенок.

За продуктами являются — «мод и пырх» уже не спрашивают, заходят в избу и сразу кидаются к печке, заслонку открывают и смотрят, что там готовится. Достанут, тут же съедят, остатки распахают кто куда — и к следующему дому идут. Все с жадностью, взаглот, молча, совсем переменялся у немца солдат.

Проезжали и партизаны через нашу деревню, небольшими отрядами, на санях, верховые, но только по ночам, тихо, как кошки, без единого звука. Мы, бывало, с мамой, с Катей не спим, караулим, когда они через Капралы поедут, хоть бы посмотреть на тень ночную своих родных людей. Выходить им навстречу не выходили, понимали, что не надо лишнего шума. Если удавалось в окошко подсмотреть, как движется отряд, — это радость у нас была, до утра потом не спим, разговариваем.

Первым появился в наших местах Дедушкин отряд. Командира его звали Дедушкой за длинную бороду, которую он поклялся не сбрасывать, пока немцев не разобьют. Мы еще отряда этого не видели, а рассказы о нем уже из дома в дом ходили, похожие на сказку.

Говорили люди, что в отряде у Дедушки мальчик воевал двенадцати лет. Ленинградский он был, отдыхать перед войной приехал к бабушке в деревню, бабушку убило, и остался он один. Ходил по деревням сначала, подаяние просил. Дедушка взял его в отряд, и стал мальчишка отличным партизаном. В отряде звали его Сынок. В разведку с нищенской торбой ходил, в боях рядом с Дедушкой держался. «Дедушка, гады ползут!» За ним охотились каратели. Погиб он будто весной сорок третьего года. Остановились партизаны в Оборотнях, а Сынку не сиделось, оседлал он лошадей и поехал посмотреть, не ушли ли немцы из Новой деревни. Тут его фашистский снайпер и подстрелил.

Каждую ночь мы ждали гостей из отряда с восточкой от Сани и Толи. А я еще надеялась, что известно братьям что-нибудь о нашем с тобой отце, где он воюет. Ведь были такие случаи. Ваня Кислый, и тот говорил: «Найдем в доме письмо фронтовика — повесим». Значит, делаю вывод, попадают как-то письма с фронта по адресу.

Наконец в марте сорок третьего ночью приехали к нам разведчики из Первой партизанской бригады Костя Саратовский и Коля Пскович. Молодые, веселые, оружием обвешанные, ничего не боятся. Костя на лицо некрасивый, темный, и зубы плохие после цинги, но высокий, стройный. Коля пониже ростом, интересный такой. Как уж мы на них любовались! В мирное время — мальцы как мальцы, мимо пройдешь и не оглянешься. А тут — хоть пиши с них с обеих иконы. И всё шутками, шутками, с нами и между собой, так друг друга и поддевают. Мы уж и забыли, как люди-то шутят. Вот весельем своим они нас и поразили. И еще, конечно, оружием немецким: в руках у них оно — как свое.

Задание у них было узнать, как мы живем, в чем нуждаемся. Ни от Сани, ни от Толи вестей у них не было, просто проявляли о нас заботу партийцы района, но для нас было счастье увидеть своих вооруженных людей.

Рассказали они нам, как дела на фронтах обстоят: тут впервые мы узнали наверняка, не по слухам, не по догадкам, что Москвы и Ленинграда фашисты не взяли и теперь уж никогда не возьмут, а на юге, правда, хуже, прошли гитлеровцы всю Украину и жмут на Сталинград.

Имелся у Кости с Колей еще один вопрос: кто из нашей деревни сотрудничает с оккупантами. И хоть был этот вопрос для нас еще в новинку, но как будто мы сговорились — про Клавю Бодунову не стали ничего говорить, ни я, ни Катя, ни бабушка. Да и правду сказать: какая она была немцам сотрудница? Как собака, жила в конуре на своем родном подворье. Отнесли к нам партизаны с доверием и, хотя вскоре сами узнали про Клавдину «немецкую гостиницу», Клавдю все же не тронули.

С тех пор к нам разведчики стали приезжать часто. Отдохнуть, оборотеться, перекусить. Мать старалась что-нибудь выставить им на стол, но они обедают нас стеснялись, аппетиты у них были самые партизанские. А за занавеской ситцевой ваша тройка сопит. Мы старались вас не разбудить, чтоб где-нибудь похвалиться не высочили.

Первым Юра догадался: все-таки он постарше вас был, понимать кое-что научился. Выйдет утром, носом потянет — и стоит, на мать свою, на Катю, насупившись, смотрит. Думал он, что отец его по ночам нас навещает, а мы от него скрываем. Наловчился подслушивать, раз как-то ночью выходит, а за ним и Олег, за Олегом и ты глаза протираешь, шатаешься. Обласкали вас партизаны: детей-то они редко видели. Мама охает: «Ну, теперь вся деревня узнает». «Да не бойся ты, мать, не тужи, — успокаивают ее разведчики, — вся деревня и так уже знает».

Да и правда, какие секреты: следы-то по снегу цепочкой от нашего дома к лесу тянулись, пока еще их снегом запырили. Знали все в Капралах — и смотрели на нас с уважением.

Ничего не боялись разведчики, опять скажу. Выходим мы с Катей со двора их проводить, озираемся, а они автоматы на ремнях поправили, цигарки засмолили — и пошли, как на ярмарку, к своим лошадям. Только что не поют.

Получила я от партизан документ — паспорт немецкий какой-то псковички Тамары Васильевой. «Чем помочь вам могу?» — спрашиваю. «Тут в Капралах вы нам не помощники. Как на привязи сидите, немцы и каратели к вам дорожку уже протоптали. Перебирайтесь к нам поближе, там поглядим». И попросил меня Особый отдел Первой бригады быть связной. Не в Капралах, конечно, здесь все на виду, а переселиться в людное место — как сознательная гражданка, — где беженцев много и не все друг друга знают в лицо. А такое место было в Крестах, в бывшей неполно-средней школе».

Дедушка и Сынок прошли по самому глубинному краю моей памяти: две фигуры, большая и маленькая, коренастый могучий старик с косматой бородой и худой, как тростинка, мальчишка, оба в серых рубашках навыпуск, простоволосые и босые, с котомками, они шли, как летели, над мягкой пылью широкой дороги, над голубыми мотыльками, о которых писала мама, а по обе стороны дороги — высокая трава на кочковатых лугах.

И будто бы Юрка сказал мне, когда они скрылись за поворотом:

— А ты знаешь, Марк, кто это был?

Я поднял голову, посмотрел в его ставшее маленьким от волнения, побелевшее, как сжатый кулачок, лицо и прошептал:

— Знаю.

Мама не верит, что это было: по ее словам, Дедушка никогда не ходил в разведку вместе с Сынком, а кроме того, этот отряд в наших местах появился зимой, с сорок второго на сорок третий, а весной сорок третьего Сынок был убит.

Спорить с этим мне трудно: столько раз повторялись в нашей семье рассказы о подвигах Сынка, столько раз я проигрывал эту историю в своем воображении, представляя себя бесстрашным Сынком, постепенно превратившимся в партизана-разведчика Туманова, что вполне могу допустить: я видел Сынка и Дедушку не наяву, а в своих героических грезах. Только отчего же я так отчетливо запомнил выражение Юркиного лица: «А ты знаешь, Марк, кто это был?» «Знаю». Может быть, то проходили мимо деревни просто случайные беженцы, дед и внук, а много ли надо детской фантазии, чтобы дорисовать остальное?

Сынок был я — и в то же время Юрка, не в последнюю очередь потому, что Юрка умел ездить на лошади верхом. Когда Юрка заговаривал о фашистах, лицо его загоралось такой вдохновенной мстительностью, что мне становилось даже страшновато.

Помню, после войны, в сорок шестом, летом, мы сидели с ним в пустой школе, а точнее, лежали на партах и пели подряд все военные и партизанские песни, которые знали. Вдруг Юрка замолчал и, закинув руки за голову, уставился в потолок. Я долго искоса смотрел на него, не решаясь нарушить молчание, потом Юрка сказал:

— Гады, пришли и убили.

Я молчал, понимая, что речь идет о дяде Сани, о Юркином отце, которого Юрка в отличие от меня помнил и забыть никогда бы не смог.

— Это ж надо, что они нам не попались живыми. — Кто?

— Да Гитлер с дружками, вся его банда. Я б с ними не знаю, что сделал. Голой ж... в муравейник, по горло в болото со змеями, и чтоб жили, чтоб жили там, сам кормил бы их, чехэбэ.

«Чехэбэ» — это была наша самая страшная мальчишеская клятва, аббревиатура слов «Что хочешь бери, чем хочешь бей, чем хочешь буди».

Беспощадный мой Юрка, он просто по годам не успел попасть в партизаны, из него бы вышел настоящий боец. Судьба занесла его проходить срочную службу на Одере. Возвращаясь оттуда, он зашел к нам в Москву: чернобровый широколицый красавец, косая сажень в плечах, как бы сошедший с фотографий отца. Было это в пятьдесят шестом, поздней осенью, я уже учился в университете.

О загранике Юра рассказывал неохотно, больше о ребятах, с которыми вместе служил («Золотые подобрались ребята»), показывал фотографии: простые, несколько оцепенелые, почти одинаковые солдатские лица.

Вдруг из кожаного, явно немецкого бумажника высунулась маленькая девичья фотография. Мама так в нее и вцепилась:

— Кто такая? Покажи, расскажи!

Боже мой, как покраснел Юрка, даже уши у него вспухли.

— Так, одна... пробормотал он и поспешно спрятал фотографию глубже.

— Невеста? — хитренько спросила мама.

— Не, тетя Лена, какая невеста... Местная одна подарила.

— Немка, что ли? — Мама вся изнывала от любопытства. — Дружили, гуляли?

Но Юрка уже оправился от смущения.

— Служба — не гулянка, — степенно сказал он и на все наводящие вопросы больше не реагировал.

«И переселились мы с тобой в Кресты, поближе к партизанским владениям. Очень удобное это было место: кругом леса, ольшаники, на перекрестке трех дорог — разрушенная церковь, рядом дом двухэтажный поповский, еще три дома учительских и одноэтажное помещение на семь классов.

Собралось там беженцев человек триста: из Гатчины, Демьянска, Старой Руссы. Был сапожник, был часовой мастер. Кто ходил к крестьянам в поденную, за еду и продукты, кто носильные вещи менял, пока были.

Поместились мы с тобой у учительницы Мухиной. Дуси на втором этаже поповского деревянного дома. Занимала Дуся половину комнаты, а за перегородкой жила старушка беженка из Гатчины, тетя Маня. Сын и муж у нее воевали на фронте, а сноху с детьми тетя Маня где-то потеряла. Бестолковая была старушка, боязливая, немцы идут — ей плохо делается, партизаны прибыли — опять ей от страха не спать. А сама Мухина Дуся молодая, симпатичная да одинокая была, и часто к ней без особой нужды заезжал тот самый Коля Пскович из Первой бригады. «Ну, так что же? — говорила мне Дуся. — Золотые годочки идут. А войну не я придумала».

В мае месяце он нас чуть не подвел, этот Коля Пскович. Прикатил ночью к Дусе на рысаке, привязал коня к крыльцу, а сам с Дусей зашел с той стороны за школу, забрались они через окно в пустой класс и сидят. Ты себе спишь, я тебя караулю, одним глазом во сне, другим наяву, за перегородкой тетя Маня вздыхает. Десять раз она ко мне выходила: «Уехал бес или нет? Ох, голова, погубит он нас. Пошла бы ты к ним, Лена, разогнала. Ох, голова, и коня на самом виду оставил». «Голова» — это у тети Мани такая приговорка была на каждом слове. «Спи ты, тетя Маня, — отвечаю с досадой, — ребенка мне только будишь».

Люди в оккупацию спали не раздеваясь. Часто так случалось, что вскочишь, схватишь заготовленный узелок (бутылочка воды для тебя, краюшка хлеба, что-нибудь теплое да платок) — и бежишь сломя голову в лес. Караульные были в каждой деревне, и у нас в Крестах дежурили по ночам, да вот — не уследили.

Клопов в поповском доме много было, и кровать свою от стенки я отодвигала. Просыпаюсь от топота ног, открываю глаза — а со всех четырех сторон мне в лицо светят разноцветные немецкие фонарики. Офицер через переводчика меня спрашивает: «Вы учительница?» А я ни рта раскрыть не могу, ни на кровати привстать, будто примерзла от страха. «Да, учительница», — шепчу. И тут же спохватилась: что же это я говорю? У меня же паспорт не свой, какая я тут учительница? Вот до чего голову потеряла. «Только я давно не работаю», — говорю. «Это мы знаем», — отвечает офицер. — А почему вы так испугались?» «Я думала, партизаны».

Карателей такими словами можно было бы только развеселить, а немец, когда ему перевели, принял за чистую монету. «Не бойтесь, — успокаивает, — мы останемся здесь до утра. Сегодняшнюю ночь вы проведете спокойно». И приказывает своим солдатам располагаться.

Человек, наверно, тридцать набилось их в комнату, на мою и на Манину половину, все гремит и лязгает кругом. Расселись немцы кто где, на столе, на окнах, на кровати Дусиной, на полу. А ты спишь, как мышонок. Села я на постели, соображаю: наверно, они меня за Дусю Мухину приняли, она ведь тут учительницей числится. Как же я стану объяснять, кто на той койке спит и откуда у меня ребенок?

Переводчика я разглядела, тот самый, что к нам в Кралпы приходил. Он меня, конечно, узнал, но виду не подал. Говори, мол, что хочешь, только не завирайся. Но — погубил в сравнении с прошлым разом, наглый такой сделался, нервный, несколько раз его немец одергивал, как я поняла, чтоб не покрикивал.

Так сижу я, ноги свесив, тебя спящего по спинке поглаживаю. А немцы кругом, фонарики свои погасили и в темноте чавкают. Офицер от меня не отстает: «Часто здесь бывают партизаны?» «Я никогда их не видела». Переводчик злится, говорит от себя: «Думайте, что говорите, мы же знаем, что они здесь чуть ли не каждую ночь». Я ему объясняю: «У меня ребенок больной, устаю очень, видите — не заметила даже, как столько людей явилось». Он пожал плечами, но перевел. Немец кивает.

А ты все сопишь и сопишь, не просыпаешься. Вдруг со всех сторон полыхнули ракеты — и затрещало, как будто под каждым углом пулемет. Дом задрожал, осветился со всех сторон — ну, на щепки его разносит. Немцы бросились вниз, на пути своем все опрокидывая. Я вскочила с постели, начала обуваться. А ты проснулся и заплакал: «Мамонька, ты куда? Мамонька, одевай меня скорее!»

Света зажигать я, конечно, не стала. Вижу, под Дусиной постелью немец копается. Голова у него лысая, как луна. Показывает мне: потерял, мол, шапку. А я думаю так: не хотелось ему бежать под стрельбу вместе со всеми.

Тут выскакивает из своей каморки тетя Маня. Вид у нее такой странный: спать она, видимо, без юбки легла, а когда зарохотало — вскочила, схватила ватное одеяло, на голову себе накинута, а что ноги голые торчат из трусов — позабыла. «Голова, что будем делать?»

Я уже опомнилась и рада-радешенька, что немцы уходят (ночных боев они не любили, все старались уйти), говорю ей: «Ты сначала, тетя Маня, юбку надень, а потом будем прыгать со второго этажа». «Что ты, голова, высоко», — отвечает. Да и правда, дом был старой постройки, второй этаж — что тебе четвертый.

Собрала тебя, взяла на руки. Тут немец лысый — а мы про него и забыли — выглянул в окно да как кинется вон из комнаты и по лестнице кубарем вниз. Смотрим мы — а немцы внизу уже в повозки садятся. И — давай бог ноги. Коля-то сбежал в лес предупредить, да отряд не успел развернуться. Так немца и упустили.

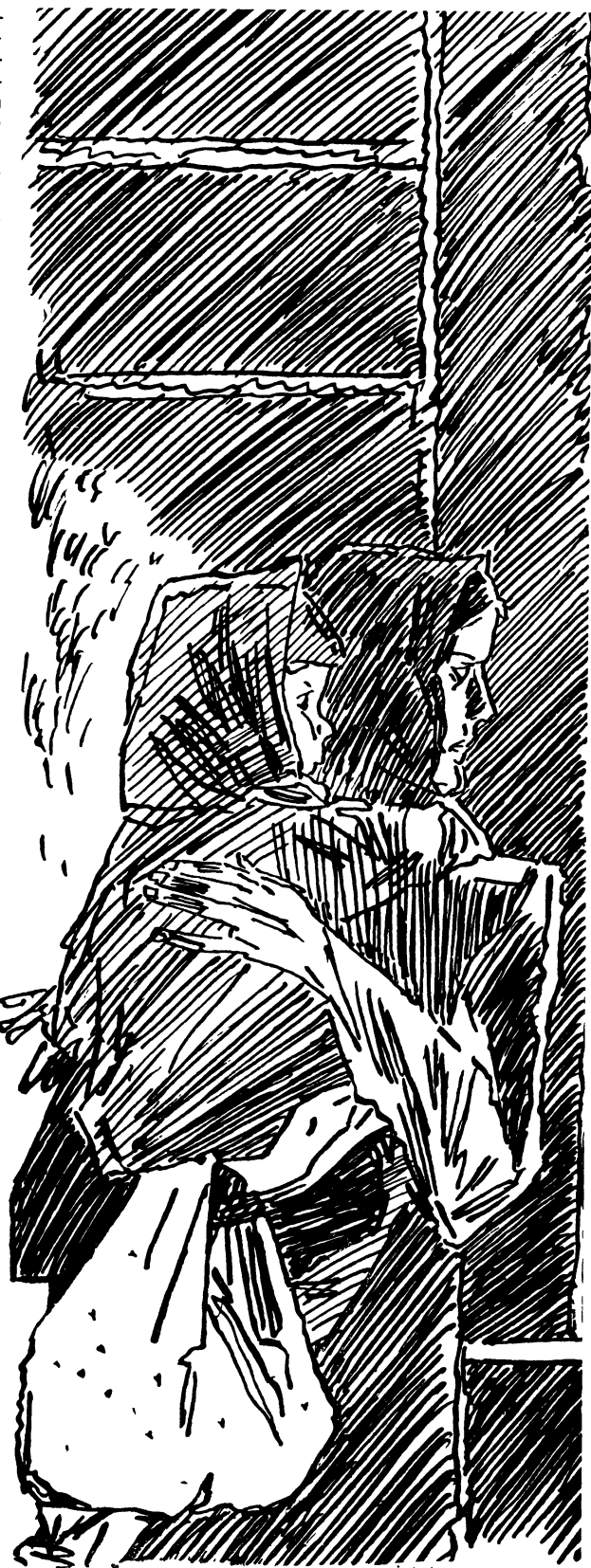
Эти вот фонарики ночные были для нас, сельских жителей, под оккупацией хуже всякого кошмара. Как завидишь — в темноте фонарики рыскают, значит, немцы идут: местные и партизаны этой техникой не пользовались. Разве щеголь какой, боец молодой, принесет трофейный фонарик, пофорсит девчонкам в глаза. А как потечет батарейка — и выбросит. Знали землю свою на ощупь и в подсветке не нуждались. А уж если немец в деревню ночью входит — то намерения у него жестокие: поднят в темноте по приказу, сам от всего шарается и спуску никому не дает. Много было таких людей, которые эти фонарики — последнее, что в жизни видели. Не было сна страшнее, как увидеть себя в окружении вражеских глаз. И светили по-бандитски, в лицо, со всех сторон, чтобы ошеломить, напугать, и лицо прикрывать не разрешали.

А в Москве, как приехали мы, услышали песню: «Мой старый друг, фонарик мой, гори, гори, гори!» Мне это «гори» напоминало об оккупационных ужасах, а московская наша новая родня со слезами на глазах пела эту песню в застолье, вспоминая о ночных бомбежках сорок первого года.

Мы с тобой могли только догадываться, как жились горожанам в войну: беженцы-то неспроста тучей двинулись по деревням, поближе к живой земле. Если уж в деревне голодно-холодно было, то как же мучился город.

Но рассказывать я бросила на том, как мы жили с тобой в Крестах. Бойкий это был перекресток, на семи, как говорится, ветрах. Утром немцы являются, ночью наши приходят. А то и наоборот. Задание у меня было не одно, я и в Остров по делам партизанским ходила, и в Порхов, и тебя с собой брала, если не так далеко. Гарнизоны немецкие ближе к городам передвинулись, весь порядок оккупационный у них перемешался, и ходить по дорогам с чужими документами стало проще: поймать — ни за что не докажут, и справки навести не у кого.

Наконец не выдержали немцы и решили надолго Кресты оседлать. Явилось к нам около сотни гитлеровцев, на мотоциклетах и на повозках. Снаряжения, боеприпасов — целый обоз. И без лишнего разговоров начали беженцев тасовать. На кровать Дусину показывают: «Где соседка? Отвечай! К партизанам ушла?» Немец пистолет мне к горлу приставил, по-русски кричит: «Говори!» А что говорить? Не знаю я, где Дуся, мне она не докладывала. С ночи ушла, может, с Колей своим загуляла. Скажешь одно, а она возьмет и с другим объяснением явится. Отвечаю: «Кажется, в Новинах она, за продуктами отправилась». Немец отъязался, вышел. Тетя Маня ко мне: «Что он тут воевал?» «Да вот, — говорю, — на испуг хотел взять пан офицер». Вдруг распахивается дверь, и врывается опять этот немец с перекошенным лицом. «Повтори! —



кричит. — Повтори, что сказала!» И давай меня бить по лицу. Сильно бил, до крови. Ну, женщины побежали, разохались, загалдели, заморочили ему голову, он и так по-русски еле-еле, а тут целый базар. Выругался, плюнул, ушел.

Тут гулена моя является: в Мячиково она, видите ли, ходила, нитки и иголки на продукты меняла. Тогда многие из беженцев так делали: достанут в Острове или Порхове ниток-иголок и идут по деревням, как разносчики. Я шепчу ей: «Ты уж меня не подводи, говори, что была в Новинах, передали, мол, тебе, что из Крестов выселяют, ты за вещи испугалась и прибежала».

Все бы ладно, только немец на этот раз попался настырный. Привязался теперь к Дусе: «Кто тебе сказал про выселение?» Очень он боялся, что кто-нибудь партизан предупредил.

Привели немцы старосту из бывшего колхоза имени 25 Октября, начали выпытывать у него, как это получилось, что партизаны из его деревни коров в лес угнали. Допрашивали недолго, тут же у разрушенной церкви и расстреляли, так как где было повесить.

Первый раз у меня на глазах человека казнили. Как упал старик, да остался ничком, да солдаты за ноги его потащили — отошла я тихонечко от окна, села на кровать и сижу, как немая. «Плохи наши дела, — говорит мне Мухина Дуся, — остервенел фашист, чуёт сердце — кого-то из нас двоих сейчас к стенке поставит, а не одну — так обеих. Может, ты отпросишься у немца за ребенком сходить? А там по обстоятельствам».

Ты, сынок, у сторожихи школьной в домике был в это время, девочки ее с тобой играли.

Добрая была Дуся душа, а все же детей у нее не было, и кое-чего она не понимала. «Нет, — говорю, — про ребенка я ничего не скажу».

Посидели мы, в окно поглядели, что делать — так и не придумали. Тут беженки стали проситься во двор по нужде. В одиночку немец не разрешил выходить, только группами по десять человек ровно. Пошли и мы с Дусей. Заходим все вместе в баньку холодную, сидим в присенках и в щелочку глядим, а возле баньки, и смех и горе, часовой ходит.

Вдруг крик, офицер выскочил из дома, созывает солдат. Часовые тоже побежали. Смотрим — на дорогу уже фуры и мотоциклы выкатывают. Быстро немцы погрузились и ускоренным маршем двинулись по направлению к Мячиково. Передумали, значит, в Крестах закрепляться.

Как последняя повозка за кустами скрылась, видим — машет нам из окна второго этажа тетя Маня. И так машет, как сумасшедшая, обеими руками, да еще приседает. Вышли мы, а она кричит: «Эй, голова, принимай вещи, буду в окно выбрасывать!» «А что такое?» «Да сейчас начнется, сейчас начнется!» Свой узелок выкинула — и сама же, бестолковая, спустилась вниз.

Не успели мы добиться от нее толку, что она там сверху высмотрела, как с трех сторон въезжают на конях в Кресты разведчики Первой и Восьмой бригады. А за ними — бойцы из отрядов Данилова, Широкого, Германа. Целая партизанская армия. Выругались разведчики, что немцы к Мячиково рванули. Правда, недалеко ушли, можно было догнать, но там дорога через густонаселенную местность, и командиры пожалели население, не стали затевать бой. «Ушли? Пускай. Но больше им в Крестах не бывать, а то посадились».

И вспоминаю, как горела деревня.

Кинулись мы по своим комнатухам, вещи выносили. Суматоха поднялась страшная. Кажется, все вынесли, сходила я за тобой к сторожихе, стою у вещей. Горели Кресты, которые столько людей приютили. Дома деревянные, лето сухое, пламя занялось — не подойти.

Вдруг кричат: «Ребенок чей-то на втором этаже!» Хватилась я — а тебя рядом нет. Только что за руку держался, и как я могла тебя отпустить? Что я тут пережила — не стану рассказывать. Завыла, как зверь, и к огню, а меня не пускают: «Куда лезешь?» Побежал в дом Костя Саратовский, вынес Валю трехлетнюю, дочку беженки Груши: распустеха эта даже не хватилась, что Ниночка здесь, возле колен, а Валечки нету. Но сама-то я хороша тоже. Опалило Костю немного, но он и так был темный с лица, говорит: «На мне незаметно». Я молю Костю, прошу: «Там еще один, мой, мальчик!» Да какое: огонь так раздуло, что на десять шагов к домам не приблизиться.

На пожар на наш прибежали добрые люди из окрестных деревень: помочь кому, приютить, люди тогда охотно помогали друг другу. Видят, переполох: ребенка недосчитались. И говорит мне одна женщина, что видела плачущего мальчика с белыми валеночками в руках на дороге уже за сторожкой. Идешь ты, валенки к груди прижимаешь и плачешь горькими слезами. Остановила тебя тетя Марфа Кузнечиха, а ты ей со слезами: «Пойдем скорее к бабушке, здесь страшно!» Четырех лет тебе еще не было. Испугался огня и пошел самостоятельно спасаться. А я, дуреха, рот раззявила. После, как я тебя отодрала, приласкала и опять отодрала, Костя мне говорит: «А я чуть было опять не полез. Там бы и остался».

Дорогу-то в Капралы к бабушке ты выбрал правильную. Когда я по заданию ходила, отводила тебя иногда к бабушке на попечение, вот ты и запомнил. Страшно было с тобою ходить. Как-то раз на открытой дороге ни с того, ни с сего началась пулеметная пальба, а откуда и по кому — не видно. Я в кусты да ползком, тебя за руку тяну, ты по кочкам, по корягам волочишься на спине, а кусты над нами как ножницами срезает. Остановилась я передохнуть, тебя к себе подтянула — слышу, шепчешь ты, глядя в небо: «Мамонька не бросит, мамонька не бросит». Сам себя уговаривал. И не так стрельбы ты боялся, как остаться один, вот что было тебе хуже смерти. Не ожидала я, что во время пожара ты руку мою отпустишь и уйдешь на дорогу. Но, наверное, страх перед огнем оказался всего сильнее».

Страх перед огнем? Не знаю, не знаю... От многократного повторения история о моем исходе из Крестов с пресловутыми валенками стала уже как бы частью моей памяти, и мне трудно судить, но не в страхе, наверное, дело. Испуганное дитя схватится за мамин подол и даже под угрозой смерти не рискнет от него оторваться. Думаю, что здесь позыв был более сильный, чем страх. Я теребил оцепеневшую маму («Ну, пойдём, ну, пойдём же, чего здесь стоять»), и, удостоверившись, что она, замороженная зрелищем бушующего огня, не двинется с места, сам отправился восвояси. Именно восвояси, в те места, которые считал своими и в которых, как подсказывал инстинкт, мне ничто не могло угрожать. Все горело, все рушилось, а для жизни дальнейшей нужно убежище, и такое убежище было только в одних Капралах, в теплом и доб-

ром доме у бабушки. А ревел я по дороге от горя и от обиды, что мать со мной не пошла.

Я знал маму строгой, напористой, энергичной, деловой женщиной районного масштаба. Знал и властной хозяйкой большого сумбурного дома (дома — сильно сказано, комнаты, огромной, двухоконной, которую нам дали при переселении из полуподвала, в этой комнате, увешав обильное пространство занавесками, гнездились мама с отчимом, я с Лизаветой и потенциальным Гошкой и мой строптивый младший брат, сейчас он в Монголии строит Эрдэнэт), мама отлично управлялась с этим разномастным контингентом, тратя на это, как я теперь могу судить, чуть больше нервов, чем требовалось, но все уравнивалось терпением отчима, который беспрекословно слушался маму и никому не позволял посягнуть на мамин — ею же, бывало, расшатанный — авторитет.

Но вот смелостью особой мама никогда не отличалась, пограничные же ситуации приводили ее в состояние беспомощности.

Помню майский праздник в Москве — первый после нашего приезда. Мы идем по широкой улице, прямо по проезжей части, в густой толпе народа, машин — ни одной, так теперь уже не погуляешь. Все наше семейство и соседи по полуподвалу: взрослые слегка под хмельком, дети беспрерывно выпрашивают купить им и то, и то, а с деньгами у взрослых, мягко скажем, не очень.

А вокруг одни соблазны: частные торговки продают разноцветные леденцы-рыбки, пахнущие постным маслом, копейка штука, бегают ребятишки с цветными бумажными мячиками на длинных резинках, трещат жужжалки, выскакивают «тетины языки», крикают резиновые «уйди-уйди». Подобный гвалт можно услышать здесь, в тропиках, в сумерки после дождя, когда лягушки затевают свой концерт.

Всем ребятам что-то досталось, а я молчу, потрясенный никогда не виданным великолепием: прошлые Октябрьские были пасмурны и дождливы, и коллективного гулянья у нас не получилось. Отчим спрашивает у меня, что я хочу, и, не добившись вразумительного ответа (я хочу все сразу, и мячик, и «уйди-уйди», и леденцы), покупает мне шарик. Розовый, с нарисованной на нем серебристой сосновой веточкой. Шарик мне нравится, хотя игрушка эта и не по возрасту. Ребятишки начинают меня поддразнивать, вырывают у меня шарик из рук, я упорно обороняюсь, и дело кончается тем, что мой шарик лопнул.

— Не горюй, — сказал отчим, — сейчас новый купим.

И купил другой, зеленый.

Остальные детишки загалдели:

— А мне? А нам?

— Ну, что вы, ей-богу, на него смотрите? — недовольно сказала Пыжкова. — Он же дикий, он ведь ничего этого не видал.

Маму (она была тогда в положении, шла тяжело, переваливаясь с ноги на ногу) — маму обидело это слово «дикий», и всеобщее благодушие обернулось перебранкой, прямо на улице. Я не помню уже, почему отчим не встал на мамину сторону, как он это делал обычно: возможно, потому, что он был навеселе, хотел всех примирить, и маму это еще больше обидело.

Как бы то ни было, мы оказались вдруг бредущими вдвоем с мамой по булыжно-трамвайной, бедно украшенной улице, мама держит меня за руку, но идет молча, на щеках у нее красные пят-

на. А зеленый шарик по-прежнему привязан к пуговице моего пиджачка.

— Мам, ну что ты? Мам, ну что ты? — дергаю я ее за руку.

— Ай, отстань, — сказала она, но тут же спохватилась. — Давай на трамвае прокатимся.

Мы сели, по-моему, в пятидесятый, заплатили по тридцать копеек и благополучно доехали до конца маршрута. Мама успокоилась, я тоже с увлечением смотрел в окно, но потом вид незнакомых улиц меня напугал.

— Мама, а как же мы домой вернемся?

— А не будем выходить, — беспечно ответила мама, — на этом же трамвае и приедем туда, где сели.

Меня восхитила такая перспектива: это ж можно ездить по всей Москве, не боясь заблудиться. Но не тут-то было: кондукторша (не помню ее лица, а хотел бы запомнить) стала требовать, чтобы мы «оплатили за обратный проезд», а у нас нет ни копеечки.

Боже мой, как ужасно кричала на нас эта женщина:

— Выметайтесь сию минуту, не пойдет вагон никуда!

Вагон был пуст, помощи ждать было неоткуда, а выходить никак нельзя: я, хоть и маленький, понимал, что мы заехали далеко и пешком не дойти.

А моя мама, моя молодая решительная мама как будто потеряла зрение и слух: она смотрела прямо перед собой, не реагируя на крики кондукторши, и только губы ее шевелились. Никогда не забуду я выражение ее лица, оцепеневшего и опустошенного. Это было страшно, и я тоже молчал. Кондукторша схватила меня за шиворот, я цеплялся за спинку маминого сиденья, а мама не двигалась.

Не знаю, чем бы кончилось дело, но тут в вагон ввалилась подвыпившая компания мужичков и женщин, кондукторша меня отпустила и начала шуметь еще пуще, требуя поддержки общественности.

— Ты что, счумилась, баба? — одернул ее мужична — и выкупил нашу с мамой свободу за шестьдесят копеек.

Он протянул мне два билета, потрепал по плечу и сказал:

— Держись, пацан. Это не в последний раз в жизни.

— Спасибо, — прошептал я, не поняв, разумеется, что он имеет в виду.

Мы ехали молча, чувствуя на себе свирепые взгляды кондукторши, и я не чаял, как бы поскорее избавиться от своего зеленого шарика.

Когда мы вышли на Безбожном, мама сказала мне:

— Ты дома никому не рассказывай.

Я закивал, но за руку брать ее отказался.

Дома, помирившись с отчимом и повеселев (все-таки праздник), мама не удержалась и сама рассказала об этом приключении. Отчим возмущился:

— Я эту бабу отыщу! Я ей покажу, как над людьми издеваться!

Но думаю, что на другой день он позабыл об этом намерении.

Мама боялась квартирных жуликов, боялась переходить улицу, боялась пожара, боялась глубокой воды. Как она могла решиться на переселение из родного дома с чужим паспортом, со мной малолетним на руках, в гущу незнакомых людей? Непостижимо, но она это сделала — и сделала, как видно по ее словам, без малейших колебаний. «Как сознательная гражданка...» Наверно, тогда эти сло-

ва значили очень много. По-другому было просто невозможно, потому что — война.

«А в Капралах тем временем жизнь такая была. Немцы с большака без экспедиции к нам уже не совались, и партизаны приходили в Капралы, как на свою тыловую базу. Ночью партизанские заготовители ездили за продуктами по ту сторону большака и даже за проволоку — туда, где немцы готовили долговременную линию обороны Немоево — Кисели — Красные пруды. Ваня Донин, дочка Литовцева, две старшие девочки Петряковы — в общем, вся молодежь — ушли к партизанам, и в деревне остались только дети, старики и старухи. Старостой в Капралах быть никто не хотел, а надо: заявится экспедиция — первый у гитлеровцев вопрос, где староста. «Как это так у вас безначалие?» И решил народ, что будут все по очереди, по двоим. Пришла очередь быть старостой нашей бабушке, больше никому: Катя как раз пошла в отряд Данилова по заданию, а я — в Крестах. Да, сынок, ты и не знал, наверно, что была твоя бабушка старостой одно время при оккупации. Партизаны к этому относились спокойно, понимали, что иначе нельзя, и даже использовали старосту для своих нужд как временную деревенскую власть.

Разведчики из отрядов заходили в Капралы чуть не каждый день. И не только в наш дом: Маша Дониная с тетей Марфой у себя двух раненых бойцов держали, выхаживали понемногу. Медикаментов, конечно, никаких не было, вместо йода дезинфекцию ран делали мочой. Маша до войны на фельдшера начинала учиться, понимала кое-что в медицине, крови и ран не боялась. И так хорошо они с тетей Марфой своих раненых прятали, что немцы являлись — не подозревали ничего. И что ж ты думаешь? Вышла Маше Дониной после войны благодарность. Вернулся демобилизованный Сергей, ее муж, всю войну без единого ранения грешел, пули его стороной облетали, орденов — иконостас. Казалось бы, что? Вся семья в сборе, жена не нарадуется, детишки подросшие, сбереженные, живы и веселись. Так нет: стал Сережа пить, шуметь, попрекать Машу и старуху тещу этими спасенными ранеными. «Я на фронте кровь проливал, а ты тут с благословенья этой ведьмы курвилась!» Ведьма — это, значит, тетя Марфа Кузнечиха, приходила она нашей бабушке жаловаться. Раз послушала Маша, стерпела, другой раз смолчала, а на третий выставила его со словами: «Значит, сам такой, по себе меряешь! Я детишек без тебя сберегла, без тебя и на ноги поставлю». Решительная женщина, не многие так смогли бы. И на том закончилась их семейная жизнь: Маша замуж не вышла, и у Сережи ничего не сложилось. После плакался в письмах, звал к себе в Тамбовскую область, грозился приехать, но простить ему Маша не смогла. Дочек, правда, к нему посылала по вызову через Москву, помнишь — одну ночь они у нас ночевали, а сын ехать к отцу отказался. Вот такие дела.

Как Кресты погорели — вернулись мы к бабушке жить. Приходили партизаны со своей амуницией — повернуться негде было в избе, сидели вплотную. Ну, зато в тесноте — не в обиде, кругом все свои. Сидим, песни поем. На музыку «Катюши» пели:

**Немец в страхе диком прыгать станет,
С головой зароется в сугроб.
Но и там его мотив застанет,
И сыграет немец прямо в гроб.**

Тебе эта песня нравилась очень: сидишь, слушаешь и смеешься от радости. Ты себя, видимо, совсем уже считал партизаном. Деревянный автомат

тебе разведчики сделали, немецкий карманный фонарик принесли, правда, бездействующий. Как немцы в деревню — ты сам это имущество прятал.

Сидишь ты среди бойцов, раскрасневшись весь, и по заявке публично декламируешь стихи: «Автомат к груди прижимаю, скоро партизаном буду я». Стихи для тебя Ваня Киевлянин сочинял, он в отряде был партизанском поэтом.

Ваня Киевлянину нравилось с тобой возиться, но ты его невзлюбил за глупую шутку. Стал он часто повторять: «Заберу твою маму», — ну, чтобы немножко тебя подразнить. А не понимал, что ребенка страх постоянный терзает: как же это можно без мамы остаться? Ну и дружба ваша на все швы разошлась.

Слух прошел, что на сорок четвертом разъезде напоролся Ваня Киевлянин на засаду и погиб. «Слава богу, — говоришь ты сердито, — слава богу, что черта убили». А через несколько дней сморим — едет Ваня целехонький на коне, только голова забинтована, и другого коня ведет на поводу. «Вот ведь черт, — говоришь ты, несмышлениш, — опять живой остался». Рассказали Ване, как ты радовался его гибели, думали — посмеется и все, а он взял и расстроился, как ребенок, и ездить к нам перестал.

Попадались такие шутники, балагуры, не понимали, что трогают ребенка за самое больное. После освобождения уже, весной сорок четвертого, был такой с нами случай.

Один офицер, Белов его звали, спрашивает тебя: «Ну, и где же твой отец?» «На фронте, фашистов бьет», — ты ему отвечаешь. Мы же не знали, что над нами давно уже похоронная кружит. Я сама еще надеялась, верила, а про тебя и говорить нечего: твердо знал, что папа вернется. Жили мы тогда уже в Новинах, в землянке, Капралов больше не было.

Ну, Белов от нечего делать начинает с тобой шутки шутить. «Вот и я на фронте бью фашистов. Значит, я твой папа?» Смотришь ты на него серьезно и отвечаешь: «Нет, мой папа на фотокарточке». Говорит тебе Белов со смехом: «Ну, неси сюда фотокарточку, сравним». Ты ко мне в землянку со всех ног: «Мама, дай мне папину фотокарточку». Принес Белову, показываешь. Много там наших военных собралось, баню они себе строили возле Новин. Обступили, говорят наперебой: «Ну, точно Белов. Он и есть, только до войны, в гражданской одежде».

Смеется Белов: «Как же ты меня не узнал? Ну, сравни». Посмотрел ты на него, потом на фото и говоришь задумчиво: «Да, похож». Что Белову? Посмеялся и увел свое подразделение и больше не появлялся. А тебе это в душу запало, и фантазия твоя заработала.

Вдруг приходит ко мне Катя, у нее была землянка своя, и говорит с любопытством: «Что ж ты, милая, мужа себе фронтового нашла — и скрываешь, не хвастаешься». Ну, как будто по голове меня обухом. «Постыдись, — отвечаю, — с нами беженцев семья, ступить негде, о чем ты толкуешь?» «Да уж ладно, сынок твой мне все рассказал, что нашелся ваш папа и каждый день к вам приходит; я спросила его: а что ж, и спят они вместе? Отвечает, да, вместе».

Ну, что ты тут скажешь? Болтун, зубоскал, смутил душу ребенка, то-то ты все спрашиваешь меня: «А где Белов, а где Белов?» И бывают такие глупые мужики, а еще офицер. Хорошо хоть, что люди кругом, высмеяли они Катю за ее допрос над ребенком, тем дело и кончилось.

Объяснила я тебе, что нельзя верить на слово всяким болтунам. Тебя это поразило: слушал молча, смотрел на меня, как большой, только губы поджимал, чтоб не заплакать.



Так на чем же я остановилась? Как наши Капралы стали тыловой партизанской базой.

В самом начале сентября сорок третьего года решили немцы, наверно, покончить с таким положением. Ну, и партизаны тоже силу свою чувствовали, отступать не собирались. Снарядили немцы огромную экспедицию. На большаке орудия тяжелые поставили. Мы таких страшных еще не видели, с фронта, наверно, сняли. Минометные гнезда повсюду наткакали, самолеты немецкие стали над лесами кружить. По дорогам ходить стало очень небезопасно, но что делать: партизанским бригадам в этих условиях нужны были свежие данные. В эти дни мы с Катей дома совсем не бывали, все бродили вдоль дорог, смотрели что где, прикидывались мелочными торговками.

И вот явился в Капралы гарнизон гитлеровский человек до двухсот, и приказано было жителям немедленно покинуть деревню. Спросила бабушка: «Куда уходить?» А немцы указали на дымящиеся кругом деревни, где только что бой прошел: выбирай, мол, любую.

Вот и стали жители Капралов беженцами. Хотя и поздно, на переломе войны, но коснулась их общая судьба — уходить от родного теплого угла в неизвестную сторону. Ни коней, ни телег ни у кого теперь в деревне не было, все ушло на военные нужды. Немцы торопили, понукали, покрикивали, и минут через двадцать потянулись по улице в сторону мостка старики и старухи в окружении своих малышей, на горбу — узлы, наскоро связанные. Да и что уносить? Дом с собой не возьмешь, вещи ценные вырыть немцы не дали бы. Брали, что под рукой оказалось, хоть вернуться в скором времени никто не надеялся. Знали люди: ставят гарнизон — прощайся с деревней надолго. Только Клавдю Боду-

нову немцы не стали выгонять: может быть, по старой памяти, а скорее — просто забыли про нее, она последнее время совсем из банки своей не вылезала.

Собрала бабушка вещи на троих детей, сложила в два пустых полосатых матраца, погрузила на спину черной коровы Ночки, себе мешок того-другого, Юре старшему мешок да подойник, Олегу узел, тебе достался бидон, с чем — не знаю, а может, пустой. И таким караваном двинулись вы следом за всеми.

Бредете по канавке вдоль обочины, впереди рогатая Ночка с полосатым своим багажом, сзади прутником Олег ее погоняет, за Олегом — Юра, за Юрой — бабушка, а позади всех ты с бидоном плетешься, бидон чуть не больше тебя, по земле тащишься.

А по насыпи дороги немецкая пехота входит в Капралы. Солдаты идут веселые, пальцами на нас показывают, смеются, рады своей победе.

И свернула бабушка вправо к Новинам. Деревня эта очень удобно была расположена для военного времени: кругом болота, все мелким березняком заросли, но дороги с четырех сторон просматриваются. Немцы в это болото без крайней нужды не лезли, и деревня пока еще уцелела. На крыше ближнего к дороге дома всегда сидел караульный, он-то и усмотрел ваш караван. Вышли люди навстречу вам подсобить. Ты настолько устал, что идти уже не мог, ножки подкашивались, и пришлось нести тебя на руках.

Я-то этого не видела ничего, после люди рассказывали. Бой застал меня совсем в других местах. Отправились в тот день мы с Катей в Оборотни, в штаб бригады. Там меня, передали, дождался один комиссар, который только что прибыл из тыла и



привез мне от мужа письмо. Катя — тоже со мною: «Поспрашиваю, — говорит, — комиссара, может, и о Сане моем что-нибудь слышал».

Оказалось, произошла небольшая путаница, письмо было от Сани как раз, и ждал комиссар Катю, а не меня, только дочкой Татьяны Антоновны по ошибке назвал. Комиссара этого все мы хорошо знали: это был Сафонов Павел Сергеевич, он до войны работал инструктором райкома партии нашего района. Прибыл он из тыла на самолете, когда приземлялись — разбил себе ногу. И застали мы Пашу Сафорова в тяжелый час: сообщили ему, что его младший брат, Гриша Сафонов, застрелен в бою. Протянул Паша Кате письмо, сам лежит на лавке, темный, небритый, переживает. Больше у него от семьи никого не осталось.

Ну, а я уж не знала, плакать мне от обиды или от радости. Письмо у Кати выхватываю, наперерыв с ней читаем, и такое письмо хорошее, больше к мальчикам своим Саня обращается, наказывает, чтобы маму и бабушку они берегли. Сердце у меня разрывается, за такое же письмо от мужа своего я не знаю, что б отдала.

Стала после я расспрашивать Сафорова — ничего он, конечно, о моем муже не знает, фронт большой, на тысячи километров, — это не деревенская улица. То мне кажется — знает Сафонов что-то и хочет от меня скрыть, то — что разговаривать ему со мной просто не хочется. Истерзалась вся, ничего утешительного не услышала, кроме разве обещаний, если только узнает — немедленно мне сообщит.

И попали мы на обратной дороге в самый бой, в самый разгар. Вдоль дороги в Крестах, на горе и на кладбище, сделали партизаны заслон: кругом ямы почти в рост человека, минометы наставлены, выкопаны траншеи. А все женщины, дети, беженцы с семьями спрятались в глубоком земляном окопе

в кустах на краю бывшего барского леса. Как загрохотали немецкие орудия, побежали и мы туда, в яму. И до сумерек сидели, не двигаясь. Попадай туда мина и снаряд — и была бы гота 1я братская могила. Старичок один вылез из-за желудка, не выдержал — так назад и не вернулся».

Бой был страшный, все гремело и трещало кругом, мы думали, не будет конца. В горле пересохло, воды-то взять не догадались, а вот есть даже дети не просили, никому не хотелось.

Наконец стихло, только слышно — хруст кругом и разговор немцев. Кто-то сдуру высунул голову из ямы, немцы заметили — и с собаками к нам. «Вылезайте!» — показывают.

Выкарабкались мы, земля кругом как перепахана, смешаны с грязью щепки и ветки. Построили нас по двое, вывели на дорогу. Подогнали машину, стали мужчин-стариков отбирать и пихать в кузов. Женщины подняли вой, тогда офицер махнул рукой: всех, мол, в одном направлении.

Стоим, озираемся, как в другой мир попали. Небо черно-красное все, как на заре, только не с одной стороны, а со всех сторон одинаково — это деревни горят подожженные. Я держала на руках Грушину Валечку, так ребенок кругом смотреть не мог, уткнулась Валечка мне в плечо и трясется. Я и сама трясусь — за тебя.

Подошли мы с Грушей и Катей к немцу и попросили пустить нас в сторожку у кладбища, якобы за вещами. Немец обернулся, прикинул, где сторожка, и махнул рукой: идите. Откуда ему знать, что в этой сторожке никто из нас не живет.

Подбегаем мы вторым, девчонку Грушиных за руки тянем — а вокруг сторожки ходят два немца, один поливает бензином, готовится поджигать, а второй несет на плече ручную швейную машину, и еще что-то у него в руке. Очень заняты оба, на

час — никакого внимания. Мы шмыгнули в дом мимо них, а темнеет уже, ну, схватили что-то для виду, рухлядь какую-то, и выкинули в окошко, будто бы торопимся, как бы к машине не опоздать. Тут потянулся дым во все щели, а немцы повернулись оба и к машине пошли. Захочешь жить — небось выскочишь. Но хватило у нас соображения не выскакивать на дорогу, вылезли через окно с другой стороны, подхватили девочек — и, пригнувшись, побежали по кладбищу. Там сирень густая, с дороги не видно. Пролезаем через сирень — и трупы партизан под ногами, наверху и в свежеврытых ямах. Там заслон партизанский стоял, всех до одного немцы перебили.

Слышим — зарычала машина, значит, немцы уехали и всех беженцев увезли. Куда увезли — так мы никогда и не узнали. Забрались мы все впятером в одну из ям и до утра, глаз не сомкнув, рядом с мертвыми просидели. Холод от мертвых ночью стал земляной, а не страшно, и девочки Грушины не боялись.

Утром — тишина, обошли мы все кладбище, посмотрели на убитых наших ребят, нет ли кого знакомых. Лежали они возле своих заслонных ям в искаженных позах: видно, вытаскивали их оттуда полуживых и убивали прикладами и ногами. Лица разбиты, глаза вытекшие, у каждого карманы вывернуты, фотокарточки разбросаны, письма — всё немцам ненужное.

Отыскала Груша кого-то из своих старорусских беженцев (отсиделись они, как и мы, в открытой могиле), мы с Катей пошли потихоньку в Капралы, и на всем пути от Крестов до нашего поворота — ни одной живой души, лежали по обеим сторонам мертвые люди, лежали чуть не вплотную, как камни разбросаны.

Ну, до Капралов мы не дошли — спасибо, встретили деревенских, и они нас предупредили, что в Капралах нам больше делать нечего. И побрели мы с Катей через Петрушкину сопку до леса, а оттуда кружным путем вниз, в Новины.

Приходим в Новины — ни души. В любой дом заходи и обедай, в печах все теплое. Значит, наши где-то рядом в лесу прячутся, больше нигде им быть, но в лесу мы новинских убежищ не знаем. Смотрим — люди за кустами идут, значит, жители возвращаются. Так и встретились мы со своими. Ты меня увидал — заплакал, стал жаловаться, что ножки болят. А до этого, бабушка тебя похвалила, стойко держался».

Так оборвалась пуповина, связывавшая меня с тем домом в Капралах, о котором хорошо написала мама: «Высокий, добрый был дом, с приделом теплым, двор для коровы, при въезде ворота большие в чистый двор с поветью... все сучочки в бревнах на память знаю...» А вот я для спасения жизни не смог бы сейчас ответить, что такое поветь. А ведь если разобраться, этот дом для меня был единственным домом во всей моей жизни, был убежищем. Все другие дома — это просто жилища, пристанища: чужая изба в заболотных Новинах, после — как сожгли сами Новины — землянка с полом из хлюпающих жердей, школьный угол за картой, «военная» изба, где нашел меня отчим... московский сырой полуподвал... просторная, словно лыжная база, комната, куда я привел свою Лизавету, там скрипело все и пахло морозом, а не жильем... номера в тропических гостиницах, выбеленные, как палата умалишенных, с безумным пропеллером вентилятора под потолком... и тепереш-

няя моя московская квартира, которая маме напоминает пустой сарай. Кто его знает, не стану сейчас фантазировать, не под силу мне вспомнить, что чувствовал тот малыш, который с бидоном в руках брел по травянистой канавке вдоль высокой насыпи, где улюлюкала чужая солдатня... Но, быть может, именно тогда угас во мне инстинкт убежища, и угас навсегда. Все проходит и забывается, но ничто не проходит бесследно.

Не прошел без следа и Белов. Я ведь помню Белова, мелко кучерявого, с горбатым костистым носом и безгубо смеющимся ртом. И себя тоже помню — малыша в партизанской кубанке с деревянным автоматом в руках, помню сам, как смеялся от радости, слушая «Катюшу». А Белов, отвернувшись от меня, моргал так, что дергалась кожа на шее, и солдаты, которым он был командир, дружелюбно подхохотывали: «Наш-то, наш, во дает! Заводной!»

Нет, какой разговор, в те времена многие так шутили. Я бы даже сказал, что шутка эта была из самых распространенных в те оптимистические времена. Не похоже, чтоб в сорок первом, в сорок втором, отступая, кто-нибудь из наших бойцов, даже самых отчаянных зубоскалов, рискнул вот так, шутки ради, набиваться детिशкам в отцы. А теперь, в сорок четвертом, можно было и побалагурить, рисуясь перед солдатками и подмаргивая веселым своим товарищам. Отчего бы и нет? Уплотнилась история, поколениями стали мериться годы: все мы всем вам отцы. И это правда. Но все-таки, все-таки... Не выношу людей, которые шутят и подмаргивают при этом, зубы начинает ломить от фальшивого слова «шутю».

В московской школе я с первых же дней назвался Махониным — без спроса, не дожидаясь, когда меня усыновят, мне это казалось само собой разумеющимся. С такой легкостью я отрекся от отцовской фамилии (которую ношу сейчас), и так просто мне это далось, и так странно все обернулось. Нет, усыновить меня отчим был готов, но они с мамой рассудили, что пенсия за погибшего отца (судите, люди, если можете) в доме не помешает: по крайней мере будет на что меня одевать, это не шутка. И мы получали эту пенсию до моих восемнадцати лет.

Неприятности в школе начались для меня неожиданно. В конце года, выставляя итоговые, Анна Ивановна наша ожесточилась: я со своей самозванной фамилией вынудил ее что-то там зачеркнуть. И на следующий год в первый же день эта чистенькая старушка вывала меня к доске по фамилии: «Спиридонов». Я сначала решил, что ослышался: это было слишком жестоко. Ну, конечно, я был самозванец и путал ей карты, но зачем же публично, да еще в первый день, когда вообще мало кого поднимают к доске? Однако Анна Ивановна (седенький пучок на голове, круглые очки, чистенькое личико истеричной женщины) — Анна Ивановна смотрела на меня беспощадно, как государственный обвинитель, с непонятным мне до сих пор торжеством:

— Да, да, тебя, Марк, тебя.

Что делать? Я встал и под недоуменные смешки класса подошел к ее столу, как к эшафоту.

— Ты ведь Спиридонов? — до ужаса ласково спросила она меня.

— Махонин он! — зашумели в классе. — Махонин!

Врагу не пожелаю оказаться в моем положении.

— Я Махонин, — сказал я и заплакал.

— Нет, ты Спиридонов! — припечатала Анна Ивановна и заставила меня читать что-то наизусть.

История с фамилией была урегулирована вмешательством мамы и вновь всплыла при переводе в неполно-среднюю школу, а потом в среднюю: с идиотским упорством я объявлял себя Махониным, и всякий раз школа пыталась восстановить справедливость. Но в восьмом классе я счел себя уже достаточно взрослым для самостоятельных решений и, придя домой, с вызовом объявил отчиму, что больше я его фамилию носить не намерен.

Мой старик посмотрел на меня в упор, он сидел за круглым столом, а я стоял, наглухо зачехленный в свою гимназическую униформу, как будто забронированный, вызывающе подбоченясь и даже, по-моему, притопывая ногой. Потом голова его дернулась, и он, отвернувшись, глухо сказал:

— Вот и правильно.

— Ты этого ждал? — звенящим голосом вскрикнул я, даже не выждав паузы: все варианты были числены мною по дороге из школы.

Литературный отец здесь непременно ответил бы: «Да, ждал». Но мой старик — не герой беллетристики.

— Еще чего, ждал, — пробурчал отчим и густо побагровел, и я покраснел тоже, как будто его отравленная никотином и пороховыми газами кровь бросилась мне в лицо. — Не ждал, конечно, да сколько можно государство обманывать...

У меня перехватило дыхание.

— Выходит, это я... это я обманывал государство?

— Нет, не ты... — с трудом проговорил отчим. — Не ты...

— А кто же?

Я был жесток, намеренно жесток, мне хотелось, чтобы ему стало так же больно, как мне. Я не имел понятия о материальной стороне дела... да нет, какое, имел; та же школьная форма на мне была не дешевая, хлопчатобумажная, а шерстяная, но я думать не желал о таких мелочах и торжествовал, упиваясь своим нравственным превосходством.

Ни словом, ни жестом старик не дал мне понять, что я несправедлив. Он, горбясь, поднялся, проговорил: «Конечно, я виноват», — и пошел на кухню.

Теперь я знаю: это лучший человек из всех, кого я встречал за свою жизнь. Он мой старик, этого у меня уже не отнимешь.

Было еще так: я поступал на факультет журналистики в безмятежной уверенности, что буду принят. Золотая медаль, две «публикации» в молодежных газетах, чего еще надо? На собеседовании, среди прочих вопросов, меня спросили, не пробовал ли я читать зарубежную литературу в оригинале. Вопрос был чисто формальный, с расчетом на отрицательный ответ, но я ответил утвердительно, так как именно в то время переводил для собственной радости Байрона. Получалось не очень байронисто: «Ночь небо красит в васильковый цвет, я эту миолетную красу с собой глубоко в сердце унесу», — однако на комиссию сам факт произвел определенное впечатление. Наступила заминка, принимать меня они не хотели, это было ясно, как божий день, а почему — я не понимал и злился. Потом один из членов комиссии спросил:

— А вы уверены, что в Англии растут васильки?

Такой уверенности у меня, положим, не было, но я ответил запальчиво, что это не имеет никакого значения. Мне мягко возразили, что я не совсем прав, но спор на эту тему был недолог.

— Видите ли, — сказали мне, — вы москвич, с москвичами у нас и так перебор, а представьте, как трудно поступить к нам на факультет талантливого паренку из провинции!

— Но я-то чем виноват? — спросил я, шалея от одной только мысли: не примут, не примут!

— Вы — ничем, — был ответ. — Мы только объясняем: у вас медаль, подождите еще годик, поработайте где-нибудь при редакции, хоть курьером. Наберитесь опыта, присмотритесь к газетной работе, и, может быть, она окажется не так привлекательна. Вы же на год раньше в школу пошли, значит, время терпит.

Я не знал, что ответить. Ну, как они не понимают, что я не могу вернуться домой и сказать: «Вот, мама, меня не приняли, сказали, на следующий год». А в садике возле факультета меня ждала одноклассница, мнением которой я тогда особенно дорожил. Звали ее Зоя Стрелковская, и была она очень красива. При таких условиях неудивительно, что я был совершенно обескуражен.

— Да не москвич он, — сказал, листая бумаги, тот член комиссии, который объяснял мне про васильки. — Он из Псковской области, в Москве недавно.

Это меня обидело:

— Нет, почему, я москвич! И в Москве почти всю жизнь, с сорок седьмого!

В комиссии заулыбались, и участь моя, как я понял, была решена. Я вышел в садик, счастливый до глупости. Завидев меня, Стрелковская оборвала разговор с ухажерами, которые, как обычно, возле нее вертелись, — оборвала не оттого, что я был дьявольски неотразим: мама ради такого дня нарядила меня в перелицованный отчимов двубортный костюм, и пахло от меня нафталином, и галстук на мне тоже был отчимов и тоже перелицованный, с изнанки его полосочки имели кустарный вид, а белая рубашка моя пожелтела от стирок, воротничок, жестко накрахмаленный, тер мне шею, и я все время тянул голову вверх, как взнузданный конь, — но у меня был гордый шаг победителя, и вышел я не откуда-нибудь, а с факультета журналистики.

— Приняли? — всплеснула руками Стрелковская.

— Да похоже на то, — напыжившись, ответил я.

И она бросилась мне на шею.

Увы, радость моя оказалась преждевременной: через два дня я не нашел себя в списках принятых, никто, как это водится, не дал мне никаких объяснений, а нести свой «золотой» аттестат в другой вуз мне не позволила гордость. И я скрыл этот факт и от Зои, и от мамы, и от отчима, оставшись в этом мире наедине со своим горем и со своей ложью. Стрелковская тоже не попала на филфак, завалив сочинение, и устроилась в магазин «Галантерея».

Весь сентябрь я дурачил окружающих мнимой учебой («Кто платит стипендию до первой сессии?» — сказал я маме, и это подействовало, и отчим тоже как будто поверил в мою версию, студентом-то быть ему не довелось). Я уходил из дома с утра и слонялся бог знает где до обеда, а потом караулил возле магазина Зойку, стараясь не маячить у витрин. Младший брат Николашка увидел меня как-то в неурочный час в центре (для своих семи лет он был чрезвычайно мобилен и рыскал в компании озабоченных сверстников чуть ли не по всему городу), но с ним я сумел договориться, точнее, запудрил ему мозги. Зоя тоже была уверена, что имеет дело с журналистом, красой факультета, а вот отчима, умудренного жизнью человека, провести оказалось труднее.

Отчим все наблюдал за мной, наблюдал, присматривался к моей осунувшейся физиономии, к моим ошалелым глазам, а однажды, оставшись со мной наедине, вдруг сказал:

— А ты бы устроился на работу.

— Как... на работу? — обомлев, спросил я.

Такая мысль приходила в голову и мне, но я какое-то время еще надеялся на мифический дополнительный набор, потом колебался (трудовая книжка, да мало ли что еще, это не пройдет незамеченным), ведь неопределенность чем сильна — тем, что она длится.

— Как на работу?

— А так, — спокойно глядя на меня своими маленькими карими глазами, ответил отчим. — Пора и совесть знать. Мы-то тебя, слава богу, и до старости прокормим, да ты сам с ума сойдешь.

Я понял, что врать бесполезно.

— А кто меня возьмет? — угрюмо спросил я. — Кому я нужен?

— Да я же и возьму, — ответил отчим. — Поедешь младшим техником до весны, а там видно будет. Я тоже так начинал.

Передо мной вдруг открылась ослепительная бездна: уехать из Москвы, все забыть, покончить разом со всеми обманами... Ведь были еще и мои одноклассники, они тоже считали меня поступившим, и я панически боялся нарваться на них во время своих блужданий по городу.

— А мама? — машинально спросил я, думая совсем о другом.

Отчим обещал подготовить маму.

— Деваху твою тоже с собой можем взять, — сказал он и деликатно отвел взгляд... я и не подозревал за ним такой проницательности. — Если, конечно, захочет.

Так мы стояли друг против друга и не смотрели в глаза.

— Рейку для тебя будет носить, — добавил отчим и закурил. — Дело найдется.

Я уже не раз бывал в экспедиции с отчимом, знал нивелировку, угломерку немного, получал за это зарплату, благо фамилии у нас были разные, и не нуждался в объяснениях, что рейку носить — тоже дело. Но представить себе Стрелковскую в стеганке и ушанке, в бахилах или валенках — для этого надо было сделать над собою какое-то усилие.

— Имей в виду, — по-своему истолковав мое молчание, сказал отчим, — оставить тебя с матерью, чтобы ты баклуши бил да еще в компанию втянулся, — этого я не могу. Решай сейчас.

И я решился. Конечно, Зойку можно было и не поднимать с места, достаточно сказать, что я отправляюсь в глубинку с журналистским заданием, но это означало оставить ее на милость покупателя галстуков.

Мы ждали на Савеловском до самой последней минуты, когда поезд тронулся и отчим чуть ли не силой втащил меня в вагон за воротник. Стрелковская не пришла.

Старик мой, похоже, и не ожидал другого исхода. Мы сели за столик вместе с двумя старшими техниками и буровиком, никто не зубоскалил, все делали вид, что топтание мое на платформе было совершенно естественным. Выставили водку, разложили нехитрую закуску, и только когда я, быстро пьянея, начал уныло что-то жевать, старик мой наклонился ко мне и сурово сказал:

— Только не изображай, ты не в театре...

Благословенна юность... когда за ней мудрость присматривает.

«Так и стали нам Новины домом родным. А в Капралах» германский укрепился, склад

оружия фашисты устроили, взрывчатки навезли, нарыли вокруг деревни траншей и окопов. Собирались, видно, зимовать, да не вышло.

Попросили нас партизаны узнать подробнее расположение немецких укреплений. Выходили мы на открытое место из кустов, шли повыше, на старое картофельное поле, будто бы картошку гнилую собирать, а сами смотрели. И мама с Катей и я — все женщины ходили. Очень хотелось помочь, чтобы гитлеровцы поскорей из Капралов убрались. Больно думать даже было, что на нашей усадьбе хозяйничает враг.

Немцы особого внимания на наши вылазки не обращали, пусть, мол, копошатся. Только один раз остановили Катю, слишком близко она подобрела, и без лишних разговоров отправили ее рыть окопы. Так что потрудились Катя на обе стороны. Вернулась в Новины замученная, грязная, ругалась последними словами.

В общем, сведения были собраны очень подробные, и радовались мы, что стоять фашистам в Капралах оставалось недолго. Только и самим Капралам тоже недолго оставалось стоять.

Шестого ноября сорок третьего года в полночь увидели мы ослепительные ракеты со всех сторон наших Капралов. На горé деревня стояла, снизу хорошо было видно, высветился как на ладони каждый дом, каждый двор. Мы все выбежали на улицу и наблюдали. И вот при свете ракет послышалось партизанское «ура!». Взрывы, выстрелы, крики. Загорелось несколько построек от минометного огня, взорвался склад — так во все стороны и фыркнуло. Забегали по деревне полуодетые немцы. Они и не помышляли о таком наступлении, высккивали в нижнем белье, прятались где придется, в хворост зарывались с головой, а хворост во время такого боя — это живой костер.

Вот он был, салют наш к Октябрьским праздникам. Деревня ухнет, дома ходуном ходят, черная земля так и взлетает на огородах, а мы стоим, обнимаемся и плачем от радости. Мама только про кошку и вспомнила: как-то там наша Мурка, догадается ли выскочить, если огонь. А Олег говорит: «Сама виновата, что при немцах осталась».

В общем, крепко досталось немцам на седьмое ноября сорок третьего года. После партизаны рассказывали, что только несколько человек из всего гарнизона уцелело, выбралось на большак и добежало до Одинцова. Много взрывчатки немцы запасли, уж и бой давно кончился, а все рвались их склады и горели, и небо над Капралами было красное до самого утра.

Думали мы, за ночь вся деревня сгорит, но наутро увидели: холм дымится, весь черный от выбросов земли и головешек, а дома почти все стоят целенькие, только три или четыре избы догорают. Наш-то цел, и береза цела, посеколо ее только немного.

Тут и вспомнила бабушка: «Надо б Клавдю Боднову проведать пойти. Может, в погребе спрятались». Но не тут-то было: потянулись к месту происшествия со всех сторон немцы. На машинах, на мотоциклах приехали. Походили по деревне, пооглядывались, а потом, недолго думая, облили все дома бензином — да и подожгли. Вот уж тут нам было горько глядеть: от огня партизанского деревня выстояла — и все равно погибает. Да поделаться что? Хоть ты пальцы грызи, а не помешаешь. И не только дома, все строения уцелевшие и бодуновскую баньку гнилую запалили, не посмотрели, есть ли там живой человек или нет. Вот тогда уж костер получился — до облаков. И, свершив это де-

ло, немцы быстренько развернулись и двинулись через болото к нам, в Новины.

Дорога, как назло, подмерзшая была, и со всей техникой немцы в Новины прибыли. Жителей, конечно, и след простыл, мы ведь не благие, их дожидаться. Пошарили они по окрестным кустам, но никто не попался им под горячую руку. Сожгли дотла Новины, стога с сеном спалили, скруды хлебные тоже сожгли, ни одной соломинки не оставили: подышайте. Скот почти весь в Новинах немцам достался: не успели мы в лес угнать. И корову нашу Ночку тоже немцы забрали. Но коровушка с характером была, не подчинилась гитлеровской экспедиции. На третьи сутки убежала из Киселей, это сколько ж километров, и вернулась к нам в Новины.

Удалились немцы — вышли из лесу люди. Походили по своим пепелищам, повздыхали, головешки поворошили — и стали строить землянки. А землянка — жилье простое, не военный блиндаж, бревна тут ворочать не надо, и старик и старуха могли соорудить. Яма метра два глубиной, сверху жерди настелены, и покрыто все дерном. Часто в этой яме стояла вода, но и то не задача: делали настил на полу из тех же жердей ольховых, и ходить даже в валенках можно. Печурку из кирпичного боя лепили, из остатков прежних печей, дверь для лазейки из досок недогоревших сколачивали. Смотришь — дымок уже пошел из-под земли. Значит, человек живет.

И так за зиму сорок третьего—сорок четвертого приходилось начинать жить пять раз. Не забыли немцы Новины, сохранили зло на эту деревню. Являлся карать —людей никого, землянки теплые. Они их гранатами закидают и уходят, а люди возвращаются. Раскапывают свои ямки, накатывают новый потолок, печку из обломков перекладывают, кое-как оттаявшей глиной обмазывают — и опять пошел дымок.

И все-таки нет-нет, да и поглядит бабушка в сторону черной капраловской горки, поглядит и вздохнет. «Что вздыхаешь, мама? Вот прогонят немцев, новый дом построим». «Нет, Алёна, новый дом мне уже не осилить. Да такой добрый дом, как был,—никогда. Видно, до смерти в землянках и проживу».

Но недолго она горевала: бодрая была, живучая, и характер у ней был легкий. Замело пепелища капраловское снегом — и повеселела она. «Гляди, Лена, будто и не было ничего». А и в самом деле: красивая белая горка, и береза стоит. Печи закоптелые люди на кирпичи разобрали. Хотя иди на это место и заново стройся.

Помню, драла твою бабушка Толю, когда он к соседю, к дяде Андрею, до коллективизации еще, за яблочками залез. Ветки обломал — ну, дело тебе известное. Дядя Андрей жаловаться не стал, наложил ему полные штаны крапивы и пустил: иди. Пришел Толя домой, крапиву, конечно, по дороге вытряхнул, а попка горит, в волдырях, вспухла подушкой. Забрался под одеяло на печку холодную и лежит, остывает. Мать ему: «Заболел?» Пощупала — весь в жару. Туда-сюда, Толя признался. Сволочка мама с печки его, взяла прут и давай охаживать, приговаривая: «Люби свое, люби свое!» Очень мне эти слова запомнились, хотя я брата тогда от нее отговевала, с Саниной помощью.

Я к чему? Ты, сынок, мне, бывает, под настроение так красоты южные описываешь, и моря, и цветы, и острова, ну прямо умри, старуха, раз ты этого не видала. А своё-то ведь тоже надо любить, если ты его любить не будешь, кто ж его тогда полюбит?

Посидели мы с Семеном на зелененьком холмике под березой, покروшили, как на могилке, яичка. И на Клавдины косточки я покрошить не забыла, не поленилась пойти.

И выходит тут на нашу усадьбу старуха. В пиджаке мужском, в белом платке, волосы седые из-под платка выбились, на ногах резиновые сапожки, зеленые. Руку козырьком к бровям косматым приложила, на меня так внимательно смотрит, ну ни дать ни взять Клавдия, постаревшая только, поднялась из-под земли. Даже сердце у меня застучало. Поздоровались мы с ней, и старуха нам кивнула в ответ. И прочь зашагала, широко, как мужик.

Кто ж такая, думаю, вроде на кого-то из наших похожа. Петрякова тетя Дарья — умерла в начале сорок четвертого, Клавдия Бодунова сгорела в сорок третьем, Марфа Кузнечиха в пятидесятом умерла. Литовцева Прасковья дождала до семьдесят третьего года, а больше здесь никому и ходить. Так подругу свою лучшую Машу Доницу я и не узнала. Сама-то старуха, а вижу себя молодой.

В Новинах она осталась, вместе с братом, Ваней Немым, а дочери ее — старшая Фаина в городе Новоскольники библиотекарем, средний Дмитрий — на Северном Кавказе, приезжал не так давно, звал с собою мать в южные края, умудрился даже с немцы разругаться, так и уехал. Младшая Доница, Рая, в Пскове, муж ее бросил.

Про кого еще тебе знать интересно? Литовцева Маня в Одинцово, на пенсии, живет хорошо, имеет легковую машину, мужа второго схоронила (Виктор-то ее не вернулся с войны), а сын ее Валя безрукий работает в Одинцовской бывшей моей школе завхозом.

Из Петряковых девочек младшая в Ленинграде артистка, средняя — учительница в Пскове, муж у нее видный городской работник, а старшая как уехала на Сахалин — так ни слуху о ней, ни духу. Моченкова Валя в Острове продавцом, Витя Моченков был шофером, попал в аварию и погиб. Федор Моченков в Ярославле речные суда обслуживает, а Моченков Павля где-то долгие годы странствовал, а лет пять назад объявился и в Протасово в дом пристал, там и работает. Все это мне Маша Доница рассказала, тем же вечером мы с ней в Новинах встретились.

Вот не съездил ты со мной в Капралы — и не съездишь никогда, я знаю. Что тебе этот пустырь травяной, разлетелись уцелевшие жители, не сумели здесь жить. Я сама-то хороша: пишу сейчас тебе и гляжу в окно с московского своего этажа. Что оплакивать пригород пустой, много их таких по России. Не Болдино, не Ясная Поляна, исторической ценности никакой, перспективы сегодняшней — тоже.

Но не может быть такого, сынок, чтобы целая деревня из жизни пропала бесследно и ни у кого на душе не сквозило, не тянуло, как от разбитого окна. Тварь любую исчезающую в Красную книгу заносим, не забылась бы, упаси господь, жизнь тогда на земле будет неполной, это ж беда. Конечно, сгинули наши Капралы без славы вселенской, без мук истребления, но тоже ведь жертва войны».

Это был последний мамин листок, исписанный до самого нижнего края. Видно, мама не считала, что ее записки получили достойное завершение, потому что, когда я перевернул листок, на обороте увидел зачеркнутое: «Затем и пишу...». Но не стала мама продолжать: утомилась, должно быть. Или отчим остановил: «Хватит, все сказано».

НИКОЛАЙ ФЛЁРОВ



Фото 1943 г.

Партийный билет

Запомнился час этот давний
Среди фронтового огня:
В ряды нашей партии славной
Тогда принимали меня.
Все было, как прежде: вскипала
В холодном заливе волна,
И шли корабли от причала,
Куда посылала война.
С высоких, туманами скрытых,
Снегами засыпанных скал
Пунктир скорострельных зениток
Машины врага настигал.
Но что-то вокруг изменилось,
И в свете весеннего дня
Казалось, что новые силы
Как будто вселили в меня,
Когда на земле каменистой,
Как сердца негаснущий жар,
Партийный билет коммуниста
Вручил пожилой комиссар.
Казалось, поднялся я выше,
Казалось, я вдруг покрепчал,
И стали как будто мне ближе
Зенитки, залив и причал.
Как будто на целой планете
Я сразу, сегодня, сейчас
За все оказался в ответе —
За год, и за день, и за час.
Но то не во мне только было,
Не стал я какой-то другой,
А точно огромная сила
Отныне стояла со мной.
И шли мы. Ничто нас на свете
В боях не могло задержать.



За партией шли мы к Победе,
К твоей, наша Родина-мать...
С тех пор, где б ветра ни носили,
Как ни был бы путь мой тернист,
Я верен донныне той силе,
Которой силен коммунист.
Верны мы мечте поколений,
И самый высокий причал
Нам тот, что отстраивал Ленин,
А всем довершать завещал.



Он написал стихи о жажде боя
И в них вложил всю силу чувств своих.
И стало темным небо голубое,
Когда за пулеметом он притих.
К закату на гранитном кособоре
Лег не один сраженный им фашист.
Молчали сопки. И шумело море.
И со скалы срывались волны вниз.
А мы ползли. Пурга ли, темнота ли,—
Он отвлекал. И пулемет не гас...
Мы после вслух стихи его читали,
Как будто бы он мог услышать нас.
И горький гнев нам сил прибавил втрое.
И вновь, пробив дорогу в темноте,
Мы хоронили друга и героя
На взятой нами с боя высоте.

ВАЛЕНТИН РИЧ



Фото 1943 г.

Атака

Убит замполит.
И не слышно комбата.
Осталось патронов
По штуке на брата.
Махры на затяжку.
Воды на глоток.
Да сил на бросок.
На последний бросок.

Нас мало осталось.
Нас мало осталось.
И жизни осталось
нам самая малость.
Не год. И не месяц.
Не день. И не час.
Минута!
И той не осталось у нас...

Вовек не забуду,
как было все это.
Как черную тьму
полоснула ракета.
Как тело хотело
зарыться в пыли.
Как шепот раздался:
«Ребята, пошли!»
Как шепот раздался,
Ребята пошли.
Как тело
я смог отодрать от земли.
Как воздух ночной
превратился в металл.
Как легкие рвал он.
Как горло он рвал:
«Уррраааааа!..»

Воды — хоть залейся.
И воздух — как воздух.
Да, видно,
не нам полагается роздых.
Да, видно,
не нам хорониться в тепле,
как будто бы рай наступил
на земле.
Нас мало осталось.
Нас мало осталось.
И жизни осталось
нам самая малость.
Но пуще
и пуще грохочет вдали
тот шепот зовущий:
«Ребята, пошли!»

☆☆☆

Прощались и прощались.
Надолго. Навсегда.
Комбату обещались
не плакать никогда.

Ах, эти расставанья!
Война. Война. Война.
Ах, эти обещанья!
Копейка им цена.

Как будто шалый ветер
и молодую прыть
хоть что-нибудь на свете
нам может заменить.

Как будто бы ребята
из нашего полка
не вечным сном обьяты,
а просто спят пока.

ВАЛЕНТИН СМИРНОВ



Фото 1944 г.

А завтра — бой...

Вторую ночь в лесу прифронтовом,
Поблизости от обгоревшей виллы,
Приказ о скором наступлении ждем,
Для новых схваток набираем силы.
Стекает с веток музыкой капель.
Мы, у походной кухни щей отведав,
Вдруг замечаем, что идет апрель,
Идет апрель за нашей ротой следом.

И дымчато-зеленая трава
Приподнимает золотую хвою.
Янтарными глазищами сова
С куста глядит на небо голубое,
Такая тишь.
Такая благодать —
Вот-вот сейчас начнут лягушки квакать...

А завтра — бой:
Ползти, бежать, стрелять,
И пушки на руках тащить сквозь
слякоть.
Коварно молчалив передний край,
Охваченный полукольцом пожара.

Да, завтра бой...
Попробуй угадай:
Кто ляжет там!
Но ты молчишь, товарищ...



БОРИС
ГАЙКОВИЧ



День Победы

Мы ждали его
Лишь сошел морозец,
Картами устилая полы.
Мы — это стриженный бойкий народец,
Суворовцы той, далекой поры.
Ведут ли с белишком
Нас в баню строим,
Толкуют ли о безударных слогах.
А мы далеко.
Мы прогнозы строим:
— На спор, что к лету—
Гитлеру швах!..
Уже на Зеелах. Уже у Берлина.
Уже вверх ногами на Шпрее вода.
И, позабыв о занятиях, бурлила
Рота мальчишек: вот-вот, но когда!..
В то утро
Не протрубила побудка —
Шепот майора спальню потряс:
— Ребятки, поднимаемся..
И как будто
Нас подбросил пружинный матрац.
А в окна — гармошки.
Там пьяно, вселюдно.
Качают военных: Победа и цел...
Победа!..
Взлетали подушки салютно.
С улыбкой на это взирал офицер.
— Побе-е-да!..
Мы вроде как ошалели —
Бесились, прыгали до потолка..
И только, лицом зарывшись в шинели,
Часто вздрагивал
Сын полка.



Диалог

Юрию Глазкову,
летчику-космонавту СССР,
Герою Советского Союза

— Кто у нас давненько не опрошен...
Кажется, к доске просился Юра!!
Просим. Сообщите, милый Юра,
Классу ваши знания о Земле.
— Ну, Земля... Имеет форму шара.
Океаны: Тихий, Ледовитый,
Атлантический... Потом Индийский.
И еще пять штук материков.
— Так, суворовец Глазков... Садитесь.
Материал вы знаете, конечно,
Только надо больше бы подъема.
Не бескрыло, а паря меж звезд;
Научитесь красоте земную
Видеть как бы с птичьего полета.
Оторвитесь от Земли. Взлетите...
— Слушаюсь, товарищ капитан!

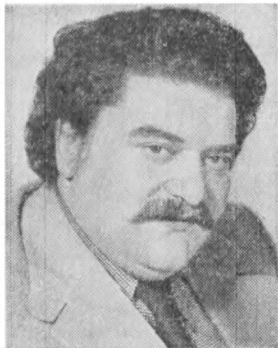
Прощание
суворовца

Минуты те не сразу истекут.
Над каланчой не теплятся лучи еще...
Кому-то (ей) — в Саратов, в институт.
Кому-то в офицерское училище.
И на мосту стояли у перил,
И терпко пахло сеном свежескошенным.
Он ей дорожку лунную дарил,
Она ему—созвездье рядом с ковшиком.
Помедли, торопливая вода!
Ведь звездам уж не быть такими яркими
И больше никого и никогда
Не баловать столь царскими подарками.
О главном бы в искательной тиши,
А не ботинком чиркая по гравию:
— Ты все-таки пиши..
— И ты пиши.
— Курсантскую
пришли мне фотографию..
Две долгих тени на воду легли.
Речной волне — накатывать, откатывать..
Любовь ли, предвкушение любви,
Что это было!! Не берусь отгадывать.

Роца

Сажали младшей ротой хворостины
На пустыре, что пылью был повит...
— Ну, прутики,
Крепчайте и растите! —
Стакан с водичкой поднял замполит...
С годами становился мир не проще,
И служба мальчишков брала в ладонь.
Потом сошлись выпускники у рощи,
Не очень-то — по Пушкину — младой.
Давным-давно
Под настом трав коренья
В могучий узел дерева свели.
Стволы вздымались..
А не в отдаленьи
Суворовцы много поколенья
Еще сажали прутики свои.

ДАВИД
АСТРАХАН



☆☆☆

Когда Отечество в огне,
Проходит время одиночек.
И пули ставят вместо точек
Кровавый росчерк на стене.
А на войне, как на войне...
И нужно встать и, зубы стиснув,
Собой продолжить этот список,
Когда Отечество в огне.

Скрипичный мастер

Николаю М.

Рост и стать обыкновенные,
Фрак холодного оттенка...
Аплодировала Генюя
Скрипке мастера Павленко.
Аплодировала истоиво,
На восторг имея право.
Разносили вестъ транзисторы
О его скрипичной славе.
Кто! Откуда! Чей последователь!
Счет, небось, миллионный в банке...
А Павленко на последние
Покупал себе рубанки.
Под футляром бархат выставлен.
Только суть не в обрамленье —
За судейскими записками
Волшебство и изумленье.
Все пилил, строгал, замешивал
То влюбленно, то отчаянно,
Чтобы дереву умершему
Дать бессмертное звучание.
Нет, не скрипку сокровенную —
Душу мастера ввозили
В солнцем залитую Генюю
Из заснеженной России.

Бабка Зинаида

В доме том обидам
Не ведется счет.

Бабка Зинаида
Пироги печет.
Бабка Зинаида
Сутками не спит,
С тестом и повидлом
В кухне ворожит.
Поспешай на вкусное:
К чаю с пирогами.
Будут и с капустой,
Будут и с грибами.
С творогом ватрушки,
С кренделями мед.
У моей старушки
Дел невпроворот.
У старушки нашей
За спиной видна
Не одна поклажа,
Не одна война.
Опоздавшим скидка —
Пара стопарей.
Бабка Зинаида
Потчует гостей.
И в клубок устало
Сматывает нить,
Чтоб им не досталось
Столько пережить.

☆☆☆

В парке Горького снят турникет.
Значит, лето уже на исходе.
Что-то переменилось в природе
За последнюю тысячу лет.
За оградой — чета лебедей,
И сосна — за чугунной оградой.
Но природа, должно быть, не рада
Грубоватой опеке людей.
В парке Горького снят турникет.
Что ж, наверное, это разумно.
И как прежде в закусовых шумно,
Но вполне соблюден этикет.
Добрый дяденька с желтых афиш
Приглашает на аттракционы,
И, одетые в зелень, газоны
Городской утверждают престиж.

☆☆☆

Когда откроется Протва
За спящим лугом, за холмами,
Все то, что помнилось едва,
Вдруг развернется в панораме:
Церквушка, роща, старый дом,
Хмельная лодочная пристань,
Где воду пробовал веслом,
Ватагой сверстников освистан.
Мелькнет знакомое лицо
Девчонки с улицы Заречной
И с восхитительной ленцой
Платок наброшенный на плечи.
И мне захочется уплыть
На легком паруснике в юность
И, ощутив былую прить,
Осмыслить то, что не вернулось...



НАТАЛИЯ
САВИНА

«Он боялся, что не сможет соответствовать званию инженера, потому что «инженер» для него означало высшую категорию людей».

Даниил ГРАНИН.
«Еще заметен след».

Десять лет не в счет

«РЫЖИЕ» ИЗ ИВАНОВА

И родом из «технарей». Мои родители, ближайшие родственники, знакомые — в основном инженеры. Детские воспоминания тесно связаны с заводским гудком. Мы жили в доме, где размещалось заводоуправление. В эти нелегкие для взрослых послевоенные времена, когда Новый год встречали дважды — по-сибирски и через четыре часа по-московски (основной костяк завода составляли эвакуированные москвичи), фантазия достраивала порой малопонятные фразы взрослых о чертежах, каких-то решениях, кульманах и рейшинах, образ инженера, конструктора как человека, чуть ли не самого главного. А потому, наверно, особо не рассуждая, я тоже пошла в инженеры. За моими плечами маститый столичный вуз, где учиться



по большей части мужская половина рода человеческого. Годы учебы невозможно представить без порой наивных споров, мечтаний, стремления скорее покинуть студенческую скамью, чтобы «двигать» технический прогресс. За моими плечами десять лет конструкторской работы в научно-исследовательском институте. Эти десять лет — дорога от студентки-практикантки до инженера-конструктора первой категории — в момент резкой перемены судьбы, ухода в журналистику, были также годами надежд, разочарований, снова надежд.

Помню, впервые переступила порог огромного конструкторского зала. Здесь предстояло работать

после защиты диплома. Встретили приветливо. Даже оклад положили старшего техника. Теперь-то я понимаю: чтобы не пропала единица. А тогда все было важно. Предполагалось, что наряду с дипломом, который шел по тематике отдела, надо было еще и помогать в выполнении важных производственных задач. Однако этого не потребовалось не только от меня, но и, как показал опыт, от всех впоследствии прошедших через отдел дипломников. Зато все это время чувствовала себя «богачом» — стипендия плюс зарплата превышала сумму, назначенную мне уже как дипломированному инженеру.

В то время мы еще довольно часто — крепки были студенческие узы — собирались группой, делились впечатлениями, строили честолюбивые планы. Однако поначалу, к примеру, одна моя сокурсница с большим удивлением говорила про свою новую сослуживицу, которая, не стесняясь, на виду у всех за кульманом (такое святое слово) ногти пилочкой зачищала, а другой неглупый трудолюбивый парень, прошедший до вуза и техникум, и армию, с юмором рассказывал о каких-то ножичках, которые он от нечего делать вытачивал, прикрываясь все тем же кульманом. Он попал в такую важную конструкторскую фирму, что всем недосуг было ему, «сала-

На снимках:
В комсомольско-молодежной конструкторской бригаде обсуждается проект нового узла. Инженеры Павел Щеглов, Владимир Гедз и Павел Безгодько пролепляют свои решения на миниатюрных моделях. А через короткое время конструкция оживает в металле. Тогда инженеры большую часть времени проводят в цехе, занимаясь отладкой «новорожденного». Наш корреспондент сфотографировал в сборочном цехе ведущего конструктора Игоря Федосеенко (слева) и главного конструктора проекта Сергея Красильникова.

Фото Л. Шимановича.

жонку», занятие искать. А кому-то повезло. И мы все с завистью слушали: подключился к работе — перспектива, возможно, скоро повысят. Кстати, эти «возможности повышения», как правило, и связывались с надеждами на настоящее дело. А так, что у большинства вновь пришедших конструкторов? Сиди, жди, когда калку потереть дадут. О, это очень важная работа! Значит, скоро увидишь металл, детище. Ну, не свое, конечно, отдела. Какое уж тут свое, если даже на станкостроительных заводах — от первой оси на ватмане до готового металлорежущего станка проходит пять — семь лет. А там, где изделие покрупнее, посложнее, — все десять — пятнадцать. Даже те, кто своему предприятию годами один и те же чертежи «погаечно» перерабатывает, калки перетирает, вопросы решает на всех стадиях: аванпроекта, эскизного проекта, серийной документации, — к тому времени, как детище появится, уже и технические-то мыслят на другом, более высоком уровне. Вроде и родилось долгожданное дитя, а морального удовлетворения нет. Тут только материальные стимулы подогревают душу — премии.

А бывает так. Рассказывал мне один начальник конструкторского сектора. За пятнадцать лет грустный итог — выполнено восемнадцать работ, и все только на бумаге. Даже архив их вряд ли сохранит. Тут, конечно, свои нюансы. Работы были поисковые, пионерские, но оказалось, что сам выбор направления для конкретного сектора был неудачен. Другие же подразделения пошли верным путем, и «фирма» за положенный срок такую машину сработала, что и премий самого высокого ранга удостоилась и почестей получила достаточно. Но какова же моральная компенсация тем, кто, получая задание, мечтал, строил планы, — инженер-конструктор ведь личность, по существу, творческая?! А его творчество — в корзину.

Для производственника, который воплощает замысел конструктора в металле, «человек за кульманом» тоже не авторитет. Исходят ли от него ошибки, которые потом согласовывать-пересогласовывать, или новые идеи — все равно морока. Кому это нужно, когда все в цехах настроено и отлажено на определенную технологию?! Изготовление опытных образцов редко у кого вызывает энтузиазм. А без них, как известно, до серии не дойдешь. Помню, однажды, напутствуя меня перед командировкой на завод, мой руководитель, человек в общем-то с юмором, довольно серьезно сказал: «Надеюсь на твоё обаяние. Уговори, чтобы поставили металл вовремя». Однако, увы, обаяние срабатывало далеко не всегда.

Наши же встречи с друзьями-коллегам утратили былой оптимизм. Нельзя все время вспоминать да вспоминать. На это будет соответствующий отрезок времени. Мои ровесники уже подошли к той черте, когда надо как-то определяться. Dorосли, как говорится, до потолка. Оклад ведь самого того что ни на есть одаренного инженера от среднего отличается процентов на 25. Потому многие ушли из конструкторов — столь «неперспективной сегодня», да и не престижной профессии. Но многие и остались. Только на разговоры о работе как бы наложено «табу». Что там говорить, когда все известно!

Нарушение «традиций»

И вот Иваново. Никогда бы не предположила, что именно этот текстильный город, выросший из села Иванова и Вознесенского Посада, так западет в душу. Всколыхнет давно, казалось бы, угасшие страсти, раздумья, страхи перед

крутым поворотом судьбы — уходом от того, к чему была подготовлена, обучена, что мнилось делом всей жизни.

Знакомая с Ивановским станкостроительным производственным объединением имени 50-летия СССР, я не задавала себе вопроса: хотелось бы мне в здешнем КБ встать за кульман? Я думала о том, справилась ли бы я. Здесь все не так. Все не традиционно. Где это видано сегодня, чтобы первым человеком на заводе был конструктор, чтобы в конструкторы рвались, чтобы любое сотрудничество с КБ расценивалось не как несение повинности, а как честь? Мне говорили, что в перспективе конструкторское бюро должно вырасти вдвое. Задержка только за площадями. Уже сейчас тесновато. Только за площадями! Других проблем нет. А на всех московских предприятиях требуются конструкторы, конструкторы, конструкторы...

Что здесь, в текстильном крае, их избыток? Или условия особые? Нет — скажу сразу. Очень трудно с жильем. Семьи молодых конструкторов ютятся в общежитиях. Годами ждут очереди на комнату, еще больше — на квартиру. Но не только не бегут с завода, а, наоборот, постепенно и друзей сюда привлекают. В 1977 году окончил, к примеру, Ивановский энергетический институт Сергей Красильников. А сегодня почти все ребята из его группы перешли на станкостроительный. Хотя рядом завод автоскранов, другие предприятия.

— Почему?

— Проблемы на два порядка выше.

Заметьте, не зарплата — проблемы.

Ивановский завод расточных станков был создан двадцать пять лет назад, как и несколько других предприятий в этом крае, чтобы покончить с демографической диспропорцией. Ни о каких высоких материях речь не шла. Загрузили производство выпуском станков по готовой технической документации. Но где-то плохо рассчитали. Вышли лишь на половину «вала», а расточные станки этого типа уже никому были не нужны. Тогда министерство «сплывило» на незагруженные мощности все подряд из Коломны, Ленинграда, Одессы. И завод захлебнулся.

Приход в 1970 году нового директора заводчане вряд ли связывали с какими бы то ни было крутыми переменами. Да и Владимир Павлович Кабаидзе, по мнению многих, повел себя странно. Чуть ли не на второй день после водворения в директорское кресло пошел по отделам и цехам читать лекции...

Рассказывал Владимир Павлович о проблемах, весьма далеких в тот момент от заводской действительности. Речь шла о самом высоком уровне современного станкостроения, о его перспективах — станках с числовым программным управлением (ЧПУ), обрабатывающих центрах, гибких системах механообработки, которые отечественная промышленность тогда не выпускала.

Почему такой отрыв от реальности? Стоит ли беречь души, измученные постоянным невыполнением плана по обычной номенклатуре? Кабаидзе был убежден: стоит. Он сразу предложил создать конструкцию станка совершенно нового класса. Только такой рывок мог, по его мнению, вывести завод из тупика, да еще в невиданно короткие сроки. Это выглядело сказкой, фантастикой. Кое-кто счел просто авантюризмом. Но нашлись энтузиасты, инженеры, которые давно тосковали без настоящего инженерного дела.

О том, что же это такое — обрабатывающий центр — и почему именно с ним связано будущее

нашего машиностроения, думаю, надо объяснить поподробнее.

Принцип устройства такого агрегата ломает традиционные представления об изготовлении сложной детали. Заготовка не проходит обычный путь: от токарного станка к сверлильному, потом к фрезерному, к шлифовальному... Все делает один универсальный центр — меняется лишь обрабатывающий инструмент. Сверла, фрезы, резцы по команде ЭВМ (технологическая программа предварительно набивается на перфоленту) поочередно вставляются в шпиндель и подводятся к обрабатываемой детали. Смена деталей и инструмента производится при этом автоматически и занимает считанные секунды.

Обрабатывающий центр в пять-шесть раз снижает трудоемкость изготовления деталей. Примерно во столько же раз уменьшается число станочников. Особенно это важно для мелкосерийного, экспериментального и штучного производства — можно безболезненно, сколько угодно раз перестраивать технологию. Такие центры позволяют создать так называемые участки «безлюдной технологии»: роботы подают заготовки к станкам, а затем отправляют детали на склад готовой продукции.

Но по силам ли было вечно отстающему предприятию совершить такой рывок? Да еще на голом месте. Да еще и по собственной инициативе — план-то ведь никто снимать и корректировать не собирался. Действовала поначалу только договоренность директора с министром и твердость самого Кабадзе: не мешайте, дайте попробовать, не отягчайте жизнь лабиринтами все оттягивающих согласований.

Директор убеждал: задача по силам, если нацелить каждого работника на конечный результат. Более того — путь этот виделся ему единственно возможным. Нельзя мобилизовать коллектив, считает он, на выпуск устаревшей продукции, в ценность которой никто не верит. Нужны широкие, масштабные задачи, полное доверие к человеку, его возможностям.

Инженерам, конструкторам была поставлена вдохновляющая цель: не подкачать в своем кровном деле. Не ударить в грязь лицом. Изготовить в кратчайший срок машину, способную конкурировать с известными зарубежными фирмами.

И первый обрабатывающий центр был создан в 1976 году — через четыре месяца от начала проектирования. Это, конечно же, был штурм. Но штурм особого рода. Без традиционного давления администрации, упрасиваний и умасливания. Люди «штурмовали» ради себя, ради возможности в скором будущем заниматься делом, достойным настоящих специалистов. Этот стимул оказался воистину мощнейшим для лучшей части заводских инженеров, конструкторов. Другие — люди ленивого мышления, случайно избравшие себе эту профессию или уже давно потерявшие вкус к техническому творчеству, перешли на соседние предприятия. А те, кто остался, сумели доказать: первый удачный станок не случайность. Сегодня Ивановское станкостроительное производственное объединение имени 50-летия СССР ежегодно создает и запускает в серию по крайней мере одну новую уникальную модель. В то время как на родственных станкостроительных заводах подобное внедряется пять—семь лет.

Неделю пробыла я в Иванове. Встретилась с более чем двумя десятками специалистов. И всем я непременно задавала один и тот же вопрос. Не скрою, на меня смотрели с недоумением. Дался-де мне этот конструктор, его роль, положение, престиж? Давно всем ясно: куда без него!

Я видела, чувствовала: здесь как-то не так, не обычно. А собственно говоря (тут же одергивала себя), при чем здесь обычай? И почему надо считать, что десятилетиями сложившийся опыт единственно верный? Разве состоялся бы ивановский феномен, продолжай завод работать по накатанной схеме?

Здесь с самого начала ставка делалась на молодежь. Текстильный край не богат опытными конструкторами. Однако главное не в этом. Главное в том, что для нетрадиционного пути нужны были люди, способные нетрадиционно мыслить. Пусть у молодежи нет нажитого годами опыта скрупулезного «погаечного» проектирования. В новом деле такой опыт зачастую только помеха. Зато молодости свойственна фантазия, полет мысли. Пусть порой это рождает «сумасшедшие» идеи. То, что в другом месте задушили бы, не задумываясь (ведь не в бирюльки играем: производство!), здесь всерьез обсуждается. Порой отбрасывается. А чаще принимается. Не в этом ли одна из причин того, что сегодня станки с прикрепленной на самом видном месте литой табличкой «ИВАНОВО» имеют в два раза меньше деталей, чем обычные расточные. С этим прямо связано значительное уменьшение расхода металла, повышение надежности и качества.

Молодежь и по сей день — главное действующее лицо объединения. Это старательно подчеркивается. То одна, то другая разработка объявляются комсомольско-молодежной. Об этом информируют плакаты, лозунги, графики хода работы. Более опытные специалисты следят за успехами молодежных бригад, поощряют за удачные находки, приходят на помощь в случае сбоя.

Надо сказать: творческому росту молодого специалиста, развитию его инициативы, самостоятельности во многом способствует принятый в объединении комплексно-совмещенный метод конструирования, в котором одна из главных ивановских «изюминок».

Традиционно, как нас учили, как это принято и считается нормой, — конструкция создается последовательно, поэтапно. Ведущий конструктор, воплощая главную техническую идею, постепенно переходит от одного блока к другому. Остальные члены его бригады, как правило, заняты детализированием — вычерчивают различные фланцы, гайки, заглушки, валы и т. д. А когда из листов ватмана составляется настоящая гора, начинаются затяжное согласование и корректировки. С технологами всех мастей — металлургами, сварщиками, сборщиками.

На Ивановском станкостроительном разбивают конструкцию будущего станка на автономные блоки и разрабатывают их параллельно. Ведет каждый отдельный блок обычно молодой специалист. И ничего, справляется. И хотя порой сегодня поругивают высшую школу, которая, конечно же, должна готовить своих питомцев так, чтобы они быстро осваивались в условиях реального производства, все же необходимые инженерные знания она дает. Важно ими рационально распорядиться. И если время, отведенное на преддипломную практику и диплом, не прошло даром, не превратилось лишь в вычерчивание необходимого «листажа» для получения заветной «корочки» (чем в свое время пришлось заниматься нам), то его вполне достаточно для такого освоения. В этом убеждает ивановский опыт.

Я уже упоминала об инженере Сергее Красильникове, «перетаскивавшем» на завод почти всех ребят из своей группы. А вот как складывалась «карьер» самого Сергея.

На преддипломную практику он попал в отдел обрабатывающих центров — в период самого бума. Приходилось работать наравне со всеми. Но Сергей

не сетовал. Отдел один из самых перспективных! А диплом дома вечерами делал. Став полноправным инженером, уже не мыслил себе иного рабочего ритма, кроме самого напряженного. Когда удавалось найти какое-нибудь необычное решение — пусть отнюдь не глобального характера, — начальник отдела Гурьев не забывал отметить, сказать доброе слово.

Через год Сергея перевели в цех — дорабатывать шесть станков. А в 1979 году направили в Милан, на выставку, стендистом. Из Италии Красильникову пришлось ехать в ФРГ, монтировать ивановский станок, который приобрела одна немецкая фирма. Потом еще три станка подоспели. В общем, год пробыл Сергей в затянувшейся загранкомандировке. И с делом справился столь успешно, что никто из «фирмачей» не мог поверить — парень совсем недавно оставил вузовскую скамью.

Еще одна особенность, разрушающая традиционное представление о конструкторской работе. На заводе не таскают ворохи чертежей по инстанциям для согласования. Все специалисты работают вместе. Ведутся еще только предварительные наброски, а конструкторы и технологи собираются и решают, как лучше выполнить поставленные задачи.

— Так приказал когда-то директор. Устно приказал. Друг другу помогать, — объяснил мне как само собой разумеющееся один из представителей обширного клана технологов, Алексей Федорович Езенов.

А я невольно подумала: сколько у нас письменных приказов остается без внимания? А тут устно приказал, и все идет как по маслу. Странно? Да. Если мыслить все теми же привычными категориями. На заводе же все поставлено то ли с ног на голову, то ли с головы на ноги. Но самое интересное: это не вносит никакой путаницы, напротив, обычную путаницу ликвидирует. Видимо, потому и стала эта практика нормой, законом жизни. Ивановцы видят здесь единственный способ предельно сжать все сроки, обеспечить небывалый ритм.

И, наконец, еще одна важная деталь в работе конструктора: завод отказался от опытных образцов. Такой шаг налагает на разработчика огромную ответственность. Ведь всякое бывает при проектировании — огрехи, промахи, просчеты. Как обычно в подобных случаях рассуждают? Ерунда! На опытном образце доведем. Один-то станок и довести можно и списать, если не доводится. А что делать с партией? Десять — двадцать машин (обрабатывающий центр иначе не назовешь) не выбросишь — годовой план под корень полетит.

Что производству выгодно, когда любая работа выполняется набело, думаю, всякому понятно. Но, казалось бы, зачем это конструктору? А вот зачем. На год, а то и два быстрее можно увидеть плоды своего труда в металле, да и «бумажный поток» сокращается. Вместо «тренировки» в перечерчивании и перетирании документации конструктор с самого начала разработки уже имеет дело с реальным производством. Сборку каждого первого образца ведет сам. И, значит, из первых рук, как говорится, получает он оценку своего детища. Сам видит, удобно ли те или иные гайки при сборке закручивать, продумана ли транспортировка и упаковка.

— То, что мы приобрели за десять лет, молодые сегодня успевают за три года. Да еще как! Ведь за это время каждый из них 3—4 машины создаст. Это слова главного инженера СКБ Станислава Евгеньевича Гурьева, человека близкого мне по возрасту, одного из тех энтузиастов, кто был у истоков создания обрабатывающих центров.

Надо сказать, поначалу встретил он меня весьма иронично. Работы полно, а тут журналист за журна-

листом. К тому же я пристаю со своими наболевшими вопросами о конструкторах. Вроде не о том спрашиваю. Ведь завод вышел сегодня на невиданные рубежи. Большая группа его специалистов во главе с директором получила Государственную премию СССР 1983 года. Потому, выходит, журналиста должен интересовать перечень достижений, а не дела и заботы рядового конструктора. И Станислав Евгеньевич ищет способ объяснить суть дела как можно проще, доходчивее и в то же время покороче.

— Вы пальто в ателье заказали. Имеет значение, когда вам его сошьют? Через пять лет или завтра? Так и конструктор. Психологически он настроен на скорейшее воплощение своего замысла в металле. В этом гарантия, что станок, над которым он работает, будет воистину технической новинкой, а не устареет морально еще до рождения.

Настроен-то всякий конструктор. Это мне известно. Ведь когда еще только первую осевую на листе проводишь, перед глазами не линии и окружности на чертеже: грезится уже готовая машина. Только, к сожалению, грезы порой грезами и остаются.

Естественное единство

В Иванове нашли способ из благих пожеланий перевести в практику известное, на поверхности вроде бы лежащее соображение: конструктор должен быть накрепко и постоянно связан с производством. Эффект при этом получается двойной. Во-первых, меняется сам характер труда конструктора — меняется ради того, чтобы производство обрело динамичность. А динамичность необходима для ускоренного воплощения конструкторской мысли в реальные машины, станки, оборудование.

Этого-то естественного единства и добились в Ивановском станкостроительном объединении. Оно и делает здешнее производство небывало мобильным.

Скажем, в объединении нет никаких проблем с изготовлением деталей. Для этого создан ТОПО — технологический отдел программной обработки, где в единый «кулак» собраны 130 станков с программным управлением.

Здесь есть импортные станки самого высокого технического уровня — других руководство просто не приобретает — и свои ивановские — «рыжие». Так их называют за ярко-оранжевую окраску. Дело в том, что один станок из каждой уходящей заказчику серии обязательно остается на заводе. Заведенный раз и навсегда порядок дает конструкторам возможность постоянно следить за эксплуатацией своего питомца, выявлять все слабые места, учитывать и устранять недостатки в следующих партиях, следующих моделях.

— Объединением изготовлены универсальный переналаживаемый инструмент и универсальная оснастка, — объяснил мне начальник цеха Владимир Яковлевич Максимов. — Программу работы станка и необходимый набор инструментов для заданной детали определяют инженеры-технологи цеха. Именно к ним и несет еще на «белке» разработчик чертеж детали. Несет, чтобы предусмотреть ее максимальную технологичность, чтобы как можно производительно ее обработать.

Максимальная концентрация позволяет добиться высокой маневренности производства, четверо сократить обычный объем подготовки выпуска деталей для нового станка.

Мобильность во всем. Все продумать до мелочей, все учесть, поставить на индустриальную основу.

В тот решающий для завода период — подготовки к выпуску первого обрабатывающего центра, когда, казалось, все было продумано и обосновано, — сомнения вызывали возможность модельного цеха. Известно, без своевременно изготовленных отливок станок не создашь.

— Вызвал нас с главным металлургом директор и спросил напрямик: можем ли мы получить корпусные детали не за три-четыре месяца, как обычно, а быстрее? — вспоминает бывший начальник модельного цеха, а ныне заместитель главного инженера завода Николай Павлович Топорков. — Главный металлург развел руками, а я говорю: почему нет? Можем! Для тех первых ИР-500 и модели и отливки корпусов сделали за неделю. Я ведь после окончания института долгое время работал модельщиком. За те годы, что покрутился в рабочих, четко в голове сложилась совсем другая схема организации модельного производства. Потому вопрос Генерального врасплох не застал...

В реконструкции модельного производства ярко проявляется общая установка, с которой часто приходилось сталкиваться в Иванове: каждый должен заниматься своим делом.

Управление модельным цехом осуществляет теперь служба бюро планирования. Селекторная связь в бюро обеспечивает оперативное решение вопросов со всеми подразделениями цеха и с литейкой — никаких лишних хождений.

И вот результат: за полтора-два месяца модельный цех обеспечивает оснасткой не только свое производство (а это значит, что без какого-либо особого обаяния и обивания порогов конструктор к концу проектирования узла уже имеет отливку основной и самой трудоемкой детали станка — корпуса), но и выполняет заказы других предприятий на несколько миллионов рублей в год..

Рост по горизонтали

Теперь этот темп стал привычным: два-три месяца на узел, не больше года на станок. Еще идет в производстве новая модель, а уже думают о более перспективной. Изучают техническую, патентную литературу, проспекты. Их привозят из командировок, с выставок. Красочные проспекты передовых в области тяжелого станкостроения фирм я видела на столах практически всех конструкторов. Они, как мне пояснили, способствуют осмыслению тенденций развития в этой сфере производства. Изучение хода технической мысли в разных странах позволяет увидеть свои и чужие ошибки, точнее сфокусировать направление поиска, убедиться в перспективности своей идеи, развить и конкретизировать ее. И тогда уже вставать за кулисами. И «выкладываться», не считаясь со временем.

Естественно, возник у меня еще один немаловажный вопрос. Если за три года конструктор наживает багаж наших десяти лет, то к чему же ему дальше стремиться? Должностей начальников секторов, отделов ведь всем не хватит. Да и заняты они еще совсем не старыми специалистами. Тогда что, «потолок»? Оказывается, такого понятия в Иванове нет. Здесь, как выяснилось, не гонятся за категориями. Не категории — мерило значимости инженера. Ростом по вертикали — от категории до категории, а дальше или «стоп» или уход на административную, или снабженческую стезю, да мало ли еще поприщ на свете (где только сегодня не повстречаешь человека с инженерным образованием!) —

специалисты мало озабочены. Всерьез размышляют об интересной работе, о новой конструкции, ее перспективности. И способствует тому твердо принятый на заводе курс на рост специалиста по горизонтали. Возможность заниматься интересным делом, а также получать за свою работу сполна связана не с категориями и должностями, она зависит от конкретного трудового и творческого вклада конструктора. Здесь начисляют надбавку и за разработку новой техники, и за снижение металлоемкости, и за снижение трудоемкости, и за экспорт, и за Знак качества, и за аккордную работу. Словом, оплата напрямую привязана к качеству работы, к конечному результату. Вот и получает конструктор, допустим, второй категории 300—350 рублей в месяц. При соответствующей работе, конечно, а не за отсидку. И нет у него желания никуда бежать. Напротив, растет тяга к повышению профессионального мастерства.

В объединении ищут и находят свои пути морального и материального стимулирования наиболее способных конструкторов. Так, в сентябре 1983 года ввели новую должность «главный конструктор проекта». Должность временная, на период проведения отдельных ответственных работ. И надбавка персональная к окладу полагается. Очень ценят молодые специалисты такое доверие. Тут я их хорошо понимаю. Вести проект, который требует согласования с заказчиком, координации работ, принятия самостоятельных решений, обычно удел главного конструктора. Такое, пусть временное, ощущение себя «главным» — один из путей роста по горизонтали.

...Размышляя над увиденным и услышанным в Иванове, я поняла: самый важный секрет успеха объединения в том, что знаменитую триаду — сочетание интересов государства, предприятия и отдельного работника, о которой столько говорят, здесь в значительной мере удалось воплотить в жизнь. И еще: мы много говорим о том, что в век научно-технической революции промышленность должна стать экспериментальным цехом науки. На словах это красиво. На деле же все далеко не просто. Есть вечное противоречие. Производство, как это ни печально, все же бесчисленное повторение одних и тех же операций. А конструктор, представитель творческого сословия, в вечном поиске нового, в вечной тяге к совершенству. И лишь только, как в данном случае, когда конструктор стал главной фигурой производства, появилась возможность эти противоречия примирить. Производство обрело динамичность, перестановка акцентов произошла как бы сама собой. В этом, на мой взгляд, проявляется суть нового социального явления — слияния труда конструктора с производственным. Все стало едино, все свое. Главная цель — конструкция, станок, который должен как можно скорее увидеть свет.

Могут сказать, что Ивановское станкостроительное — явление уникальное. А в чем, собственно, его уникальность? В том, что пошли на риск, долгие годы работали без премий, но добились: сняли-таки план на устаревшие, неперспективные модели. Но ведь это нормальные вещи! Если бы каждое предприятие предложило, подобно ивановскому, свои варианты замены, то исключением давно стали бы те, кто выпускает устаревшие станки, машины, оборудование, кто из-за лени мышления и страха перед новым наводняет рынок архаическим валом.

В ходе развития НТР, когда идет ориентация на самый высокий технический и научный уровень разработок, каждый завод, каждое производственное объединение должно быть уникальным. Это веление времени. И другого пути быть не может.



ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ

Судьба свела нас трудной зимой 1941 года в гулких, пустынных, промерзших коридорах нашего большого правдистского дома, под крышей которого тогда собрались «оперативные группы» столичных газет. Редакции были эвакуированы на восток, но газеты продолжали выходить из дня в день, хотя наш дом сотрясало от взрывов и все больше стекол в окнах приходилось заменять фанерой: «Правду» гитлеровцы бомбили ежедневно и еженощно.

Так вот, в одну из этих ледяных ночей мы и встретились впервые — я руководил тогда отделом фронта «Комсомольской правды», а проворный чубатый Саша Устинов — ни у кого еще не поворачивался язык назвать его Александром Васильевичем — мотался по московским пригородам с «лейкой» в руках в качестве военного корреспондента «Правды». Из-под телогрейки на собачьей меху выглядывали зеленые петлицы гимнастерки без всяких знаков различия: врачи отказали ему в приеме в армию по болезни, как «белобли-летчику», но их запрет нисколько не мешал этому отчаянному человеку с утра до вечера находиться на переднем крае, а потом мчаться сломя голову в редакцию, проявлять свои пленки, а пока они сохли, писать репортажи об увиденном. «И швец, и жнец, и на дуде игрец», — одобрительно говорили о нем в военном отделе, а фамилия Саши появлялась из дня в день в «Правде» и под снимками и под корреспонденциями.

Неуемный газетчик, Устинов за войну успел сделать многое. В его архиве сохранились тысячи снимков: и то, как советские солдаты воевали под Москвой, и то, как они освободили Польшу, и то, как пошли на Берлин. Обратите внимание: он успел ворваться с танкистами Рыбалко в Берлин, снять встречу с американцами на Эльбе, вернуться в Москву и сфотографировать праздник Победы ранним утром 9 мая 1945 года на Красной площади — война уже окончилась, и это был последний Сашин снимок, посвященный ей.

А потом мы встречались на разных меридианах и на разных широтах. И чего только он не наснимал, с кем только не встретился, какие события не повидал! Глянешь на широкую панораму его фотографий, и сердце радостно ёкает: в счастливое все же время жило, трудилось и воевало наше поколение.

Большой творческий путь прошел боевой фоторепортер «Правды» Александр Устинов. Более полувека он состоит в рядах Коммунистической партии Советского Союза. Ему, ветерану партии, был вручен знак «50 лет пребывания в КПСС».

Пятьдесят лет он сотрудничает, печатается в «Правде». В последние годы Александр Устинов наконец занялся разборкой своего поистине огромного, очень ценного фотоархива. В результате этой кропотливой работы родились девять замечательных альбомов, на страницах которых размещено около 4000 фотографий. Их с полным основанием можно назвать фотолетописью нашей Советской страны с тридцатых годов и до нынешнего дня.

Юрий ЖУКОВ, политический обозреватель
газеты «Правда»

На снимках: -

23 июня 1941 года Добровольцы в Октябрьском райвоенкомате Москвы

Бойцы рабочего батальона Ленинградского района Москвы — инженер В. П. Иванов и машинист метрополитена Д. С. Дьячков

1943 год. На огневых позициях.

9 мая 1945 года. Праздник Победы на Красной площади в Москве.







ПАМЯТЬ

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ...

Елена СТЕМПКОВСКАЯ,
связистка, Герой Советского Союза.

Студентка Ташкентского педагогического института Елена Стемповская одна из первых в институте ушла добровольцем на фронт. Просилась в автоматчицу, попала в связисты. В июне сорок второго вблизи хутора Зимовейна Курской области ее подразделение было окружено фашистами. Лена успела в упор расстрелять троих. Ее схватили, долго и страшно пытали. Она не сдавалась, не склонилась... Остались ее письма...

Ташкент, родным.

1.4.42 года.

Милые мои Шурочка и Алеша! С фронтовым комсомольским приветом. Получила от папы замечательное, поднимающее дух письмо. Пусть будут уверены, что трусом и паникером я не вернусь домой. Это и вы скоро услышите или увидите.

Пишу под влиянием вчерашнего вечера, который был проведен в обществе нашего замечательного бесстрашного комиссара и нашего славного боевого командира — начальника связи. Трудности боевой жизни были почти забыты, музыка «Венского вальса» и «Дождь идет» уносила нас далеко-далеко отсюда. К вам... Мы как будто находились в семейном кругу. Пили чай с шоколадом, танцевали, пели!..

Милые мои! Я нашла свое место в строю, возможность защищать любимую священную Родину...

Целую. Ваша Лена.

23.4.42 года.

Поздравляю с 1 мая! Добрый день, любимый братик, с горячим весенним приветом с фронта!

...Лес уже начал одеваться в зеленое покрывало. Так красиво и хорошо было бы, но проклятая война дает себя чувствовать. Скоро-скоро эти современные гунны покатаются, понесутся назад с земель Белоруссии и Украины.

Скоро начнутся горячие денечки.

Лена.

Трудными дорогами войны шел наш народ
к желанной победе.

Когда читаешь письма фронтовиков,
эти сугубо личные документы военной поры, — война
открывается во всей своей страшной наготе.

Смерть, разруха, пепелища, потеря близких,
бесконечная разлука, необходимость ежедневно,
ежечасно нести смертельную солдатскую ношу.

Вот что она такое.

И понимаешь,
сколь прочным должно было быть
сложение человеческих сил,
чтобы не просто выстоять,
а отогнать войну от родного порога. **ПОБЕДИТЬ!**
Семь фронтовых судеб пройдут сегодня перед вами.
Хлебороб, инженер, учитель, студенты, школьник.

Люди разных возрастов,
темпераментов, интересов, взглядов на жизнь.
Но посмотрите, как истово, с какой непреклонностью,
упорством они — каждый по-своему
— приближали Победу.

Как велико было их желание увидеть мир —
для своего дома и для всей земли.

Не всем удалось дожить до Победы.

Благодаря родным, близким,
сохранившим фронтовые письма,
мы снова слышим сегодня их живые голоса.

12.5.42 года.

Горячий привет вам с фронта от Лены!

Мы самым решительным образом ведем наступление. В перерыве боя пишу письмо. Еще только звезды поблекли на синем куполе, а наши славные пехотинцы, заряженные единым порывом горячей мести, двинулись на укрепления противника. Враг вел шквальный ружейно-пулеметный огонь. Нашим пехотинцам помогли минометы и артиллерия. Фрицы бежали. Взошло красное-красное солнце, согревая сквозь сосны животворящими лучами нашу землю. Пели соловьи. Но... вот приказ занять другие позиции. Мы двинулись к лесу. Окопались и опять пошла напряженная сосредоточенная работа... Сейчас сообщили радостную весть — деревня А. — наша.

Вот и все.

Целую. Лена.

16.5.42 года.

Дорогие мама, папа и Ленечка!

...Это письмо пишу я из занятой уже нами деревни. Бои идут за следующие населенные пункты. Вот не遠далеке разорвался шрапнельный снаряд. Неприятный звук, черт бы его побрал!

Вчера произошел интересный случай. Сняли с чердака фашиста с радиостанцией. Он корректировал огонь немецких батарей. Вот ведь гад, куда забрался. Как видите по письму, жизнь моя отличная, здоровье как никогда. Движемся на Запад. В этом году я обязательно вернусь домой. Сорок второй — это последний год существования гитлеризма на земле.

Целую. Лена.

18.5.42 года.

Здравствуй, мой дорогой атаман Ленечка!

Пишу письмо, а вокруг меня в кустах щебечут и поют птички. Как хорошо. Посмотрела я вниз — лощина, покрытая небольшими деревцами. Все, даже эти деревца, хотя бы сказать, что жизнь должна быть хорошей, счастливой. Но... Треск выстрелов не позволяет забывать о реальной обстановке. ...Немного осталось до конца боя. Лена, нисколько нет страха, тревоги, ужаса. Только по выражению лиц, которые очень сосредоточены, по быстроте движений бойцов видно, что готовится что-то серьезное.

Будь уверен, Ленечка, что в этом году, в скором будущем, мы встретимся с тобой. Я тебе тогда об очень многом расскажу...

А пока до свидания!

Целую тебя крепко-крепко.

Лена.

19.5.42 года.

Здравствуйте, мои милые!

Движемся на Запад. Уничтожаем на своем пути фашистов. Сегодня иду на самую передовую линию давать радиосвязь! Заменяю героически погибших товарищей. Заверяю вас, мои дорогие, что даже в самую тяжелую минуту не струшу, а буду делать так, как этого требует наша армия, ленинский комсомол, как этого требует Родина.

Еще встретимся! Если не будете долго получать от меня писем, значит, нет возможности написать вам, нет времени.

Конечно, в 1942 году будем вместе. Верьте в счастливое будущее!

Читая это письмо, думайте, что я с вами.

Остаюсь крепка, здорова, ваша дочь Лена.

В июне сорок второго в семью Стемповских вместо обычного Ленинного пришло письмо, написанное незнакомым почерком.

Здравствуй, дорогая и славная мать, родившая и воспитавшая героиню Лену!

Вы не знаете нас. Наша комсомольская семья очень большая. С вами нас роднит подвиг вашей Лены... Любой из нас с радостью назовет вас своей матерью.

...Мы росли в свободной советской стране, занимались мирным трудом. Враг вторгся в нашу Родину, залил кровью Белоруссию, Украину, сейчас рвется к славному Сталинграду, к великой русской реке Волге. Но не бывать этому. Мы не пропустим врага на своем участке... Каждый из нас способен отдать жизнь за Родину, но не уступит врагу более ни клочка советской земли.

Ваша дочь Лена, окруженная со всех сторон фашистами, продолжала выполнять свой долг. Она сама убила трех палачей и умерла героем.

Ее подвиг и смерть поднимает комсомол на новые боевые дела! Ее память мы увековечим постройкой танковой колонны имени Елены Стемповской. За несколько часов мы уже собрали 23 тысячи рублей на ее постройку. Никто не остался в стороне.

Во всех наших частях проходили митинги, посвященные памяти Вашей дочери...

Клянемся отомстить.

От имени комсомольцев части

НОВОХАЦКАЯ Люба, КУЗЬМЕНКО Вера, Александр ШВЕД, КОНОВАЛОВ Иван, Николай ЛОСЕВ, Григорий ШУМЯКОВ, Петр ПЕТРЕНКО, Николай СЫСОЕВ.

Иван ГУСЕВ,
танкист.

Биография Ивана Гусева коротка. Учился в Пятигорском пединституте. С самых первых дней войны мечтал попасть на фронт, воевать начал после окончания танкового училища. Участвовал в знаменитом танковом сражении под Курском в Прохорове. Своим горящим танком протаранил «Тигр».

Орджоникидзе, аул Хусаут.

1.4.43 года.

Здравствуйте, дорогие дедушка и бабушка!

Три дня назад я был самым счастливым человеком на земле. После двенадцати месяцев молчания с вашей стороны наконец-то получил письмо. Узнал, что в семье нашей все живы, здоровы.

И я жив, здоров. Работы и заботы много, свободного времени почти нет. Все уходит на хлопоты о машинах. Иногда забываешь число и день. Но зато прекрасно помнишь, что вышло из строя. Все свое умение направляешь на устранение неисправностей.

Ложась поздно вечером спать, чувствуешь страшную усталость во всем теле, но знаешь, что выполнил большую и трудную работу. И сердце радуется, и чувство особенное — гордости и внутреннего удовлетворения.

Ваш Иван Гусев.

20.4.43 года.

...Горячий привет с фронта. Дорогие родные! Решил снова написать вам маленькое письмо. У нас самая настоящая весна: тепло, зеленеет травка... Весна действует на человека, и вот вечером в голове моей бродили хорошие мысли, и мне хотелось передать их вам на бумаге. Хочется рассказать о замечательных людях, бойцах, командирах: молодых, дружных, энергичных. Трудности, лишения, борьба сплотили их в единый коллектив. Здесь люди разных национальностей: русские, мордва, евреи, грузи-

ны, азербайджанцы, украинцы. Когда я пишу эти строки, рядом со мной сидит мой друг, тоже бывший студент, и пишет письмо матери. Возьмем его, чем он знаменит? Обычный командир, скромный, простой. Беру один случай.

Весна, снег тает, вода, грязь. Нас пять человек, машина неисправная, и мы ее не знаем — взяли в бою. То и дело капризничает. За 12 часов проехали 25 километров. Мучились целый день, грязные, голодные, сердитые. Не было у нас даже куска хлеба. Отстали от части. Вечером танк завяз в грязи, гусеницы слетели, мотор не работает. Он имел полное право нас оставить, но не сделал этого. Возился со мной 12 дней. Что мы пережили, не опишешь. Работая день и ночь с танком, друг заболел, и я обошел полсела, чтобы достать ему кружку молока.

...Беспокоит меня неизвестность. Ничего не знаю пока об отце, матери, братьях, сестрах. Соскучился, не был в родных местах три года. Хотя бы мельком взглянуть на них...

Иван.

15.6.43 года.

Дорогие родные!

Долгожданное письмо получил. Ждал его не больше не меньше, ровно год! А ждал-то как? По-настоящему. Осенью, в грязь, в морозные январские ночи, в теплые весенние вечера.

Пришлось вам много вынести, пострадали вы вдоволь.

Что могу сказать о себе? Учился, закончил. Присвоили мне звание лейтенанта. Много путешествовал по нашей стране. Совершал марши на автомашинах всех типов, пешком мерил просторы Тихого Дона, ехал на поезде и пароходе. И чем больше путешествовал, тем яснее становилось мне, что Русь непобедима, просторы ее необъятны, и нету силы такой, чтобы их покорить. Не встретишь и народа такого нигде в мире, таким может быть только наш народ!

...Вот под Сталинградом лейтенант-танкист 17 раз ходил в атаку... 2 бойца с «максимом» преградили путь батальону немцев... Сибирская дивизия полковника Гуртьева выдержала страшные удары артиллерийских орудий, тысяч танков, десятков тысяч гитлеровцев... Да, такая страна непобедима, и люди ее творили и будут творить чудеса! Замечательная будущность у этой страны, великие силы у этого народа! И дай боже развернуться им полностью.

Ваш Иван.

20.6.43 года.

Здравствуйтесь, дорогие родные! Подряд пишу вам третье письмо. Хочется поговорить об одной вещи. В сентябре начнутся занятия, и может так статься, что Таня и Федор опять останутся дома, вне учебы. Это не годится. Они и так много пропустили. Трудно, конечно, вам будет, папаша, но не оставаться же им с семилеткой?! Среднее образование в наше время нужно как воздух. А как после войны будут цениться специалисты?! Они могли бы учиться и на учителя...

Ну, так вот, продайте мое пальто, костюм, рубашки, продайте все. И, возможно, я сумею немного помочь вам и деньгами...

Здесь жара невыносимая. На базаре видел огурцы. Вишня, малина поспели уже. Идет уборка урожая. Через два дня ровно 11 месяцев моей армейской жизни. Как быстро летит время. Вспоминаю дом, жареную картошку на постном масле. Какое замечательное блюдо.

Пишите обо всем. Иван.

Здравствуйтесь, многоуважаемые родители Гусева Ивана Алексеевича!

Ваш сын Иван Алексеевич, наш любимый друг, был лейтенантом-танкистом. Был он смел, хладнокровен, с друзьями всегда весел. А когда вступали в бой с фашистами, Ваня был суров и все свое знание и умение направлял на уничтожение захватчиков.

В жестоком бою 12.7.1943 года в районе с/хоз. Октябрьский Прохоровского района экипаж лейтенанта-комсомольца Гусева Ивана пошел в атаку на врага, так же как и десятки других наших машин. Он уничтожил два танка и десятки солдат и офицеров противника. Враг дрогнул, началась паника. Передние части противника отступили, но на поле битвы выдвинулись тяжелые танки «тигры». Мы, танкисты, все как один были готовы к этой встрече. Начался танковый бой. Это было в 11 часов дня. День стоял жаркий, безоблачный. Поле покрылось стоном от взрывов снарядов, лязгом железа, столбами пыли и огня. Мы продвигались, отбивая у противника метр за метром... Танк лейтенанта-героя Гусева Ивана, где механик-водитель старший сержант Александр Николаев — коммунист-ленинградец и еще два товарища, шел вперед. Вдруг от вражеского снаряда машина загорелась, но из горящего танка огонь не прекращался. Стреляли — значит, живы. Танк, набирая большую скорость, помчался навстречу идущему танку противника. «Тигр» хотел развернуться и уйти, но наш горящий танк врезался в него, и обе машины взорвались. Экипаж героев погиб. Все это мы видели. За смерть любимых друзей танкисты шли вперед, вперед и вперед! Не щадя сил и своей жизни.

Сейчас мы далеко на западе от этого места сражения, но и здесь ежедневно мы мстим врагу за смерть наших любимых товарищей.

Отец! Теперь вы знаете о действии своего сына Ивана. Все, конечно, нельзя описать на этом листке бумаги, но думаю, что вам понятно. С коммунистическим приветом к Вам капитан Гудко Иосип Иванович. 16.8.43 г.

Яков УДОНОВ,
связист.

Яша Удонов ушел на фронт прямо со школьной скамьи, не успев выбрать свой жизненный путь. Воевал до самого последнего дня. Видел поверженный Берлин, навсегда сохранил в памяти страшное лицо войны.

Ивановская область, поселок Мстера.

3.2.42 года.

Здравствуйтесь, мои дорогие родные, папа, мама, Зоя и бабушка! Пишу вам уже 3 письма и ни одного ответа. Как живете? Что у вас?.. Я живу хорошо, пища у нас замечательная. Пишу немного, но ведь у меня нет ни карандаша, ни бумаги. Да и со временем туго. Недавно составлял я во взводе журнал, сержант похвалил и дал мне бумаги.

Где находится сейчас Ваня Чиркин, если в армии, пришлите мне его адрес. Как чувствует себя родная Мстера? Как общее настроение? Я-то думаю, хорошее, так как на фронтах идут успешные наступательные бои наших войск. Ждите меня после окончания войны, которая окончится в 43 году. Я в этом уверен. Сильно соскучился по всем вам. Желаю счастья, здоровья всем. Крепко-крепко вас целую.

Ваш сын Яков.



Г. КОРЖЕВ

Проводы.



Из произведений советских художников.



Т. ГОЛЕМБИЕВСКАЯ.
Бессмертие.



Е. МОИСЕЕНКО.
Ветераны.

Ю. ПОХОДАЕВ.
Победа.



А. МИХАЙЛОВ.
**Юность
грековцев**





М. САМОНОВ.

Сеители.

23.11.43 года.

Письмо с фронта!

Здравствуйте, мои родные. Я жив и здоров. Не волнуйтесь. Мама! Питаюсь я замечательно, ты не думай. Каждый день суп с мясом и картошка или каша на второе. Теперь у нас есть своя ротная кухня, очень хорошая. Пока стоим на месте, но это отдых непродолжительный, не сегодня-завтра пойдем снова вперед, воевать, так как на нашем участке фронта немец везде отступает. Не волнуйтесь только за меня! Привет всем родным. Скоро увидимся. Пишите чаще. Крепко об вас, дорогие мои родители, целую. Целую ..

1. 1. 44 года!

С Новым годом! К новым победам!

Добрый день, мои дорогие родители!

Сегодня получил от вас письмо. Спасибо.

Шлю вам свой новогодний фронтовой привет, желаю счастья и здоровья! Мама, не беспокойся! У нас есть и хлеб, и масло, и мясо. Вот сейчас бойцы наши достали меду и растопили в ведре воды! Вкусно-та. Валенки нам уже давно выдали, теплые.

Мама, ты думаешь, что я все время в бою, в окопе, на передовой, но если бы я все время был в бою, то вы бы не получали от меня писем, а я же часто пишу. Вы же уже думали, что я погиб в боях за Днепр, а я-то — живой! От передовой мы сейчас километров за десять. Так что спи спокойно.

Сегодня ударили морозы, градусов так 25! А то было тепло. Опишите, как вы провели Новый год. Нам на Новый год выдали подарки. Мне достался мешочек, в нем — плитка шоколада, еще мешочек — сахарного песка, две пышки и два носовых платка!

А сегодня — радости! Нам сообщили, что наши войска снова заняли город Житомир. Это все ближе к Победе! К быстрейшему разгрому немецко-фашистских захватчиков, которые хотели поработить нашу советскую Родину! Теперь — вперед на запад!

Крепко вас всех целую...

23.1.44 года.

Здравствуйте, мои дорогие родные.

Мама, спасибо тебе за адрес Рожкова. Сейчас нет никакой возможности сфотографироваться, потому что проклятый немец при своем отступлении жжет подряд все села. Вот и сейчас стоим в селе, а половина его выжжена. В одной хате нас по пятнадцать человек.

Мама, как твоё здоровье? Кончила ли трепать тебя малярия? Что нового у нас в Мстере? Какая стоит погода? Здесь уже нельзя ходить в валенках, сыро, как весной...

Пока кончаю писать. Скоро вперед.

Пишите чаще.

Ваш сын Яков.

6.2.44 года.

Пишу из Германии!

Добрый день! Нахожусь на собственной территории врага. Пока жив, здоров. Времени нет совсем. Враг отступает от нас, бросая и выжигая все на своем пути. Не ждите пока от меня писем. Нет у меня ни одной минуты. Двигаемся вперед и вперед так быстро, что не могу даже черкнуть письмецо. Погода скверная, каждый день идут дожди.

Мама, не волнуйся, все у меня замечательно. Передайте привет всем родным и знакомым. Пусть все знают, что я бью врага уже на его собственной территории. Вперед — на Запад.

Пока до свиданья.

Василий КАБАНОВ,
командир танкового батальона,
Герой Советского Союза.

Василий Кабанов был кадровым военным. Знавшие его помнят строгого, суховатого, подтянутого человека, умевшего рисковать, быстро принимать решение. Бойцы ласково звали его «батеи». «Батя» рвался в Берлин, мечтал добраться до «логова зверя». До Победы не дожил двадцать три дня.

Деревня Сорокино, Судогодский район.

16.8.43 года.

Привет Лидочке и дочкам!

Получил от тебя два письма. Очень рад. Знаю, что тебе живется очень тяжело, за нашу общую жизнь ты ни одного такого дня не пережила. Ну что же делать, придется с этим смириться и пережить все трудности этой суровой поры. Надо пережить самые тяжелые лишения, только бы мы с тобой после войны встретились. И вернуться бы мне к вам здоровому... Лидочка! Час нашей победы над гитлеровской бандой с каждым днем приближается. Если ты читаешь газеты, то знаешь, что сейчас мы имеем очень крупные успехи на фронте. Тесним фашистов все дальше на Запад. С наступлением-то у немцев все провалялось ..

Держись, Лидочка!

Кончаю, твой Василий.

13.3.45 года

Привет Лидочке и дочкам Лиличке и Неличке!

Шлю вам свой горячий фронтовой привет! Лидка, ты все обижаешься, что я редко пишу. Редко, потому что воем. Пока не до писем. Сейчас 10.30 вечера, сижу один в своем «салоне» и мечтаю о вас. Как бы я хотел увидеть вас сейчас, здесь, у себя в гостях. Когда отдыхаю, всегда настигает тоска по дому. В бою легче. Там другое дело, веселее и быстрее бежит время под гром снарядов и жужжание пуль. А сейчас слышны только далекие редкие артиллерийские раскаты. И мне не по себе. Я, Лидочка, уже не могу без грохота и шума.

Берлин впереди, всего 70 километров, и нам с товарищами скорее хочется туда. Скоро там и будем. И тогда — конец войне! Хочется, просто необходимо, увидеть его своими глазами. А потом уж вернуться к родной семье. И я обязательно вернусь, ждите меня, только лучше ждите. Ну да заболтался. У меня все без изменений. Здоровье хорошее, дела идут хорошо. Одного только недостает. Хочется посмотреть, как там вы, побыть с вами хоть чуток. Пиши, моя дорогая, как ты, как растут дочурки.

Целую крепко...

27.3.45 года

...Получил наконец два твоих письма и по одному от дочек. Да не было времени ни прочесть, ни ответить. Пишу вам под страшный грохот снарядов. Но у нас-то это считается почти развлекательной музыкой. Благодарю тебя, Лидка, за поздравления меня с высокой правительственной наградой. Значит, ты следишь за газетами, это очень хорошо. За награду отвечу делом!..

Очень беспокоит меня здоровье дочек, это ведь болезнь серьезная. Ты уж береги их, осталось недолго до Победы и нашей встречи.

Я по-прежнему бью гадов и чувствую себя хоро-

шо. Только вот совсем не могу спать. Разучился за войну. И не могу, представь, Лида, когда кругом тихо. Не воспринимаю тишину. Видно, устал. Ну, ничего, будем живы — отдохнем.

До скорой, скорой встречи.

5.4.45 года.

Горячий привет вам, мои дорогие, желаю успехов в жизни!

Живу по-старому. Перемен нет. Очень скучаю. Воевать пока, несколько дней уже, не воюю, а на войне без войны скучно. Особенно сейчас, когда кругом зеленеют и распускаются березки, появились первые цветы. Все это наводит на размышления о совсем другой жизни. И на надежду на встречу. Скорей бы конец. Пиши, как живете. Пиши...

18.4.45 года.

Дорогая, уважаемая Лидия Ефимовна!

Пишут вам из Берлина боевые товарищи вашего мужа, Василия Григорьевича Кабанова, прошедшие с ним весь путь почти до самого логова зверя. Простите нас, не уберегли мы нашего «батю»...

16 апреля сорок пятого года на пути в Берлин, в последних боях, ваш муж был тяжело ранен осколками снаряда в голову... Семнадцатого апреля наш «батя» умер после операции. Это великое горе для всех... 18 апреля мы с почестями похоронили его на площади героев в городе Потсдам. Не сберегли мы его, простите.

А помнить будем всегда.

Иван ЛЕПАХИН,
пехотинец, десантник.

Война оторвала Ивана Лепехина от земли. Потомственный крестьянин и земледелец воевал в составе танкового десанта все четыре года войны. После Победы строил дома, был рабочим в родном Владимире.

Гор. Владимир, Лепехиным.

5.8.42 года.

Добрый день, любимая жена Шура, мама и все мои родные! Времени мало. Сообщаю лишь, что здоров. Едем с маршевой ротой на фронт. Я — во взводе автоматчиков. Скорее бы воевать.

Ну, до скорого свидания! Ждите письма со следующего места назначения.

Целую.

Ваш сын и муж, Иван Лепехин.

3.7.43 года.

Дорогая мама!

Пишу коротко. Рана у меня закрылась, но боль в кости еще есть. Рука уже двигается, это хорошо. Еще повоюем. Учебка идет хорошо. Полосу препятствий сдал на «отлично». Скорей бы на фронт. Как там ты и Шура? Как с питанием? Как бы хотелось вам, родные, помочь.

Ну, будь здорова, дай бог, свидимся.

Твой сын Иван.

17.11.43 года.

Здравствуй, дорогие мои и всегда любимые Шура, сын Ванюшка, мама! Шлю вам горячий фронтовой привет. Шурочка, так и не получаю от тебя писем, а старые все прочитал уже по нескольку раз. И знаю наизусть.

Живу хорошо, ем досыта.

Сейчас, Шура, тяжело всем. Война. Нам скоро опять выступать в бой. Здесь у меня есть хоро-

ший товарищ, тоже наш, владимирский. Мы всегда вместе. Так намного легче.

...Жаль нашего комвзвода, и командир и человек он отличный. В прошлом бою ранило его 4-мя пулями в руку, очень тяжело... Ну, храни вас бог. Крепко вас целую...

6.5.45 года.

Дорогие и любимые родные!

Каждый день жду ваших писем. Сейчас, когда войне конец, особенно ждешь весточек. Сегодня тихо, друзья мои в наряде. На улице ненастный день, дождь, сижу один, и все мысли о вас, о Родине. За окном все только военные люди, армия, привычная обстановка, а я вспоминаю родной Владимир, может быть, и вы сейчас смотрите из окна на нашу старую и такую прекрасную улицу. Бывает идешь строем по городу, а мысли одни, вот пройти бы так по Владимиру, увидеть хоть окна нашей квартирки... И знакомых, и тебя с сыном. Счастью бы не было конца. Или отправиться всем семейством в наш Пушкинский парк. И отпраздновать, что война — конец. Да, пока это лишь мечты да думы. Одна радость — получить от вас письмо.

Ну, потерпите еще, мои родные, совсем скоро ей конец.

Жду, дорогая Шура, твои ласковые строки. До скорой встречи.

Ваш Ваня.

9.5.45 года.

Любимая Шура, мама, Ванюшка и все мои родные!

Поздравляю вас, дорогие мои, с днем Победы советского Оружия! Сегодня праздник всех наций нашей страны и всего прогрессивного человечества! Сегодня, Шура, наша Победа! Все!

Уже с двух часов ночи мы поднялись, чистились, брились. Праздничный день прошел очень хорошо. Был парад, и наш танковый полк и стрелковый дивизион прошли под музыку парадным строем по улицам города. Сейчас выпили и закусили во дворе, где сад. Все пошли в кино, а я сижу один, как будто бы вместе с вами беседую и пишу вам открытку...

Итак, Победа! Как провели вы этот праздничный день, слушали ли радио? Ну, еще раз поздравляю. Теперь скоро домой. Жду ваших дорогих строк.

Целуйте за меня Ванюшку. Ваш Иван Лепехин.

Василий ПИЧУГИН,
пехотинец

У Василия Пичугина была самая мирная профессия — учитель. С первых дней войны он взял в руки винтовку и, пройдя сквозь множество испытаний, в сорок пятом штурмовал Кенигсберг. Был участником Парада Победы в Москве. Потом вернулся к своему дому, к любимому делу.

Владимирская область. Родным.

07.6.44 года.

Дорогие мои! Уехал на новое место — на фронт, и сегодня нахожусь на очень близком расстоянии от друзей. Жизнь здесь очень веселая и интересная, повстречаемся — расскажу. Пока располагаемся в лесу, пользуемся всеми благами природы, а она во всей своей красе зовет к мирной спокойной жизни, но про это приходится пока забыть.

Целую, Василий.

27.3.45 года.

Дорогие Маня, Женя и Леня! Вот уже пятый день стоит прекрасная весенняя погода... Как хотелось бы

в эти дни увидеть настоящую жизнь, но сейчас еще не до этого. Второй месяц идут жаркие бои на подступах к Кенигсбергу. Все подчинено единой цели — выполнению поставленных задач. Они, проклятые звери, смеют еще сопротивляться, хотя и знают безнадёжность своего положения. Впереди предстоят тяжелые и упорные бои, но мысль одна — скорее закончить войну и вернуться в родную семью. Придется ли сбиться этим мыслям — трудно сказать, но из головы это не выходит.

Всегда ваш Василий.

11.4.45 года.

Дорогие мои! То, что пришлось пережить за последние дни, едва ли опишешь. Дни ожесточенной и кровопролитной борьбы за Кенигсберг смешали в голове всякое понятие о числах. Трудно было отличить день от ночи. Все кипело. Языки пламени горевшего Кенигсберга и клубы дыма поднимались высоко в небеса. Ожесточенность сопротивления немцев достигала наивысшего, но воля их к дальнейшей борьбе сломлена. 9 апреля вечером центр прусских бандитов пал. Вы читали сводки Информбюро, в них отражена действительность. Все дороги забиты колоннами беженцев. Десятки тысяч насильно угнанных людей освобождены. Среди них французы и бельгийцы, русские и поляки, итальянцы и украинцы. Все они с улыбкой и радостью встречали нас; много было случаев, когда встречались брат с сестрой или сын с матерью. Одним словом, картина и трогательна и печальна. Я пока жив и здоров, сейчас снова вступил в бой западнее Кенигсберга. Коротко все. Пока до свидания. Пишите. Очень жду.

10.5.45 года.

Поздравляю вас с Победой! Мои родные, сбылись долгожданные мечты. Нет слов передать вам свои чувства, в горле захватывает... Вчера и сегодня мне кажется, что я с вами, хотя нас еще и разделяет пространство в 1500 километров. В эти минуты каждый преисполнен чувством радости и гордости за себя, родных, весь наш народ, переживший и вынесший на плечах четыре столь тяжелых года.

Вчерашнее утро, начавшееся обычной работой, было прервано сообщением об окончании войны и о безоговорочной капитуляции Германии и об установлении 9 мая Дня всенародного торжества — дня Победы. У каждого из уст вырвалось громкое «ура!», поздравления, приветствия и пожелания счастья. Думаю, что с такими же чувствами встретили 9 мая и вы. Теперь можно надеяться на время, когда наступит день нашей встречи. Прошлое осталось позади, пережитое забудется и мы снова заживем свободной, счастливой жизнью. Маня! Ты с ребятами так ждала этого. Я с неизменным терпением тоже ждал, и мы дождались. Мы победили. Можем рассчитывать на будущее. В скором времени мы должны изпод Кенигсберга уехать куда-либо внутрь родной страны. Пруссия осточертела, глаза глядеть не хотят... за все то, что пришлось здесь перенести и пережить. Этого никогда не забудешь. Прошу передать мой привет и поздравления всем родным и знакомым. Пока до свидания. Пиши, жду.

Василий.

18.5.45 года.

Дорогие мои! Наступила тихая мирная жизнь, протекающая в расцвете ликующей весны. Несмотря на страшные картины недавно стихших боев, природа раскрывала человеку свои богатства во всей их прелесть и красе. Подбитые кусты сирени и черемухи, срезанные осколками снарядов стволы яблонь и вишни сегодня вновь благоухают нежностью и ароматом. Как-то странно, когда нет свиста пуль, шипенья

и грохота разрывающихся мин и снарядов И только развороченные стены домов с провалившимися потолками и крышами напоминают об этих потрясающих боях в дыму и гари, в которых пришлось прожить так много времени.

Должен сказать, что последний бой, 26 апреля, останется памятен на всю жизнь. Он был почти трагичен для меня.

Казалось, бой окончен, Пиллау взят, ждали приказа сняться с боевого порядка, стояли втроем у радиостанции, ведя переговоры с наблюдательным пунктом. Вдруг ошеломляющий взрыв, совсем рядом. На расстоянии 3-х метров разорвался вражеский снаряд. Давлением воздуха мы были сбиты с ног, засыпаны землей. Почти не слышно товарищей, оглушило. Рядом мой друг просит помощи, он ранен в глаз, в голову и лицо. Наспех его перевязали. Он сам отполз в сторону. Последовали второй и третий взрывы. Как мы остались живы? Желая Женечке кончить на «отлично» учебный год.

Василий

Иван ПРОШИН,
командир стрелковой роты.

По профессии Иван Прошин был инженером-экономистом, а на фронте пришлось командовать стрелковыми подразделениями. Вместе со своими бойцами он стоял на смерти под Москвой. Воевал на Курской дуге. Освобождал Варшаву. Брал Берлин. И все эти длинные годы вел подробный дневник, чтобы дети и внуки знали, что такое война, и ценили мирное небо над головой.

Воронежская обл., станция Есипово

5.1.42 года.

Дорогие мои!

Наконец-то снова пишу. Вот уже несколько дней прохожу я по территориям, ранее занятым немцами. Люди встречают нас со слезами радости на глазах.

Да, «приход» немцев на многое открыл нам глаза. Помню, как мама говорила, что быть не может, чтобы немцы, культурный народ, позволяли себе такие зверства, о каких писали в газетах. Наши пленные не кормят по несколько суток, держат раздетыми на морозе, избивают и убивают. Цель немцев ясна — поработить русский народ...

20.4.45 года.

Милые мои!

Штурмуем Берлин. Бьем врагов и в хвост и в гриву. Долго будет помнить фашистская сволочь, как воевать с Россией.

Освобождаем много наших, увезенных со всех концов России. Тех, кого угнали фашисты. Вчера добрались мы в один фольварк. Там в подвале сидели десять человек русских, они бежали из Берлина. Он представляет из себя груду развалин. По ночам над Берлином шарают прожектора. Видны вспышки от бомбардировок.

Пока все. Целую вас крепко.

Папка.

3.5.45 года.

Некогда было вам писать... За одни сутки боя мы взяли три с половиной тысячи пленных. На одного солдата приходилось по 30 немцев! Они и сами рады, что от войны избавились. Не знают, куда себя деть. Сегодня мы в общем закончили войну. Стоит мертвая тишина. Это так непривычно после шума последних дней. Будем надеяться, что это

последние бои. Я не возражал бы вообще окончить войну и направить лыжи к вам. Ну да если потребуются, еще повоюем. Ну, милые мои, кончаю. Вызывают в штаб.

Ваш папка.

7.5.45 года.

Милые мои! Сообщаю свой новый адрес. Полевая почта 61470 «А». Не волнуйтесь, у меня все по-старому. Только ни минуты свободной. Война в основном закончилась. С чем вас и поздравляю. Докачиваем последние группки врага. Те уже быстро складывают оружие. Идут в плен с белой тряпкой. Кто-то маскируется под штатское население. Из всех пригородов к нам тянутся тысячи освобожденных из неволи русских, поляков, украинцев, белорусов, чехов, французов и людей других национальностей, угнанных немцами. Женщины встречают нас с радостными лицами, а мужчины опускают глаза. Им тяжело.

Сейчас все время попадают к нам в плен «фолькштурмовики», оголтелые «защитники». Древние старики, хромые, косые, горбатые... Без слез и без смеха на них нельзя смотреть. Они не ведают, что творят.

А в природе здесь — полная противоположность. Аккуратные дачные домики, очень чистенькие. Много зелени, цветов, зеленых естественных изгородей. В общем — немецкая аккуратность. Дома просто забиты всякими вещами, добром, среди которого часто встречаются наши, русские вещи!

Ну, вот и все. Время четыре часа. Клонит ко сну.

10.5.45 года.

Поздравляю с днем Победы, который мы честно заработали за эти 4 года войны. Четыре года ждали мы этот счастливый день, и наконец он настал. Теперь скоро будет еще один счастливый день — наша встреча. Возвращение домой, к вам, моим милым. Сколько раз в бою, в окопе, в походе, на холоде и дожде, под пулями и снарядами мечтал я о встрече с вами. Не мы придумали эту войну, не мы хотели воевать. Но... Видно, придется еще подождать. Так скоро отсюда не выберешься. Надо доделывать дело до конца...

До скорой встречи! До моего возвращения!
Целую крепко-крепко!

Ваш папка.

21.5.45 года.

...Несколько дней не писал вам писем. Очень занят. Сейчас выполняю еще обязанности коменданта одного немецкого населенного пункта. Дел хватает. Надо налаживать нормальную жизнь населения, заботиться о его питании, жилье, охране и прочих мелочах.

Погода стоит теплая. Сады и сирень отцвели, рожь выколосилась. Скоро будет цвести крыжовник. Завтра я должен получить свой второй орден Отечественной войны II степени. Представили меня и на орден Отечественной войны I степени. Должен буду получить еще медаль «За победу над Германией». Но награды не главное. Главное — мир.

Стоят здесь огромные дубы, трава по пояс. В реке много рыбы. Вчера шли по лесу ночью, как миллионы фонариков, летали светлячки. Видно, и правда, счастливая наша семья, что никто не погиб на этой войне. И Яша цел, и Юра, и я. А у других...

Ну, милые мои, вот такое письмище я вам от радости накропал. Посылаю и свою фотокарточку...

Ваш папка.



ВСТРЕТИМСЯ В МОСКВЕ!

До открытия XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов остались считанные недели. IV заседание Международного подготовительного комитета, проходившее в конце марта в Москве, окончательно утвердило программу будущего праздника молодежи. На основе пожеланий и рекомендаций национальных подготовительных комитетов было решено, что основные мероприятия фестиваля определит его политическая программа. Это и понятно, поскольку Московский фестиваль особенный по широте участия в нем различных политических групп и партий. Так, в составы национальных подготовительных комитетов вошли молодые коммунисты и социалисты, социал-демократы и христианские демократы, либералы, радикалы, центристы. В предфестивальной подготовке принимают участие молодые религиозные деятели, экологи, представители различных антивоенных организаций и союзов солидарности. Все это опровергает утверждения западной пропаганды о том, что международный молодежный форум «проводится в русле, определяемом Советами».

Например, испанские и португальские сторонники мира решили отправить поезд дружбы по маршруту Лиссабон — Москва с тем, чтобы его участники, следуя через всю Европу, рассказали о подготовке к фестивалю в своих странах, провели встречи и манифестации в защиту мира и разоружения. 1986 год объявлен ООН Международным годом мира, и московский форум юности, по мнению зарубежных журналистов, предвдлит этот год.

Сегодня уже более чем в ста двадцати странах мира созданы Национальные подготовительные комитеты. Впервые за всю историю фестивального движения создан НПК в Соединенных Штатах Америки, объединивший около 50 различных молодежных организаций страны. Единый национальный подготовительный комитет образован в ФРГ, где коммунисты и социал-демократы совместно готовятся к фестивалю. Испанский НПК представлен шестью организациями, в том числе социалистами, коммунистами, католиками. Наиболее представительный подготовительный комитет в Финляндии — около 60 молодежных организаций. В условиях подполья действуют национальные подготовительные комитеты в Чили, Сальвадоре, Гватемале. Один из представителей чилийской делегации, приехавший нелегально в Москву, сказал:

— Несмотря ни на что, в условиях фашистской диктатуры, работает наш подготовительный комитет. Участие в московском фестивале для нас очень важно — ведь он состоится в стране, победившей фашизм, и именно в год 40-летия Победы.

Четвертое заседание МПК, в котором приняло участие 126 стран, еще раз подтвердило — на предстоящем фестивале пойдет заинтересованный разговор всей миролюбивой молодежи о самом важном, самом главном.

Расставаясь, участники заседания говорили: «До скорой встречи в Москве!»

Рашид АЛИМОВ, директор
пресс-службы Советского
подготовительного комитета



Готовился сценарий новой телевизионной передачи, посвященной страницам жизни и творчества Михаила Александровича Шолохова. Я решил взять для нее несколько интервью у людей, в чьей судьбе встреча с писателем или его книгами сказалась едва ли не решающим образом. Разумеется, в большинстве случаев речь шла здесь о годах юности.

Потому-то и пришла мысль познакомиться с этими материалами читателей журнала «Юность».

Впервые увидел я автора «Тихого Дона» и познакомился с ним очень давно — в 1932 году. Ему было двадцать семь. А мне на три года меньше. Но вот с тех дней одно из первых впечатлений, может быть, самое острое, что врезалось в память: глаза. Вы не могли бы ничего утаить от них. Впоследствии, много позже, всякий раз это впечатление только усиливалось. Говоришь с ним и чувствуешь: да, видит он тебя насквозь, при всем твоим желанием ничто от него не укроется. И все этот человек поймет по-доброму, может быть — так, чуть-чуть улыбнется лукаво... Видно, эти глаза помогали ему так глубоко проникать в душу человека, с безупречной точностью создавать психологические портреты.

Удивительно ли, что на охоте — а она была страстным его увлечением — поражала меткость его выстрелов: в открытой степи он из винтовки со снайперским прицелом снимал дрофу, необычайно осторожную птицу, которая ни за что не подпустит к

ОН ЗАГЛЯНУЛ В ИХ ДУШИ

К 80 - летию
со дня рождения
М. А. ШОЛОХОВА

себе на сколько-нибудь близкое расстояние. Постоянным лакомством в доме Шолоховых были охотничьи трофеи хозяина — стрепеты, дикие гуси и утки, добытые на тяге вальдшнепы...

Но это в скобках. Возвращаясь к идее моих интервью. Вспомнилось высказывание Василия Макаровича Шукшина. Съёмочная группа фильма «Они сражались за Родину» приехала на Дон, состоялась встреча с автором романа. О том, какой переворот в душе производила встреча с этим великим художником, с человеком, который умел так порою непостижимо зорко заглянуть в душу собеседника, Шукшин сказал с присущим ему темпераментом:

— Шолохов вывернул меня наизнанку. Шолохов мне внушил — не словами, а присутствием своим в Вешенской и в литературе, что нельзя гоняться за рекордами в искусстве, что нужно искать тишину и спокойствие, где можно осмыслить глубоко народную судьбу...

А ведь Шукшин приехал на Дон зрелым мастером. Какую же силу обретало воздействие личности Шолохова — творческой и просто человеческой, если судьба сталкивала его с тем, кто был еще совсем молод, чьи важнейшие решения в жизни были еще впереди!..

Чтобы окунуться в атмосферу комсомольской, рабфаковской юности Шолохова, я расспрашивал Матильду Емельяновну Чебанову-Кудашеву, вдову сатого близкого друга Михаила Александровича и

Фото Я. Рюжкина.

моего друга — писателя Василия Михайловича Кудашева. Беседа для телевидения была проведена в проезде Художественного театра, у дома 5/7. Матильда Емельяновна рассказала, что этот дом имеет непосредственное отношение к началу литературной деятельности Шолохова. Она вспоминала, что прежде место это называлось Камергерским переулком и Шолохов обычно так его и называл. Рассказала она, что когда в 1922 году Шолохов приехал в Москву — продолжать учебу, поступить на рабфак, приехал туда же по путевке ЦК комсомола и Кудашев. Жил он в общежитии, которое находилось здесь же, рядом, в здании, где теперь помещается школа-студия МХАТ. Шолохов ночевал в общежитии, делились с Кудашевым скудным пайком. Как вспоминает брат Кудашева, Шолохов тогда говаривал: «Вот у нас две ложки и один паек...» С 1923 года начали появляться в печати ранние произведения Михаила Шолохова. Печатались они и в «Журнале крестьянской молодежи», где Кудашев заведовал юношеским и литературно-художественным отделом. Вскоре Кудашев готовил для издания в «Московском товариществе писателей» книгу шолоховских рассказов. Чтение рукописей зачастую проходило в крохотной квартирке в Камергерском переулке. В дальнейшем, когда Шолохов приезжал в Москву из Вешенской, приезжал для работы в архивах и по другим делам, он останавливался в комнатке у Кудашева. Там читали друзья вместе первые вышедшие из-под пера страницы «Тихого Дона».

— Уже будучи известным писателем, — вспоминает Матильда Емельяновна, — останавливаясь в гостинице «Националь», Шолохов не раз засиживался у Кудашева, постила свой тулупчик все в той же комнатке, и время пролетало до утра в беседах друзей...

Матильда Емельяновна показывает интересные фотографии. В 1930 году Шолохов с Кудашевым и Артемом Веселым поехали по приглашению Горького к нему в Италию. Но муссолиниевские власти визы им не дали. На снимках трое друзей в Берлине, где они задержались...

В военном 1941 году Шолохов наведывался узнать о судьбе Василия Михайловича, ушедшего с народным ополчением Краснопресненского района на фронт. Сам уезжая в Действующую армию вместе с А. А. Фадеевым, В. П. Ставским и Е. П. Петровым, он забежал сюда. А отправляясь в другую свою поездку на фронт, оставил здесь открытку, попросив Матильду Емельяновну вписать адрес полевой почты и отправить Кудашеву.

Отправить открытку не пришлось. Пришло известие — Василий Михайлович Кудашев погиб в бою под Ельней...

А открытка, этот драгоценный человеческий документ, у Матильды Емельяновны сохранилась. Вот что писал Шолохов другу на фронт:

«Дорогой друг! Судьба нас с тобой разоздрила. Но все же когда-нибудь сведет вместе. Я сегодня уезжаю из Москвы. Как только вернусь, сообщу тебе. Думаю, что увидимся. У меня есть к тебе дела...

Дома не был давно. Но там все в порядке. Недавно на час видел ЮрБора: поехал в Армию. Крепко обнимаю. Целую, твой Шолохов.

Будь здоров. Я пишу коротко. Спешу. Надеюсь на скорую встречу».

Представьте себе, как дорого было мне прочесть эти строки сейчас, спустя сорок четыре года: ЮрБором окрестил Михаил Александрович меня, с его легкой руки это стало как бы вторым моим именем...

Следующее интервью взято у литературного критика, литературоведа, много лет работающего над изучением творчества Шолохова. Это Виктор Васильевич Гура. В свое время им вместе с писателем Фе-

дором Абрамовым был составлен «семинар по Шолохову». Одна из последних его работ — глубокое исследование «Как создавался «Тихий Дон».

К Виктору Васильевичу я обратился с просьбой рассказать о встречах с Михаилом Александровичем и о переписке с ним в послевоенные годы.

— Я впервые встретился с Шолоховым, — рассказал В. В. Гура, — еще совсем юным, в годы Великой Отечественной войны, когда Шолохов со всей семьей переехал за Волгу. Первая встреча была связана с тем, что писатель выступал перед учениками, перед молодежью, это было в ноябре 1941 года, и рассказывал он о первой своей поездке на фронт. Он выглядел совсем моложавым, военная форма делала его таким стройным! Он говорил суровые правдивые вещи. Это осталось в моей памяти. Правда сочеталась с мужественностью Шолохова, который не стремился рассказывать лишь о теневых, кровавых сторонах войны, он не пугал этим...

Очень памятна мне и встреча с Шолоховым в Москве в марте 1945 года, когда он только что приехал с 3-го Белорусского фронта. А я сам, кстати, скоро оказался на этом фронте. Михаил Александрович много шутил, рассказывал боевые эпизоды... Война шла к концу, и он с радостью говорил о близкой победе. Я рассказывал Михаилу Александровичу о том, как воевал на 1-м Украинском фронте: на тяжелой стопятидесятимметровой пушке, которая была установлена на шасси тяжелого танка. Это было очень грозное оружие, которое чуть ли не впервые применялось тогда, но в походном положении порою эта большая, длинная, с дульным тормозом пушка цеплялась о землю, перевешивала... Помню, что Михаил Александрович слушал жадно. Это вообще было его особенностью — этакая жажда как можно больше знать... Как можно больше! Отыгралось это вдруг, уже после войны, когда у меня вышла книга «Выставка в школе». В январе 1965 года получаю очень короткое, но хорошее, теплое письмо, в котором говорится, что в этой книжке похвалы «переваживают, как переваживала когда-то пушка, когда ты был молодым офицером». Меня поразила память, хранившая такую подробность много лет...

В январе 1966 года в Вешенскую приехала делегация ученых из ГДР, чтобы вручить Михаилу Александровичу диплом почетного доктора Лейпцигского университета имени Карла Маркса. Одним из членов делегации был доктор Эрхард Хексельшнайдер. И вот он оказался на несколько дней в Москве сейчас. Можно ли было не взять интервью у него?

Он охотно поделился своими воспоминаниями:

— Я эти дни, как сегодня, помню. Ректор нашего университета связался с товарищами из Советского Союза, и была достигнута договоренность о том, что мы будем вручать почетную грамоту, диплом почетного доктора Михаилу Александровичу в Москве. И вдруг зимой шестьдесят пятого года мы получаем телеграмму: «Приезжайте в Вешки. Шолохов». Это для нас было весьма крупным событием. И вот мы наконец-то на шолоховской земле! Как будто бы все знакомо: Миллерово, Ростов-на-Дону, казачьи станицы, казачий быт, но в то же время для нас все ново. Мало читать об этом, надо еще и увидеть в реальности. Как говорил Гёте: «Если хочешь узнать больше о писателе, надо поехать в страну писателя...» Наша маленькая делегация имела возможность поговорить с Шолоховым не только в кабинете, но и за столом. Я должен сказать, что Шолохов с самого начала весьма внимательно вглядывался в нас, в как он выразился, «ученых мужиков». О чем мы говорили? Обо всем. Михаил Александрович нам очень живо рассказывал о празднествах в Шведской академии, где он только что получил Нобелевскую премию. Он

На тихом Дону... 1960 г.



рассказал о своих впечатлениях о Японии. Мы, конечно, говорили об ответственности писателя в современном мире, о состоянии литературной критики, о его впечатлениях от поездки в ГДР. С большой теплотой вспомнил он свои встречи с немецкими крестьянами, колхозниками... На следующий день наступило время официальной церемонии — вручения грамоты и почетного диплома. Это было великое событие для нас — и не совсем академическое, по нашим представлениям: ведь само собрание происходило в Доме культуры, прибыли туда не «ученые мужики» — я повторяю его выражение! — прибыли простые люди — колхозники, учителя, жители станицы. Сам акт вручения почетного диплома, почетной грамоты тоже был необыкновенным... С кратким, очень кратким ответным словом выступил потом Михаил Александрович. И мне хотелось бы тут остановиться только на одном моменте. Он говорил о дружбе между народами, о дружбе между Советским Союзом и Германской Демократической Республикой. Конечно, очень много можно было бы рассказать о тех незабываемых встречах. Это для меня, молодого тогда специалиста по русской советской литературе, было таким событием в жизни, о котором очень часто вспоминается!

Подшло время для интервью совсем необычного. Беру его в Московском научно-исследовательском институте микрохирургии глаза. В кабинете директора этого знаменитого института, члена-корреспондента Академии медицинских наук, профессора Федорова. Прошу Святослава Николаевича перенестись примерно на тридцать лет назад и рассказать о том, как он впервые оказался в станице Вешенской, какие впечатления впоследствии увез оттуда. Вот его рассказ:

— Я закончил институт тридцать два года назад, тогда же и назначение свое первое получил: мне предложили на выбор несколько мест — Белая Калитва, Сальск и Вешенская. Ну, я выбрал станицу Вешенскую, потому что Вешенскую к тому времени знал каждый... Каждый советский человек в восемнадцать-девятнадцать лет читал и «Тихий Дон», и «Поднятую целину». И так как я большую часть своей сознательной жизни прожил на Дону, меня, ко-

нечно, тянуло в те места, где есть этот хутор, в котором Гришка вырос, где Аксинья скакала с ним на коне... Конечно, меня привлекало, что там живет Шолохов. Я поехал туда. Места были прекрасные: это красивая станица, и влияние Шолохова уже тогда там чувствовалось. Был построен прекрасный Дворец культуры, где можно было посмотреть кино, послушать концерт... Особенно поразила меня станица Вешенская неповторимыми казачьими песнями...

Я отлично помню Михаила Александровича, — продолжал профессор, — потому что его дом находился недалеко от того, в котором я жил. И каждое утро в шесть часов я ходил плавать в тот залив, на берегу которого стоял дом Михаила Александровича. Я думаю, вот эта закалка, которую я получил в первый год своей работы в станице Вешенской, как-то сказалась и в моей дальнейшей судьбе. Меня и потом тянуло в эти места. Когда недавно я проезжал на машине в Ростов и увидел поворот на станицу Вешенскую, то не выдержал, хотя был уже вечер, — сделал крюк в сто шестьдесят километров! Проехал через мост, которого не было, когда я там жил... Все спали. Я переночевал в машине, рядом с домом, где когда-то жил. А следующее утро и целый день провел в семье Михаила Александровича. Был август 1976 года... Запомнилась такая картина: стоит одинокое дерево среди пшеницы, а вдали грохочет гроза, сверкают молнии. Все это перекликалось с теми картинами, которые мы впитываем, читая «Тихий Дон». Я думаю, что впечатления этого приезда в донскую степь заставили меня в том же году сесть на коня! И, вы понимаете, когда я сел на коня и вспомнил «Тихий Дон», что-то действительно поднялось во мне... Когда скачешь верхом, чувствуешь себя молодым Гришкой Мелеховым!..

Последняя беседа — с руководителями издательства «Художественная литература» — его директором Валентином Осиповичем Осиповым и главным редактором Александром Ивановичем Пузиковым.

Напоминаю Валентину Осиповичу, что нам с ним довелось познакомиться впервые в станице Вешенской... Это было, когда туда приехала творческая молодежь из самых разных уголков нашей страны, из других социалистических стран. Прошу рассказать о

множество встреч, которые были у него как работника ЦК комсомола, как директора издательства, общении великого нашего художника слова с молодежью.

В. О. Осипов говорит о том, что литературная зрелость Шолохова с первых своих этапов была сопряжена с отеческим, наставническим отношением к литературной молодежи. Многие хранятся в дневниках, в блокнотах, в памяти... Стоит вспомнить, что когда в Ростове проводился первый — еще задолго до войны — съезд писателей Ростовской области, Шолохов был руководителем этого съезда, хотя самому писателю тогда еще не исполнилось и тридцати лет. Не случайно на нескольких писательских съездах под руководством Шолохова избирали секретарем Союза писателей СССР, отвечающим за работу с литературной молодежью.

Валентин Осипович читает сделанную им в своем дневнике запись фрагмента беседы Шолохова с молодыми писателями:

«— Тут заговорили о праве на ошибку. Хорошо ошибаться колхозному бригадиру, его председатель поправит, это ошибка локального характера, а вот писатель, ошибающийся в своем напечатанном произведении, заставит ошибиться тысячу читателей, вот в чем опасность нашей профессии. Конечно, от ошибок никто не застрахован, но и выговаривать себе заранее право на ошибку не годится».

А. И. Пузиков познакомился с Михаилом Александровичем в 1946 году.

— В ту пору, — вспоминает он, — Михаил Александрович носил еще форму полковника. Был он очень подтянут, жизнерадостен, общителен и вместе с тем сдержан и немногословен.

Речь тогда шла о первом послевоенном издании «Тихого Дона». С тех пор прошло много лет, встречи с писателями были частыми. После первых военных лет и по сей день только одно издательство «Художественная литература» выпустило произведения Шолохова шестьдесят раз, общий их тираж уже превысил 17 миллионов экземпляров...

В разговор снова вступает директор издательства:

— Шолохов прекрасно понимал, тонко чувствовал силу слова и дружил с издателями. Старался помочь им в их нелегком деле. Когда мы задумали выпустить шеститомную библиотеку лучших произведений русских и советских писателей о крестьянстве, естественно, что первым, с кем мы решили посоветоваться, какой она должна быть, стал Шолохов. В итоге он передал нам свою вступительную статью. В ней он говорит о читателях этой библиотеки:

«...Это и те, кто, заканчивая школьную или институтскую учебу, готовится стать крестьянином. Им эта библиотека должна напомнить ту народную мудрость, что вошла в собранный Владимиром Далем сборник русских пословиц, — «Без хозяина земля круглая сирота». Очень нужны сегодня родной земле молодые руки — руки хозяйские, неленивые, заботливые, которые бы не пожалели себя ради всенародного достатка, ради укрепления мощи нашей страны, ради преобразенных сельских нив».

А завершает Шолохов свою статью так: «В этой библиотеке наша отечественная литература как бы отчитывается перед вами, братьями и сыновьями, сестрами и дочерьми ее героев и героинь, любовное, уважительное и при этом прямое слово о которых она несет миру». А вот теперь послушайте: «Поклон вам низкий, люди земли, люди сельского труда!» Поклон вам низкий... Он будто бы попросился с людьми труда, с людьми земли.

Их заботы, их нужды, их стремления всегда были с ним, были его заботами, его нуждами, его стремлениями.

Также всегда были с ним его думы о молодежи, о достойной смене поколений. И о каждой отдельной, хотя бы единичной судьбе.

Недавно, разбирая старые папки, нашел я давнишнюю его телеграмму, такую характерную для него. Приведу ее полностью.

«ВЕШЕНСКОЙ РОСТ 234 76 30 2359 МОСКВА РЕДАКЦИЯ ПРАВДЫ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ЮРИЮ ЛУКИНУ

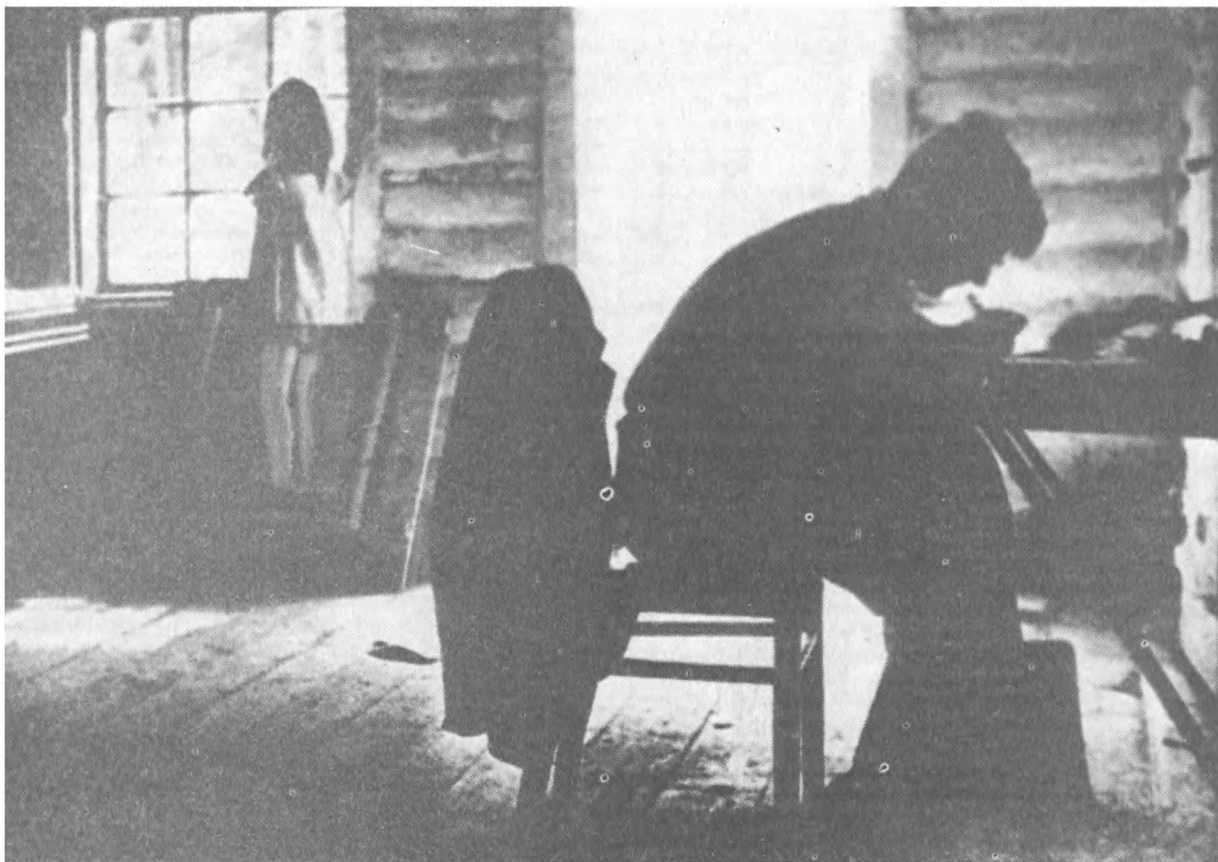
ДОРОГОЙ ЮРБОР ТВОЮ ТЕЛЕГРАММУ ПОЛУЧИЛ СПАСИБО ТЧК МНОЮ ПОЛУЧЕНА ТЕЛЕГРАММА МОСКВЫ СЛЕДУЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ДВТЧК ПРОШУ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ БЛЕСТЯЩЕ СДАЛ ЭКЗАМЕНЫ УНИВЕРСИТЕТ ОТДЕЛЕНИЕ ЖУРНАЛИСТИКИ НЕ ПРИНИМАЮТ ОТЕЦ ПОГИБ МАТЬ УБОРЩИЦА ВОЗВРАЩАТЬСЯ ГРОЗНЫЙ НЕТ СМЫСЛА ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ МОСКВА МОХОВАЯ 11 РЕКТОРУ МОСКВА 76 СТРОМЫНКА 32 СТУДГОРОДОК МГУ КВАРТИРА 382 РУСИНОВ БОРИС ДВТЧК ТЧК ОЧЕНЬ ПРОШУ ТЕБЯ ЛИЧНО УЗНАТЬ И ЕСЛИ ИГРА СТОИТ СВЕЧ ПОМОЧЬ ПАРНЮ ОТ МОЕГО ИМЕНИ ОБНИМАЮ — ТВОЙ ШОЛОХОВ».

Сколько хлынет в сердце от любого подобного толчка самых неожиданных, порою причудливых ассоциаций, влекущих за собою одна другую, одна другую!..

Дела, заботы, общие, часто общенародные проблемы, «злоба дня», углубление в задачи философские, выдвигаемые перед мастерами культуры современной жизнью... И посреди этого — как внезапное откровение — неспешные беседы о только что прочитанном, книжных новинках, которыми непрерывно пополнялась его библиотека, о свежих публикациях в журналах. Читал он и перечитывал очень много — классику, современных писателей, советских и зарубежных, поэзию. Не раз доводилось слышать, как читал он наизусть стихи, которые ему нравились особенно. Читал он превосходно. Слушать его было наслаждением. Чаще всего, пожалуй, память возвращала его к бунинским строкам. Недаром он в «Тихом Доне» так проникновенно и так тонко сказал о них...

Когда думаешь о нем, даже непомерно далекое встает в памяти таким живым — словно залитым солнцем, словно вошедшим или примчавшимся в твою жизнь только вчера.

Ю. ЛУКИН.



«ВСЕ СИЛЫ ОТДАТЬ ВЕЛИКОЙ И СВЯЩЕННОЙ ЦЕЛИ— ПОБЕДЕ»

Из литературного наследия
Дмитрия Шостаковича

Я вновь и вновь поражаюсь тому, какой насыщенной, интенсивной, несмотря на тяготы и лишения военного времени, была духовная жизнь нашего общества... — писал Дмитрий Дмитриевич Шостакович, вспоминая годы войны. — Я не такой уж знаток истории, но думаю, что ни в одной национальной культуре война не рождала столь колоссального взлета художественного творчества... Прежде война отражалась в искусстве на большом временном отдалении, отражалась преимущественно в своем трагическом облике. В годы битвы с фашизмом настрой творчества советских художников был иным. Искусство напрямую участвовало в борьбе народа с врагом. Оно не избегало страшной правды войны, однако даже в самые тяжкие дни в нем звучала героика, призыв, вера в грядущую победу. Наше искусство было напоено беспредельной любовью к Родине, это был его главный, определяющий тон». В этих словах много личного, автобиографического. Жизнь Шостаковича — жизнь великого художника-гражданина в годы великой войны — многократно описана в книгах, стать-

На снимке: Д. Д. Шостакович во время работы над Восьмой симфонией Иваново 1943 г.

Фото Н. Шостакович.

ях, научных исследованиях, воспета в стихах, она дала материал для фильмов и сюжеты для пьес. Но не менее впечатляют подлинные документы его жизни тех лет — его статьи и выступления, прямую запечатлевшие его горячий патриотизм, страстную ненависть к врагам Родины, неистребимую — всегда поражающую очевидцев в этом отнюдь не героической внешности человеке — стойкость, мощь духа, волю к борьбе и уверенность в победе.

Предлагаемые читателю страницы литературного наследия Шостаковича 1941—1945 годов, частью давно забытые, в значительной части публикуемые впервые, с очевидностью и достоверностью, присущей документам, свидетельствуют и о его повседневном гражданском мужестве, о настойчивых попытках попасть на фронт (в армию его не брали, конечно, не только из-за плохого зрения — всем была ясна ценность его таланта!), об упрямом нежелании уезжать из осажденного Ленинграда, о работе в Театре народного ополчения и о его напряженной духовной жизни, о творческом подвиге, породившем Седьмую и Восьмую симфонии, трагедийное Трио и многое другое.

ИДУ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ РОДИНУ

Вчера я подал заявление о зачислении меня добровольцем в народную армию по уничтожению фашизма.

Меня обуревают такие же чувства патриотизма и любви к родине, какими наполнены сейчас сердца миллионов советских людей. Эти чувства выражаются в горячем стремлении защитить наше Отечество от ненавистного врага, до конца уничтожить фашистскую гадину.

Я иду защищать свою страну и готов, не щадя ни жизни, ни сил, выполнить любое задание, которое мне поручат. И, если понадобится, то в любой момент — с оружием в руках или с заостренным творческим пером — я отдам всего себя для защиты нашей великой Родины, для разгрома врага, для победы.

Мощной лавиной идет наш 200-миллионный народ на сокрушительный штурм. Эта мощь обрушится на фашистские полчища и раздавит их.

Композитор Д. ШОСТАКОВИЧ.

Ленинград, 3 июля (по телефону)
«Известия», 4 июля 1941 г.

В ДНИ ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА

Война застала меня, как и многих других, за повседневной работой.

22 июня утром я узнал из речи товарища Молотова о нападении фашистов и в тот же день подал заявление об отправке меня добровольцем на фронт. Ответ был очень прост — когда понадобится, мы вас позovem. Отбор был очень серьезным; в армию принимались только по-настоящему полезные, обученные люди.

Я вернулся к своей обычной работе в консерватории. Мы слушали оканчивающих, ставили отметки, подписывали дипломы. Потом состоялся традиционный выпускной акт. В этом году консерваторию окончило много талантливых пианистов, скрипачей, певцов.

Тем временем консерватория начала готовиться к противовоздушной обороне, я вошел в состав пожарной команды.

Нас перевели на казарменное положение, и здесь я начал обдумывать 7-ю симфонию. Однажды ко мне зашел мой ученик, работающий в Театре народного ополчения, — композитор Левитин. Он пришел предложить мне заведовать музыкальной частью Театра народного ополчения.

Я с радостью согласился. Об этом театре, о его артистах, режиссерах, художниках и авторах будет еще много написано. Там собрались талантливые ленинградские драматурги, поэты, писатели. Там создавались очень интересные художественные произведения, например, коротенькая оперетта на тему о том, как Риббентроп собрал известную конференцию дипломатов. Очень крепко получилась в театре драматическая сценка «Георгиевский кавалер». Приятно, что она была написана не банально, с настоящим драматическим напряжением.

Может быть, самым слабым местом этого замечательного театра была возглавляемая мной «музыкальная часть». Я написал несколько песен, но встретил много неудобств при их исполнении: сопровождение духовым квартетом было слишком громким с чисто военной точки зрения, струнные оказались слишком «камерными» в прифронтовой полосе. Пришлось ограничить себя баянами.

Одна за другой уезжали в действующую армию бригады нашего театра и, возвращаясь, приносили с собой горячий воздух фронта.

Я дважды выступал в прифронтовой части. Какое замечательное настроение у бойцов! Все они абсолютно уверены в исходе боев. Впрочем, все ленинградцы уверены в том, что немцам не бывать в городе. Есть множество фактов, показывающих настроение так называемых обыкновенных людей. Ленинградцы ведут себя удивительно мужественно.

Я знаю целый ряд людей, которые у нас в консерватории казались совершенно незаметными. И вот такие простые, обыкновенные люди показали себя настоящими героями. Вот, например, Дания Шафран. В силу своей большой скромности он никогда не был в рядах консерваторского актива. Но в ополчении, в боях (а ему пришлось побывать и в очень трудной боевой обстановке) он проявил себя настоящим героем. Есть у меня ученик — Флейшман, только что закончивший свою первую одноактную оперу «Скрипка Ротшильда» на сюжет Чехова. В общечитии это был тоже такой незаметный, порой грубоватый человек. И он в трудные минуты показал себя большим человеком, достойным сыном страны.

Вот об этих самых, так называемых обыкновенных людях, людях, которых я люблю всей душой, перед которыми я преклоняюсь, потому что в каждом из них потенциально заложен герой, я пишу симфонию.

Первая часть ее рассказывает о мирной жизни «обыкновенных» людей. Это не те обыватели, о которых писал Штраус в своей «*Symphonia Domestica*». Он говорил о мещанах, он обливал их ядом сарказма, он жалил их острием сатиры, он презирал их и издевался над ними. А я пишу о тех, кто вызывает во мне чувство глубокой нежности и восхищения <...>

Пока я писал музыку, Ленинград превратился в неприступную крепость. Формировались все новые и новые отряды народного ополчения. Все население овладевало военными знаниями. Казалось, что война вытеснила все чувства и заботы. Но при встрече с одним из своих друзей я узнал, что абоненты на

филармонические концерты, несмотря на все события, внесли очередные взносы с аккуратностью мирного времени. И действительно, на концерты филармонии публика приходила в приподнятом настроении, она с горячей благодарностью встречала и провозгладала артистов. Я испытал на этих концертах совершенно особенное волнение. Я понял, что музыка, как и всякое другое искусство, составляет истинную потребность людей, и что чем напряженней и ответственней момент, тем сильнее впечатление от искусства, тем больше оно необходимо.

Работа над симфонией продолжалась и шла в очень сжатые сроки. Я написал вторую и третью части. Вообще говоря, я не люблю торопиться. Но эту симфонию писал с каким-то непонятным для меня самого напряжением. Когда я ее окончу — надо будет вернуться к началу, нужна еще отшлифовка, детали. Однако, когда я сочинял музыку, об этом как-то мало думалось<...>

Я постоянно с восхищением и гордостью наблюдал героических людей Ленинграда. Несмотря на частые воздушные тревоги, все работает точно и аккуратно. С невозмутимым спокойствием поддерживаются привычные формы жизни. Учреждения и заводы выполняют все задания. Театры живут творческой жизнью и дают публике ту бодрую и творческую зарядку, которая сейчас же отражается на военном и трудовом фронте. Все живут общим делом, стремятся к общей цели.

Жены и матери, не жалуясь, заботятся о своих сыновьях и мужьях. Более того — они разделяют с ними их заботы по охране города, по ликвидации пожаров. Даже дети делают все, что могут, чтобы помочь обороне родного города. Когда видишь, как при звуках сирены, возвещающей воздушную тревогу, начинают один за другим наполняться чердаки и у слуховых окон появляются бойцы пожарных команд, а в подворотнях становятся на дежурство женщины и дети, — тогда понимаешь, как едина и монолитна воля трудящихся Ленинграда.

Мне остается дописать финал симфонии. Его замысел мне представляется почти законченным. Я характеризовал бы его одним словом — победа. В финале хочется сказать о прекрасной будущей жизни, когда враг будет разбит.

Седьмая симфония — первое программное произведение в моей композиторской практике и первая симфония, написанная мною в мажоре.

Я никогда в жизни не посвящал никому своих произведений. Но эту симфонию, если она удастся мне, я хочу посвятить Ленинграду. Потому что все, что я писал в ней, все, что я в ней выразил, связано с этим родным моим городом, связано с историческими днями обороны его от фашистских насильников.

Д. ШОСТАКОВИЧ.

«Советское искусство», 9 октября 1941 г.

СЕДЬМАЯ СИМФОНΙΑ

(от автора)

Седьмая симфония — программное сочинение, навеянное грозными событиями 1941 года. Она состоит из четырех частей. Первая часть рассказывает о том, как в нашу прекрасную мирную жизнь ворвалась грозная сила — война. Я не ставил себе задачу натуралистически изобразить военные действия (гул самолетов, грохот танков, залпы пушек), я не сочинял так называемой батальной

музыки. Мне хотелось передать содержание суровых событий.

Экспозиция первой части симфонии повествует о счастливой жизни людей, уверенных в себе и в своем будущем. Это простая, мирная жизнь, какой до войны жили тысячи ленинградских ополченцев, весь город, вся наша страна.

Через весь средний эпизод проходит тема войны. Центральное место в первой части занимает траурный марш, или, вернее, реквием жертвам войны. Советские люди чтят память своих героев. После реквиема следует еще более трагический эпизод. Я не знаю, как охарактеризовать эту музыку. Может быть, в ней — слезы матери или даже чувство, когда скорбь так велика, что слез уже не остается. После большого соло фagота, посвященного скорби о погибших близких людях, наступает светлое и лирическое заключение первой части. Лишь в самом конце ее вновь издаликает тема войны, напоминающая о себе и о дальнейшей борьбе.

Вторая часть — очень лирическое скерцо. Тут воспоминания о каких-то приятных событиях, о радостных эпизодах. Все это подернуто легкой дымкой грусти и мечтательности.

Третья часть — патетическое адажио. Упоение жизнью, преклонение перед природой — вот мысли, заложенные в третьей части. Третья часть без перерыва переходит в четвертую. Наряду с первой четвертая часть является основной в этом сочинении. Первая часть — это борьба, четвертая — грядущая победа. Начинается эта часть кратким вступлением, после которого идет изложением первой темы, очень бравурной и взволнованной. Затем начинается вторая тема торжественного характера. Эта вторая тема является апофеозом всего сочинения. Спокойно и уверенно развивается апофеоз и разрастается в конце в большое и торжественное звучание.

Вот те мысли, которыми мне хотелось поделиться со слушателями симфонии. Много сил и энергии я вложил в это сочинение. Никогда я не работал с таким подъемом, как сейчас. Есть такое крылатое выражение: «Когда грохочут пушки, тогда молчат музы». Это справедливо относится к тем пушкам, которые своим грохотом подавляют жизнь, радость, счастье, культуру. То грохочут пушки тьмы, насилия и зла. Мы воюем во имя торжества разума над мракобесием, во имя торжества справедливости над варварством. Нет более благородных и возвышенных задач, нежели те, которые вдохновляют нас на борьбу с темными силами гитлеризма. Наши писатели, художники, музыканты во время Великой Отечественной войны работают много, напряженно и плодотворно, потому что их творчество вооружено самыми передовыми идеями нашей эпохи. И когда грохочут наши пушки, поднимают свой могучий голос наши музы. Никогда и никому не удастся выбить пера из наших рук.

Д. ШОСТАКОВИЧ.

Текст написан композитором в связи с премьерой Седьмой симфонии в Москве 29 марта 1942 года в Колонном зале Дома союзов. Публикуется по печатному экземпляру программы.

«Самое для меня дорогое и любимое из моих сочинений...» — так говорил композитор о своей Восьмой симфонии. Восьмая симфония не столь широко известна, не столь часто исполняема, как ее знаменитая предшественница. Между тем по мощи эмоциональных потрясений, по глубине содержания, по художественному совершенству титанической пятичастной композиции она не уступает Седьмой, а по широте, цельности и обобщенности мысли, по философской значительности даже превосходит ее.

«Для меня решающим, главным произведением в его творчестве явилась Восьмая симфония», — писал Святослав Рихтер.

А вот слова Жана Ришара Блока, сказанные сразу после премьеры: «В эту симфонию надо входить, как в страну самой музыки... И тогда можно сполна насладиться этим совершенно необычным морем звуков. Эта музыка потрясает вас, поражает, побеждая вдруг единым словом, произнесенным шепотом, она погружает вас в мечты... Громовые раскаты, перебиваемые плясками мертвых и песнями живых. Отдых на краю вулкана, нежные слова под грохот танков, мечты о будущем среди летающих вокруг снарядов. И в конечном итоге именно песне нежности и будущему принадлежит последнее слово. В этой музыке есть разумный оптимизм. Оптимизм 1943 года. Оптимизм, достойный советского человека 1943 года».

Быть может, меньшая — в сравнении с Седьмой — популярность Восьмой симфонии отчасти объясняется ее непрограммным характером, отсутствием «сюжетных моментов». Композитор сравнительно мало и скупно высказался об этом своем сокровенном создании. Тем драгоценнее те немногие признания, которые удастся обнаружить. В небольшой статье «Восьмая симфония» есть удивительные замечания о близости этого сочинения к Пятой симфонии и квинтету, но поразительнее всего мысль о том, что Восьмая симфония «является своеобразной попыткой взглянуть в будущее, в послевоенную эпоху»: ведь эта симфония всегда истолковывается (в музыковедческих трудах) как отражение событий войны!

Премьера Восьмой симфонии состоялась в ноябре 1943 года в Москве, а уже в начале апреля она была исполнена оркестром Нью-Йоркской филармонии в концертном зале Карнеги-холл в Нью-Йорке и транслировалась 134 радиостанциями США и 99 радиостанциями Латинской Америки. Дирижировал давний пропагандист музыки Шостаковича, первый исполнитель его оперы «Леди Макбет Мценского уезда» в США Артур Родзинский.

ВОСЬМАЯ СИМФОНΙΑ

На днях я закончил работу над своей новой — Восьмой симфонией. Написал ее очень быстро — за два месяца с небольшим. У меня не было какого-либо ранее задуманного плана этой симфонии. Когда я окончил свою Седьмую симфонию, предполагал писать оперу, балет, начинал работать над героической ораторией о защитниках Москвы. Но работу над ораторией все же отложил и принялся за Восьмую симфонию. Сюжетных моментов в ней нет. Она отражает мои мысли и переживания, общее хорошее творческое состояние, на котором не могли не сказаться радостные вести, связанные с победами Красной Армии. Это мое новое сочинение является своеобразной попыткой взглянуть в будущее, в послевоенную эпоху.

Восьмая симфония имеет много внутренних конфликтов — и трагических, и драматических. Но в целом это оптимистическое, жизнеутверждающее произведение. Первая часть представляет собой большое адажио, в своей кульминации достигающее значительного драматического напряжения. Вторая часть — марш с элементами скерцо, третья часть — очень действенный, динамичный марш. Четвертая часть, несмотря на маршеобразную форму, носит грустный характер. Финальная, пятая часть — свет-

лая, радостная музыка пасторального свойства, с разным рода танцевальными элементами, с наигрышами народного характера. Длительность исполнения всей симфонии 64 минуты.

Если сравнивать эту симфонию с предыдущими моими сочинениями, то она по настроению ближе всего к моей Пятой симфонии и квинтету. И мне кажется, в Восьмой симфонии некоторые мысли и идеи, содержащиеся в моих предыдущих работах, находят свое дальнейшее развитие. Идейно-философскую концепцию моего нового произведения я могу выразить очень кратко, всего двумя словами: жизнь прекрасна. Все темное, мрачное сгинет, уйдет, восторжествует прекрасное.

Д. ШОСТАКОВИЧ.

«Заря Востока». Ташкент. 3 октября 1943 г.

Страстной любовью к русской культуре, болью за ее судьбу, неистребимой верой в ее великое будущее полны публикуемые ниже выступления и статьи Шостаковича: его речь на Всеславянском митинге в Москве, статьи о М. И. Глинке и о «Борисе Годунове» Мусоргского, наконец, статья памяти Рахманинова. О ней следует сказать особо. 26 марта 1943 года в городке Беверли-Хилс в Калифорнии скончался, не дожив трех дней до своего семидесятилетия, Сергей Васильевич Рахманинов — последний из прямых представителей великой классической традиции русской музыки. В годы Великой Отечественной войны Рахманинов мучительно переживал судьбу родины, но верил в ее непобедимость. 22 марта 1942 года, передавая в фонд обороны СССР большую сумму денег, он писал: «От одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу!»

Мгновенно распространившаяся весть о кончине гениального музыканта потрясла Шостаковича, и это непосредственное чувство, эта острая боль невосполнимой утраты, острая даже в условиях той страшной поры, ярко запечатлелась в статье, написанной сразу по получении трагического известия.

СЛАВЯНСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ! БУДЬ В ПЕРВЫХ РЯДАХ БОРЦОВ ПРОТИВ КРОВАВОГО ФАШИЗМА!

(Речь Дмитрия Шостаковича)

Гитлер и вся преступная банда его приспешников на весь мир прокричали, что славянство, мол, низшая раса, исторически призванная быть рабами. Смысл этой чванливой болтовни более чем ясен: фашисты ненавидят славянство, как и всё в мире, что одарено талантом, живой мыслью и благородными человеческими устремлениями. Я горжусь тем, что я русский. Я горжусь тем, что являюсь сыном народа, породившего великого Ленина. Я горжусь тем, что я славянин и принадлежу к племени, которое подарило миру таких гигантов, как Пушкин и Лев Толстой. Я горжусь тем, что мои братья по крови, поляки, дали мировой культуре Микшевича, что мои одноплеменники, сербы, создали эпос, на протяжении долгих столетий являющийся предметом восхищения всего культурного человечества.

Как музыкант, я горжусь тем, что музыка моей родины занимает одно из почетнейших мест в мировой музыкальной культуре. Сынами русского на-

рода являются Глинка, Бородин, Мусоргский, Чайковский — гениальные композиторы, искусством которых люди не перестают восхищаться вот уже более столетия. Славянские народы сыграли огромную роль в деле культурного развития человечества. Славянство — одна из музыкальнейших рас в мире. Мелодии, созданные его народами, всегда служили источником вдохновения для всех передовых музыкантов. Я позволю себе напомнить о знаменитых «русских» квартетах Бетховена, о многочисленных обработках сербских песен у Брамса. Я напомним о неповторимой прекрасной польской народной музыке, на почве которой расцвел гений Шопена. Я прибавлю к уже названным плеяду чешских композиторов: Дворжака, Сметану, Яначека и нашего современника, умершего совсем недавно, замечательного польского музыканта Кароля Шимановского.

Да что говорить — отрицать значение славянской культуры глупо и бессмысленно. Это грязный вымысел разбойников, придуманный для того, чтобы хоть как-то скрыть злодеяния фашизма, особенно чудовищные в отношении славянских народов. Напротив, вместе со всем культурным человечеством мы обвиняем немецко-фашистских преступников в том, что они вандалы. Это они осквернили святыню русского народа — Ясную Поляну; это они топтали рукописи Чайковского в Клину; это они разрушили в Тихвине домик, в котором родился Римский-Корсаков; это они уничтожили бессмертные памятники русского зодчества в Новгороде и Истре. Все эти факты свидетельствуют о том, что если, вообще говоря, можно рассуждать о «высших» и «низших» представителях рода человеческого, то самыми низшими, грязными и подлыми надо было бы назвать именно германских фашистов. А культура славян, как бы ни стремились унижить и уничтожить ее гитлеровские орды, сегодня вызывает еще больше любви и уважения у всего мира.

Культура славянских народов страшна для фашистов, так как она прекрасна, а великое и прекрасное изобличает ужасающее моральное уродство фашизма. Она страшна гитлеровским приспешникам, ибо выступает сегодня со всем передовым человечеством как участник великой борьбы с коричневой чумой. Наше искусство ненавистно гитлерам и геббельсам, ибо оно сумело воспеть лучшие качества славянских народов, — их беззаветную храбрость, их готовность к самопожертвованию во имя благородных идеалов, их пламенную любовь к отчизне.

Русское народное искусство донесло до наших дней рассказы о том, как были биты немецкие псы-рыцари много сотен лет тому назад на льду Чудского озера. Безымянные певцы из народа воспели храбрость русских в Полтавском бою.

В безыскусных солдатских песнях дошли до нас овеянные легендарной славой суворовские походы. Более ста лет тому назад Пушкин в своем замечательном стихотворении рассказал, как непобедимое войско Наполеона в бессильной ярости вынуждено было отступить перед героическими сынами братского черногорского народа, а Лев Толстой в «Войне и мире» нарисовал могучую, а сегодня особенно поучительную картину крушения наполеоновской армии в Отечественную войну 1812 года.

130 лет прошло с тех пор, и вновь мирное славянство оказалось вынужденным взяться за оружие, чтобы защитить родную землю от наглых захватчиков. И мы видим, как под ударами славянских воинов — русских, украинцев, белорусов — разлетается в прах кичливая легенда о непобедимых армиях Гитлера.

Наша родина ведет жестокую борьбу с самым страшным врагом, какой когда-либо стоял на пути к человеческому счастью. В совершающейся смертельной схватке, как никогда, объединились все силы нашего народа.

Не только Красная Армия, не только героические работники оборонных предприятий, но и люди культуры, науки и искусства в нашей стране отдают все силы делу священной борьбы с фашизмом. Наши ученые, писатели, художники, композиторы работают теперь с удесятеренной энергией. Они знают, что лежит сейчас на весах истории. И мы счастливы тем, что наши дети и внуки, наши отдаленные потомки смогут сказать: в эти знаменательные дни русская культура, русская наука, русское искусство оказались на высоте. Они создали замечательные изобретения, которые помогли Красной Армии выполнить ее историческую миссию. Они создали для будущего замечательные художественные произведения, памятники великой борьбы. И в этом высоком творческом единении лучших людей русской, украинской, белорусской, польской, чешской, словацкой, сербской, хорватской, словенской культур сказались истинное качество славянских народов, их несокрушимая воля, их мужество, их вера в себя и в свои силы, их извечно благородное стремление помочь всему человечеству в борьбе с мрачными силами, пытающимися его поработить. Так пусть же в нынешней грандиозной схватке света и тьмы, добра и зла, человеконенавистничества — все культурные силы, интеллигенция, люди науки, техники и искусства славной братской семьи славянских народов бесстрашно выполняют свой долг — великую миссию, которую возложила на них история.

Братья славяне!

Великой славянской культуре угрожает смертельная опасность. Отстоять нашу многовековую культуру можно только в кровавой, беззаветной борьбе с гитлеризмом.

Славянская интеллигенция! Воспитывай и укрепляй в славянском народе традиции героической борьбы свободолюбивых славян, используй все виды оружия, всю человеческую культуру для разгрома фашистских оккупантов, будь в первых рядах борьбы против кровавого фашизма.

Москва. апрель 1942 г.

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ГЛИНКА

Глинка принадлежит к числу величайших гениев русского народа. Во многом конгенитальный своему старшему современнику Пушкину, Глинка был основоположником русской национальной музыкальной культуры. Воспитанный в образованной и патриархальной дворянской семье, с детства влюбленный в русскую народную песню, Глинка сумел «возвысить народный напев до трагедии» (Одоевский). Он первый уничтожил ту стену, которая в течение всего предшествующего столетия отгораживала народную крестьянскую и городскую песенность от высоких оперно-концертных жанров.

Конечно, и у Глинки были свои предшественники — талантливые и трудолюбивые музыканты, частично из крепостной интеллигенции. Но Глинка, своим гением обобщив их разрозненные достижения, одним взмахом создал произведение, сразу поднявшее русскую музыку на всемирно-историческую высоту. Этим произведением была «Отечественная героико-трагическая опера» (как обозначил ее в подзаголовке сам автор) «Иван Сусанин». В 1836 году

был заложен краеугольный камень русского музыкального театра.

В ту пору, когда дебютировал в опере Глинка, на подмостках музыкального театра безраздельно царила итальянская традиция, возглавлявшаяся Россини, Беллини, Доницетти. Глинка не соблазнился пленительно-чувствительными мелодиями итальянцев и вокальной обработкой прославленных примадонн с их соловьиными трелями и колоратурой. Итальянскую музыку с ее самодовлеющей голосовой виртуозностью он снисходительно назвал «цветочной».

Глинка стремился к героическому монументально-патриотическому музыкальному театру, к народно-исторической трагедии. Темой «Ивана Сусанина» он избрал многотрудную эпоху становления «в грозе и буре» русского национального государства и мужественный подвиг дотоле никому не известного крестьянина-патриота, жертвующего своей жизнью для спасения родины.

Не сразу было понято современниками все значение этого бессмертного произведения, хотя наиболее проникательные из них — в том числе Пушкин и замечательный писатель Одоевский — в России, гениальные музыканты Гектор Берлиоз и Франц Лист — на Западе — сразу оценили мировой, эпохальный смысл появления партитуры «Сусанина».

За народно-исторической трагедией последовал эпос «Руслана и Людмилы». В свое время Глинку упрекали в том, что он отяжелил шутливую анакреонтическую поэму Пушкина, заковал ее в многорудовые богатырские доспехи, вместо шаловливого изящества дал чуть ли не суровую монументальность. Следует, однако, заметить, что композитор всегда имел право перевести литературный первоисточник в иной, творчески близкий ему план (например, «Пиковая дама» Пушкина и Чайковского, «Кармен» Мериме и Бизе). Для задачи русской оперы надобен был именно романтико-героический эпос, воспринимающий «преданья старины глубокой», а не утонченно-элегантная шутка. И если от четвертого акта «Сусанина» протягивается нить к народным музыкальным драмам Мусоргского, то из эпических полотен «Руслана» вырастает богатырский симфонизм Бородина, величавое повествование его же «Князя Игоря», сказочно-эпический колорит Римского-Корсакова и так далее.

В «Руслане» — в замечательных лезгинке, арабском и татарском танцах — впервые в мировую музыку входит стихия музыки народов Востока, которая найдет дальнейшее воплощение в «Половецких плясках» Бородина, «Плясках персидок» из «Хованщины» Мусоргского, «Шехерезаде», «Антаре», «Золотом петушке» и других произведениях Римского-Корсакова и так далее.

Своим существованием Глинке обязана не только русская опера, но и русский симфонизм. От «Камаринской», «Вальса-фантазии», от Симфонии на русские темы — прямой путь к русскому национальному симфонизму Чайковского.

С огромной любовью относится к музыкальному наследию Глинки наш советский народ. Его бесценные произведения всегда будут предметом гордости и восхищения признательных потомков¹.

Д. ШОСТАКОВИЧ.

ПАРТИТУРА ОПЕРЫ МУСОРСКОГО

к постановке «Бориса Годунова»
в Большом театре

Я очень люблю Мусоргского и преклоняюсь перед его творчеством. Это гениальный русский композитор, создатель нового стиля оперы, оказавший огромное влияние на все мировое музыкальное искусство. Глубоко русская национальная опера «Борис Годунов» — венец творчества Мусоргского. Однако ее инструментовка оставляет желать много лучшего.

Мусоргский нашел отдельные великолепные оркестровые удаchi, но в целом композитору не хватило техники инструментовки. В партитуре композитора, например, плохо звучат такие сцены огромного симфонического напряжения, как колокольный звон, коронация, половец.

По свидетельству покойного А. К. Глазунова, с особенным удовольствием Мусоргский играл на рояле друзьям наиболее удавшиеся ему отрывки, в частности именно эти места. Глазунов вспоминал, что сцены колокольного звона и коронации в исполнении Мусоргского звучали прекрасно. Переложение, сделанное самим композитором для исполнения на фортепиано в четыре руки, также говорит о богатстве этих страниц.

В свое время, как известно, Н. А. Римский-Корсаков, редактируя партитуру «Бориса Годунова», не ограничился только переоркестровкой. Он многое пересочинил, переставил и изменил. Редакция Римского-Корсакова не дает нам подлинного Мусоргского.

Работая над партитурой этой оперы, я стремился восстановить подлинного Мусоргского и как можно глубже вникнуть в первоначальный творческий замысел композитора. Мне хотелось раскрыть его, донести до слушателей музыкальный текст Мусоргского, чтобы он предстал в том именно виде, в каком был написан. Такова моя задача.

Пересматривая партитуру, я кое-где сгладил шероховатости гармонизации, неудачную и вычурную оркестровку, отдельные гармонические ходы. В оркестровку мною введен ряд инструментов, которые не использовались ни Мусоргский, ни Римский-Корсаков. В своей редакции «Бориса Годунова» я старался дать оркестру роль большую, чем только сопровождение певцов, достигнуть большего симфонического развития оперы.

В партитуре Мусоргского неудачно оркестрована также и народная картина «Под Кромами». Между тем это одна из важнейших сцен. Ее пришлось переработать. В новой редакции эта сцена заняла более значительное место, чем раньше.

Не следует думать, что в процессе работы я что-либо пересочинил. Не меняя ни одной ноты Мусоргского, я лишь занимался оркестровкой его точного музыкального текста. Конечно, я не ставил своей задачей сделать все обязательно не так, как в партитуре Мусоргского. Я уже указывал, что у композитора имеется ряд гениальных оркестровых моментов. Например, начало сцены в келье, которое сделано великолепно. Естественно, что я сохранил его в полной неприкосновенности.

В течение шести месяцев, часто просиживая за партитурой дни и ночи, я с огромным увлечением и волнением занимался новой редакцией «Бориса Годунова». Для меня это была очень значительная, этапная работа. Близкое и длительное общение с подлинным музыкальным текстом величайшего рус-

¹ Статья о М. И. Глинке и выступление на Всеславянском митинге публикуются по сохранившимся машинописным экземплярам. Название в статье о М. И. Глинке в оригинале отсутствует.

ского композитора обогатило меня, дало возможность еще ближе и глубже изучить творчество Мусоргского.

Оркестровые репетиции «Бориса Годунова» в моей редакции под мастерским управлением С. А. Самосуда доставили мне истинное наслаждение. Я видел эскизы декораций к опере художника П. В. Вильямса. Они очень хороши.

Первоклассные певцы Большого театра Союза ССР будут заняты в «Борисе Годунове», и можно не сомневаться, что эта постановка явится крупным событием в жизни советского театра <...>.

Д. ШОСТАКОВИЧ.

«Вечерняя Москва», 1943, 11 мая

ПАМЯТИ РАХМАНИНОВА

Умер Рахманинов. Великий мастер музыкального искусства не дожил трех дней до семидесяти лет.

Рахманинов — это яркая неповторимая страница истории русской музыки. Во всех отраслях музыкального искусства Рахманинов был первоклассным мастером. Он был композитором, пианистом и дирижером. Он никогда не будет забыт. Его сочинения всегда будут приносить радость слушателям. Но и его исполнительское искусство никогда не забудется, как никогда не забудется искусство А. Рубинштейна, Н. Рубинштейна, Шалыпина, Паганини, Листа и других великих мастеров. Наши потомки должны быть счастливы, что игра Рахманинова записана на пластинки, и эти пластинки мы должны беречь, чтобы навсегда сохранить незабываемое рахманиновское мастерство. Некоторые критики фамильярно и поверхностно рассуждают об отсутствии глубины и самобытности в рахманиновском творчестве, «упрекают» его в «салонности» и тому подобной чепухе. Подлинный музыкант, конечно, поймет, что все эти рассуждения суть плоды нелюбви к музыкальному искусству, плоды недомыслия и непонимания.

Я горячо люблю музыку Рахманинова и считаю его творчество гениальным. Его мелодии всегда своеобразны и прекрасны, гармонический язык своеобразен и поэтичен. Я не считаю себя вправе говорить Рахманинову комплименты. Тому, чем восхищаешься всем своим существом, нельзя говорить комплименты, так как слова ничтожны по сравнению с теми чувствами, которые вызывает во мне великое явление, имя которому Рахманинов.

Я не знал Рахманинова лично. Я не знаю, что это за человек в своей личной жизни. Мне обидно, что последние годы он провел вдали от моей и его родины. Я не берусь судить его за это, хотя в глубине своего сердца все же осуждаю его отрыв от Родины и народа. Но мне радостно было узнать, что в тяжелые для нашей Родины дни Рахманинов вспомнил, что он является сыном Великого Русского Народа, и своим искусством и поступками помогал нам защищаться от фашистского нашествия.

Радостно мне было ощущать себя современником Рахманинова и больно знать, что этот великий спутник моей жизни ушел от нас навсегда.

Д. ШОСТАКОВИЧ.

Личный фонд Д. Д. Шостаковича в ЦГАЛИ

В краткой заметке, написанной еще в конце 1945 года для «информационного обзора» о работе композиторов и музыковедов Ленинграда в годы

войны, Шостакович сам подвел итог своей творческой деятельности тех лет. Выпущенный небольшим тиражом в начале 1946 года, этот сборник, изданный Ленинградским союзом композиторов, давно стал библиографической редкостью. Статья Шостаковича, опубликованная в нем, названия не имеет.

МОЯ РАБОТА В ГОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

За время войны мною написаны две симфонии и ряд камерных произведений — инструментальных и вокальных.

Мне кажется, что моя музыка в какой-то мере запечатлела чрезвычайно интересный, сложный и трагический облик нашей эпохи.

Мне хотелось в художественно-образной форме воссоздать картину душевной жизни человека, оглушенного гигантским молотом войны. Мне хотелось рассказать о его тревогах, о его страданиях, о его мужестве и о его радости. Причем все психические движения невольно приобретали особенную отчетливость и драматизм, так как они всегда освещались заревом войны.

Часто я связывал его индивидуальную судьбу с судьбами народных масс, и они шествовали вместе, охваченные яростью, болью или ликованием.

Мне казалось весьма заманчивым изобразить человека, любящего жизнь и свободу и поэтому смело восставшего, выражаясь словами Шекспира, против моря бедствий.

Этот человек, являющийся героем моей музыки, идет к победе через мучительные испытания и катастрофы. Он много раз падает и снова встает. Крепкая воля и благородная цель вдохновляют его для борьбы и конечной победы. Само собой разумеется, что его путь не усеян розами, ему не сопутствуют веселые барабанщики.

Оптимистические финалы моих вещей вовсе не являются плодом авторского своеволия. Для меня они закономерно возникают из всего художественного контекста произведения. Они также соответствуют и объективной логике событий, и моему восприятию хода истории, который должен неизбежно привести к гибели тирании и зла, к торжеству свободы и человечности.

Война поставила всю землю дыбом. Она довела до предельного напряжения физическую и душевную энергию всего прогрессивного человечества. Следовательно, музыканты, не желающие устраниваться от действительности, не могут заниматься игрой в звуки. Они должны, на мой взгляд, стремиться к тому, чтобы их произведения были насыщены максимальной эмоциональностью, страстностью и духом истинного гуманизма.

Я тоже к этому стремлюсь, но не мне судить, насколько я это делаю успешно.

Д. ШОСТАКОВИЧ.

Публикация и комментарий
Манашира ЯКУБОВА



ЦЕЗАРЬ
СОЛОДАРЬ

**«ПРАВДА—
НА НАШЕМ
ВООРУЖЕНИИ!»**



Погрешил бы я против истины, назвав Бориса Горбатова своим другом. Большинство авторов изданного «Советским писателем» содержательного сборника «Воспоминания о Борисе Горбатове», несомненно, знали его дольше и глубже, иные крепко дружили с ним. Тем не менее я не вправе не написать об одной из ярких страниц биографии и творчества этого самобытного, одухотворенного писателя-коммуниста — о его великопечной работе в последние дни войны на Берлинском направлении и в самой поверженной столице гитлеровского рейха. Так случилось, что эта страница развернулась на моих глазах.

В своих воспоминаниях о штурме рейхстага Борис Леонтьевич скромно именует себя очевидцем этой героической операции советских воинов. Но только ли очевидцем был в те часы писатель? Считаю себя обязанным точно ответить на этот вопрос.

Тридцатое апреля сорок пятого года. Миналов промозглый полдень, но тяжелый туман по-прежнему висит над пылающим Берлином, и росчерки огня кажутся призрачными. Полк Плеходанова расположился в обгоревшем «доме Гимmlера» — так бой-

На снимке: военные журналисты, писатели и фотокорреспонденты у рейхстага 5 мая 1945 года

Фото Евгения Халдея.

цы окрестили глыбообразное здание гитлеровского министерства внутренних дел. Отсюда до рейхстага очень близко — метров четыреста пятьдесят. Вернее, очень далеко: враг обрушил непрерывный, беспощадный огонь. Огонь обреченных. Из ощерившегося орудиями рейхстага и близлежащих зданий фашистские артиллеристы, минометчики и фаустники простреливают каждую плитку забаррикадированной и заминированной королевской площади перед рейхстагом. Сейчас, впрочем, эту вздыбленную котловину не назовешь площадью — до того испещрена она дотами, траншеями, надолбами. Каждый шаг, каждый сантиметр к последнему оплоту фашистской столицы — в зоне не прекращающегося ни на секунду перекрестного огня.

И все же в этот огненный смерч из «дома Гимлера» придется ринуться или, как выражаются на КП, выброститься бойцам Плеходанова. Начальная задача — добраться до залитого водой огромного поперечного рва, промежуточная — перебраться через эту искусственную водную преграду, конечная — ворваться в рейхстаг и закрепиться там.

Настает решительная минута. По наскоро сколоченным дощатым мосткам бойцы выбегают из полуподвальных окон. Приходит черед и роты Петра Греченкова, московского метростроевца. В берлинском сражении он уже успел накопить опыт продвижения по объатым пламенем улицам, опыт захвата крупных зданий. Он знает, насколько важно, не теряя ни единой секунды, пробежать, пройти, проползти, словом, преодолеть первые метры. Греченков доволен: никто из атакующих не отстал, в том числе и несколько мешковатый подполковник, еще только что старательно протиравший толстые стекла очков. Солдаты сочли его политотдельцем, а докапываться, из какого он политотдела, корпусного или дивизионного, сейчас не время.

Пройдено метров шестьдесят. Рота по приказу Греченкова залегла. Есть первые раненые. У пожилого ефрейтора по щеке побежала кровь. Подполковник помогает ему перевязаться. Делает это чересчур усердно: повязка приобретает гигантские размеры и захватывает всю голову. Надо двигаться дальше, добраться до искореженных самоходок и разбитой трансформаторной будки — там снова можно будет укрыться от огня.

Двинулись. Медлительный подполковник и называющий его товарищем комиссаром пожилой ефрейтор ползут рядом. Вот уже осталось несколько шагов до подбитой самоходки...

Но почему же об этом смелом броске греченковской роты на рейхстаг не написал Борис Горбатов? Ведь это его, корреспондента «Правды», бойцы приняли за одного из многих политотдельцев, привычно шедших в первых рядах бойцов на штурм самых опасных вражеских укреплений.

Даже ближайшим друзьям Горбатов не рассказывал, как вопреки запрету командира корпуса С. Перверткина отправился по насквозь простреливаемой улице Альт-Моабит в дивизию генерала В. Шатилова, как не внял предостережению комдива и через мост Мольтке прополз к «дому Гимлера», а затем в боевых порядках наступающего подразделения пошел на рейхстаг. А вот послушаться командира роты в обстановке штурма уже не решился и вместе с ранеными остался у покореженных самоходок. Когда раненому ефрейтору неведомо стало терпеть жажду, Горбатов сползал к укрытому за подбитым танком раненому младшему лейтенанту, взял у него флягу с водой и тем же маршрутом вернул флягу...

...В 1971 году правдист Мартын Мержанов, вер-

ный и неразлучный спутник Горбатова от первого до последнего часа Берлинской операции, подарил мне свою документальную книгу «Так это было» («Последние дни фашистского Берлина»), заслуженно выдержавшую впоследствии несколько переизданий. В этой книге немало страниц и даже глав посвящены Горбатову. Вручая мне книгу, Мартын Иванович на несколько секунд призадумался и тихо сказал:

— А ведь я сознательно погрешил против истины. — И как бы отвечая на мой недоверчивый взгляд, жестко продолжал: — Но не мог нарушить слово, которое из меня выжал Борис. Он категорически запретил упоминать о его участии в броске греченковской роты: «Раз не дотянул до рейхстага хоть несколько десятков метров, писать об этом не надо. Конечного результата не было...»

Рота Греченкова выполнила боевой приказ. Ворвалась в рейхстаг вместе с другими подразделениями. Мы с Александром Андреевым, корреспондентом «Комсомольской правды», узнали об этом на КП корпуса.

В январе 1954 года, незадолго до своей безвременной кончины, Горбатов говорил мне:

— Пожалуй, «Непокоренными» — повестью, фильмом и оперой — я в какой-то мере оплатил долг перед моими земляками, громившими в тылу оккупантов. Закончу роман «Донбасс» — а к этому дело идет, — и совесть моя перед земляками будет чиста. На какое-то время... Да и зимовщики Арктики, пожалуй, не могут укорить меня, что я напрасно их хлеб-соль ел. А вот перед героями штурма рейхстага я пока еще в долгу. В большом долгу. Не решил даже — писать ли документальную повесть, или, чем черт не шутит, пьесу?.. Нет, нет, в драматургии я все еще дилетант...

Я пытался возразить Горбатову. Сослался на долгую сценическую жизнь его пьес «Юность отцов» и «Закон зимовки» (последняя, кстати, заново поставлена Московским театром имени Маяковского весной 1984 года), но услышал в ответ:

— И все-таки о штурме рейхстага я буду писать прозу. Старушку прозу.

— И, наконец, расскажете от первого лица о броске роты Греченкова на королевскую площадь?

— Это что? — спросил Горбатов. — Коварный намек о намерении поведать миру, как я не дошел до рейхстага?

— Но все-таки шел! Шел в атакующих шеренгах!

— На эту тему я накладываю табу, — нахмурился Борис Леонтьевич. И вдруг воскликнул: — А о рейхстаге я напишу! Напишу! — Причем воскликнул так горячо, что я вспомнил засвидетельствованные Яковом Макаренко в его берлинском дневнике слова Горбатова бригаде правдивов, тяжелыми дорогами дошедших до логова поверженного врага: «Рейхстаг! Описанию его штурма не жаль посвятить целую жизнь!»

Борис Леонтьевич стал для меня идеалом писателя-фронтовика весной сорок третьего, когда, не будучи еще с ним знаком, я прочитал в газете «Литература и искусство» (военный гибрид «Литературной газеты» и «Советского искусства») его необычайно темпераментную статью «Фронтовому журналисту». Эмоционально написанная на едином дыхании в форме дружеского письма сотоварищам по перу, статья захватила меня. Спрягав вырезку в свою походную планшечку, я часто перечитывал горбатовские строки. Они стали для меня памяткой, уставом корреспондентской работы на фронте.

«Мы много говорим о любви, товарищ, — писал Горбатов военным журналистам. — Давай поговорим

о ненависти. Велика сила ненависти! Она мирного, глубоко штатского человека превращает в война, скромного солдата — в героя, старика пасечника — в народного мстителя, девочку-школьницу — в Зою Космодемьянскую... Чего ждет, чего требует от нас, журналистов, народ? Правды. Только правды. Нас, военных корреспондентов, судьба поставила свидетелями и участниками великой битвы. Мы многое видим. Мы многое знаем. И мы — люди. У нас при виде фашистских зверств обливается сердце кровью и благородная ненависть неугасимо горит в душе. Отчего же часто пишем мы рыбыими словами, с рыбыим спокойствием и равнодушием?.. Великая сила правды. Она рождает ненависть к врагу. Правда обвиняет, уличает и клеймит фашиста. Правда призывает его. Правда — на нашей стороне. Правда — на нашем вооружении. И мы, военные писатели и журналисты, должны уметь увидеть эту правду, понять ее и донести людям».

Далеко не блестящая выправка, грузноватость, близорукость плюс сугубо «штатская» манера разговаривать даже в напряженной военной обстановке не могли все же затмить в Горбатове «военной косточки». Сказывалась войсковая подготовка и практика: чоновские отряды в юности, срочная красноармейская служба во 2-м Кавказском стрелковом полку, работа на командирской должности помощника начальника штаба полка по разведке вблизи государственной границы, освободительный поход в Западную Белоруссию, участие в боях с белофиннами, точнее, в прорыве «несокрушимой линии Маннергейма»... Все это позволило Горбатову прийти на Великую Отечественную войну сведущим и опытным военным. Встречавшихся с ним на фронте строевых командиров подкупало и его умение читать военные карты.

— Когда Борис приезжает в действующую часть, мастера военного дела разговаривают с ним на равных, — не без зависти делался с Александром Андреевым и мною Василий Гроссман. — А в нас с вами сразу же распознают в лучшем случае невежд, в худшем — докучливых интервьюеров. Сам Борис, правда, подтрунивает над своими военными знаниями. Но зато с гордостью именует себя политработником. И с полным основанием. Откровенно скажу: когда я во время работы над рукописью думаю о чертах настоящего комиссара фурмановского типа, передо мной рядом с замечательными политработниками, каких мне посчастливилось встретить на войне, встает Борис Горбатов...

Впервые Горбатову доверили револьвер, когда четырнадцатилетним пареньком он, боец части особого назначения, встал в караул у военного склада. С того дня Горбатов приучил себя аккуратно и до тошноты чистить пистолет. До боли не выносил свойственного — чего греха таить! — кой-кому из военных корреспондентов халатного отношения к личному оружию. Одному из нас раздраженно заметил: — Даже если вы не расстегнете кобуры, бывалые солдаты все равно утадут грязь на вашем пистолете. Представляете, с каким «уважением» они отнесутся к вам...

Сейчас в моде слово «коммуникабельный». К Борису Горбатову больше подходит слово «компанейский» — не в вульгарном, а в самом хорошем смысле. После падения фашистского Берлина Горбатов напомнил своему соавтору по многим корреспонденциям с берлинского направления Мартыну Ивановичу Мержанову:

— Ты не забыл, что через два дня День печати? Как мы его отметим?

— Торжественное собрание в честь Пятого мая

проводят обычно в Москве, в Колонном зале, а нам туда, вероятно, не попасть, — отшутился Мержанов. — А здесь мы, если представится возможность, «выпьем за писавших, выпьем за снимающих», — он процитировал широко известную и полюбившуюся всем журналистам-фронтовикам «Песню военных корреспондентов» Константина Симонова и Матвея Блантера.

— Нет, — сказал Горбатов. — Мы соберемся в этот день и в Берлине! У стен рейхстага! Правда, большинство наших товарищей закончили войну не в Берлине, а в других местах. Но и для них штурм рейхстага — символ победного завершения войны.

— Если немедленно начнем действовать, — зажегся Мержанов, — то очень многих, кто сейчас в Берлине, пожалуй, соберем. Может быть, даже всех.

— Нет, — опять возразил Горбатов. — Мы обязаны известить товарищей и с других фронтов, воевавших на берлинском направлении. Вызвать их!

В Политуправлении 1-го Белорусского поддержали предложение Горбатова. От его имени протелеграфировали в Политуправления 2-го Белорусского и 1-го Украинского с просьбой известить всех военных корреспондентов: 5 мая ровно в 13.00 у здания поверженного рейхстага встреча в честь Дня печати.

А в самом Берлине, помню, в какую часть или военную комендатуру ни заглянешь, сразу же слышишь: «Не забыли? Борис Горбатов приглашает вас на встречу в честь Дня печати».

Мы с Александром Андреевым утром 5 мая осматривали нацистский центр подслушивания в Целендорфе, где сразу же после войны ЦРУ организовало печально известный «Центр документации США» — вернее его было бы назвать моргом: американцы похоронили там более тридцати миллионов документов из главных нацистских архивов и тем самым дали возможность многим Klaus Barbie избежать скамьи подсудимых. Осмотр центра подслушивания, естественно, увлек нас. Но в полдень встретившийся армейский политработник напомнил: «Смотрите, товарищи, не подведите Горбатова: он ждет вас у рейхстага ровно в тринадцать ноль-ноль». В этом напоминании незнакомого политработника отражается то огромное уважение, которое сумел Борис Леонтьевич снискать в войсках Берлинской группы наших войск.

Не всем писателям-фронтовикам, работавшим корреспондентами на берлинском направлении, удалось прибыть в назначенный час к рейхстагу. Не приехали, например, Борис Полевой и Вадим Кожевников — войска Первого Украинского продолжали еще добывать фашистов на чехословацкой земле. Не увидели мы и Константина Симонова, работавшего тогда вдвоем с Александром Кривицким, тоже корреспондентом «Красной звезды».

Никогда не забыть той встречи у рейхстага. Собралось сначала около пятидесяти писателей, журналистов, фотокорреспондентов. Частенько вглядываюсь я в заветный фотоснимок. Вижу Всеволода Вишневского, Всеволода Иванова, Бориса Горбатова, Александра Бека, Романа Кармена, Льва Славина, Леонида Кудреватых, Виктора Полторацкого, Александра Андреева, Евгения Габриловича, Якова Макаренка, Леопольда Железнова...

Многих я давненько не видел. Горячо обнял меня и даже прослезился Евгений Иосифович Габрилович. Нам довелось вместе провести на Западном фронте первые — самые тяжелые — недели отступления. «Не правда ли, — улыбнулся он, — сейчас, в Берлине, у нас с вами настроение получше, нежели летом сорок первого в полуокружении под Смоленском. Помните, как вы в палатке меня угощали сладкими

кубиками концентрированного военоторговского какао и все доказывали, что каждая лишняя крупинка сахара полезна корреспондентским мозгам?»

Сравнительно молодой литератор, я тогда у рейхстага впервые увидел некоторых известных писателей. Познакомился со Львом Славиним. С Романом Карменом тоже впервые обменялся рукопожатием, положившим начало нашей многолетней доброй дружбе. Узнал, конечно, знакомого мне по портретам Всеволода Вячеславовича Иванова. Но познакомиться с ним тогда, к сожалению, не удалось. Примостившись где-то в сторонке, он поглощен был своим блокнотом. «Два часа лазал по всем закоулкам рейхстага,— пояснил нам Кудреватых.— Совсем замучил нас со Славиним!» А сейчас Иванов так увлеченно правил и дополнял свои записи, словно не слышал темпераментных призывов фотокорреспондентов поскорее построиться для группового снимка. Многие из нас тоже стали торопить Всеволода Вячеславовича. Нас остановил Горбатов:

— Поймите, лодыри: человек работает. А когда мы начнем фасонисто позировать, он пристроится к нам.

Действительно, Иванов подошел к нашей группе в последнюю минуту. Потому-то на снимке и стоит с краю на самой верхотуре.

Съемка проходила весело. Слышались самые неожиданные вопросы фотокорреспондентам вроде: — А она тоже хорошо выдана?

«Она» — это колоритная развалина рейхстага с остатками гербовой лепнины.

Вот уже, кажется, можно снимать. И вдруг голос Вишневого:

— Мне кажется, на таком снимке можно было бы обойтись без трубки.

Кроткий Габрилович, сообразивший, что Вишневский имеет в виду именно его, с несвойственной ему настойчивостью возразил:

— А мне кажется, на таком снимке трубка особенно подошла бы морякам.

— Один ноль в пользу пехотинца,— заметил Горбатов.

Вишневский рассмеялся. Фотокорреспонденты начали снимать.

Кое-кто из наших товарищей с других фронтов прибыли к рейхстагу со значительным опозданием. Вот почему на групповом снимке их нет. Но фотокорреспонденты, не щадя сил и не жалея пленки, продолжали щелкать затворами аппаратов. Снимали то группу правдивов, то известинцев, то корреспондентов центральных военных газет. С опозданием появился и Александр Безыменский. Но вот передо мной снимок, запечатлевший его вместе с Всеволодом Вишневым и генерал-полковником Н. Э. Берзариным, первым советским комендантом Берлина. Снимавший их фотокорреспондент попросил меня поддержать сумку. Заметив это, Всеволод Витальевич шутиливо-приказным тоном бросил мне: «Ваше дело, товарищ майор, не ассистировать мастеру фото, а сняться вместе с нами». Так и я оказался на этом памятном снимке.

Спустя четыре десятилетия еще очевидней ощущаешь плодотворность инициативы Горбатова. Групповой снимок писательно-журналистской братии в Берлине воспроизведен во многих книгах, экспонируется в военно-исторических музеях, в частности в том карлсхорстском доме, где был подписан акт о капитуляции. Этот снимок напоминает, как много сотен писателей и журналистов рассказывали советскому народу непосредственно с фронта о тяжелых буднях военной страды, рассказывали горячими

строками, зачастую написанными под огнем на передовой.

Еще когда фотокорреспонденты только начали выстраивать нас у подъезда полуразрушенного рейхстага, Горбатов предложил сесть в самом центре первого ряда. Он категорически отказался:

— Не делайте из меня свадебного генерала. Хватит, что я сравнительно неплохо справился с ролью свата — собрал такую ораву.

— Но нельзя же центральное место оставлять пустым,— возразил Роман Кармен.— Хорошо бы занять его кому-нибудь из «Правды».

— Вот это верно,— согласился Горбатов. И сказал Мержанову: — Займи.— Заметив колебания Мартына Ивановича, добавил: — Приказываю как старший по званию.

Люди, близко знавшие Горбатова до войны, подчеркивают присущий ему юмор, склонность к шуткам, к веселым розыгрышам. Могу засвидетельствовать, что и на войне Борис Леонтьевич сохранил эти черты.

Забегая вперед, скажу: умение Горбатова видеть юмор и шутку в том, что кое-кому казалось чуть ли не крамолой, спасло меня в Берлине от... товарищеского суда. Да, не вмешайся Горбатов, мне пришлось бы за несколько дней до Победы держать ответ перед офицерским товарищеским судом.

Если начинать от Адама, «повинен» в моем преступлении Евгений Долматовский. Используя мелодию и фразеологию знаменитой «Конармейской» Суркова и братьев Покрасс, он написал очень смешную шуточную песенку о военных корреспондентах. В этой песенке — по свидетельству самого Долматовского «ехидной, на манер дружеского шаржа» — досталось и его другу Борису Леонтьевичу. Горбатов, естественно, не только не обиделся, но стал ревностным ее распространителем. К примеру, я впервые услышал ее в усердном и темпераментном исполнении самого Горбатова.

Популярность пародийной песенки вышла далеко за пределы корреспондентской среды. И когда я доподлинно узнал, что ее дважды со смехом прослушал Василий Иванович Чуйков, во мне разыгралась черная зависть к успеху Долматовского. Надо его перещеголять, решил я. И, взяв за основу мелодию и стихи знаменитого вальса Исаковского и Блантера «В лесу прифронтовом», быстро (а только быстро и пишутся пародии) сочинил песенку, вполне безобидно намекавшую на то, что иные деятели искусств, приехавшие из Москвы в Берлин, наблюдают войну не на линии фронта, а «в лесу прифронтовом». Шуточные песенки распространялись на войне, как известно, несказанными темпами. Так случилось и с моим скромным опусом. Упоенный молниеносной «славой», я в прекрасном настроении поехал в авиационную часть к прославленному летчику-истребителю, «королю» берлинского неба Ивану Кожедубу. Но когда вернулся в корреспондентский стан, настроение сразу испортилось: один из недавно прибывших в Берлин деятелей искусств принял мои намеки на свой счет и настоятельно требует разбирательства в офицерском товарищеском суде. «Отдельные товарищи», сказали мне, заверженные звучным словом «диффамация»¹, поддерживают жалобника. Я уже мысленно сочинял «последнее слово подсудимого», когда разговоры о замышляемом суде дошли до Горбатова. По его просьбе я дважды, но без особенного подъема пропел ему «криминальную» песенку.

¹ Диффамация — распространение о ком-либо порочащих сведений

— Суд действительно нужен,— вскипел Горбатов.— Над человеком, начисто лишенным чувства юмора. Хотя его оправдают, он не виноват — такое дается только от господ бога.

Вскоре между Горбатовым и военным корреспондентом в довольно высоком воинском звании — другом «жертвы диффамации» — состоялся при мне такой диалог:

— Неужели вы не можете разъяснить этому человеку, что на шутку, на пародию способен обидеться только... Термин подберите сами.

— Борис Леонтьевич, вы знаете, как я вас уважаю, но мы не должны оставить безнаказанной диффамацию.

— Значит, вы за суд?

— Борис Леонтьевич, вы знаете, как все вас уважают. Я проинформирую товарищей о вашем мнении и гарантирую: из уважения к вам мы ограничимся только обсуждением типа летучки и элементарным товарищеским порицанием.

— Что ж,— нарочито шумно вздохнул Горбатов,— придется нам с Солодарем выслушать элементарное товарищеское порицание.

Суровый гонитель «диффамации» на какое-то мгновение потерял дар речи:

— А... а... а, собственно говоря, при чем тут вы, Борис Леонтьевич?

— При том, что писали пародию мы вместе. Суд поможет узнать об этом всем, кого наша песенка, как и следовало ожидать, рассмешила.— Горбатов озорно подмигнул мне.— А вам, Солодарь, впредь неповадно будет пренебрегать соавтором. Ведь начальник Политуправления похвалил за песенку одного вас. А я остался в тени. Правда, несправедливо? — обратился он к другу лишенного чувства юмора деятеля искусств.— И раз так, мне тоже придется приступить к товарищескому суду Костю Симоню. Ведь он, мне передавали, прочитал в одной компании экспромт, где весьма и весьма иронически рифмуются «Борис Горбатов» и «персона грата». Пожалуй, это пахнет диффамацией!..

Как читатель, вероятно, догадался, обсуждение «типа летучки» же состоялось и «элементарного порицания» я не получил.

Но я отвлёкся от встречи военных корреспондентов у рейхстага и спешу вернуться туда.

Не успели мы после неоднократного щелканья затворов фотокамер «выйти из строя», как к рейхстагу подошла колонна бойцов. Впереди молодежато шагала старший сержант, очень юный, с двумя медалями «За отвагу» на гимнастерке и перевязанной кистью левой руки. У самых ступеней он остановил колонну и нерешительно, даже как-то растерянно стал оглядываться на нас. Разглядев подполковничьи погоны Горбатова, лихо отковырял ему:

— Товарищ подполковник, по приказанию командира части мы в порядке награды прибыли для осмотра разбитого в пух и в прах рейхстага!

— Как это «в порядке награды»? — протянув сержанту руку, спросил подполковник.

С оттенком снисходительности сержант стал объяснять.

— Все бойцы рвутся осмотреть внутренности последней цитадели гитлеризма. И наше командование приняло такое решение: для начала послать на осмотр поверженного... Частично и силами нашей части... тех, кто...

— Поздравляю вас,— снова пожал Горбатов сержанту руку.

Прибодравшийся сержант уже менее официально посетовал:

— Но как же нам без сопровождающего? Мы

должны в семнадцать тридцать двинуться обратно в часть. А где и что в бывшем рейхстаге главное, нам неизвестно. Еще упустим самое выдающееся...

— Вы правы, без хорошего гида вам не обойтись.—И, указав сержанту на Всеволода Иванова, Горбатов заверил его: — Из всех присутствующих здесь лучшего сопровождающего вам не найти.

Сержант было поспешил к Всеволоду Иванову, но тут же огорченно сказал Горбатову:

— Как же это — товарищ без погон? Личность вроде бы штатская.

— Уверю вас,— ответил Горбатов,— лучшего гида по внутренностям рейхстага здесь сейчас нет.

Не знаю, помог ли Всеволод Иванов провести экскурсию. Меня в этот момент отвлёкло огорчительное для меня известие, которое мне сообщил Александр Андреев. Чуть ниже я вернусь к этому известию. А пока должен сказать: из писателей-фронтовиков первым досконально осматрел рейхстаг все-таки Борис Горбатов. Еще 2 мая, рано утром, хотя еще постреливали недобитые фашистские снайперы и фаустпатронщики, Борис Леонтьевич со спецкором «Красной звезды» капитаном Ефимом Гехманом проник в рейхстаг. Первыми из военных корреспондентов Горбатов и Гехман взяли интервью у первого советского коменданта рейхстага полковника Зинченко. Затем Бориса Леонтьевича окружила группа участников боев за рейхстаг, в том числе и знакомые ему бойцы полка Плеходанова. Более полутора часов беседовали они по душам с писателем, побывавшим им по «Письмам к товарищу», по очеркам и корреспонденциям в «Правде».

Впоследствии некоторые из журналистов настойчиво допытывались у участников штурма рейхстага, кого они считают «самым главным» героем последнего сражения в логове врага. «Я не оскорбил солдат таким вопросом,— писал Горбатов три года спустя в «Правде». — Этот вопрос тогда и мне самому в голову не пришел. Кто знает душу советского человека, тот поймет, что чувствовали люди на площади перед рейхстагом утром 30 апреля 1945 года. Да, мы хотим жить, сказали бы эти люди, если б было тогда время говорить,— мы очень хотим жить, а победить хотим еще больше. И если... флаг над рейхстагом — так мой флаг, и если умирать в бою — так мне умирать, а не товарищу». И на вопрос, кто водрузил Знамя Победы над рейхстагом, Горбатов ответил так: «Все. Все советские воины. И те, кто, не добежав до рейхстага, лежали на изрытой снарядами площади, сжимая мертвой рукой алый, как кровь, флажок. И комсомолец Пятницкий, распростершийся с красным знаменем у самой первой ступеньки лестницы, ведущей в рейхстаг. И живые и ныне казах Кашкарбаев и русский паренек Гриша Булатов, утвердившие знамя на третьей ступеньке лестницы. И русский солдат Егоров и грузин Кантария, водрузившие знамя над самим куполом,— все советские воины грудью своей продолжили дорогу Победы и подняли высоко над землей ее знамя...»

...Что же неприятное мог сообщить мне жизнерадостный Саша Андреев в радостные минуты корреспондентской встречи у рейхстага? Касалось это только меня и Саши. Оказывается, наши с ним газеты «Комсомольскую правду» и орган ВВС «Сталинский сокол» не включили в список тех газет, чьи корреспонденты приглашены завтра за Эльбу — на встречу с американскими офицерами. Умевший хорошо владеть собой, Саша беззаботно махнул рукой (перевивем, мол!) и поспешил в рейхстаг, чтобы взобраться на шпиль, где реяло наше знамя. Мне же не удалось скрыть своего большого огорчения. За-

метив мою растерянность, Борис Леонтьевич подошел ко мне:

— Выше голову! Вы тоже поедете с нами в гости ко «второму фронту».—И, уловив, что не очень-то я верю в это, добавил: — Не волнуйтесь, я успею согласовать это с Политуправлением.

Так я очутился по ту сторону Эльбы в городке Клейтце и стал свидетелем встречи американских офицеров с группой наших офицеров во главе с генералом М. Сиязовым. В нее вошли Б. Горбатов, В. Иванов, А. Бек, Л. Кудреватых, М. Мержанов...

На том берегу нас встретили автомобили с американскими провожатыми. Горбатов и нас с Мержановым пригласил в свою машину щеголеватый адъютант командира таковой части. Отрекотендовался актером одного из нью-йоркских мюзик-холлов. Сравнительно хорошо говоря по-русски, адъютант с ходу стал засыпать наших офицеров всякого рода вопросами. Очевидно, разглядев по звездочкам на погонах в Горбатове старшего по званию, достаточно развязный, с претензией на элегантность, питомец мюзик-холла стал обращаться преимущественно к нему. В некоторых вопросах, касавшихся наступательных действий наших войск, сквозила бестактная снисходительность. Горбатов слушал американца сдержанно, не поворачивая к нему головы, и подчеркнуто коротко отвечал. Мержанов, хорошо знавший характер Бориса Леонтьевича, шепнул мне: «Борис вскипает. Пожалуй, пренебрежет «этикетом». Еще одна бестактность хлыща с танковыми эмблемами — и произойдет взрыв». Произошел. Обнаглевший адъютант не без насмешки спросил:

— Вы не находите, что несколько поздноатов взяли Берлин? Уже две недели мы с нетерпением ждем вас у этой унылой речушки Эльбы. Мы рассчитали, что вы возьмете Берлин раньше. Нехорошо так испытывать терпение союзников, нехорошо. Ведь мы...

— Не смейте так «шутить»! — оборвал распоясавшегося актеришку Горбатов. — «Рассчитали»? А вы не рассчитали, какая разница между кровопролитными боями и маршевой прогулкой? Поглядели бы на наши танки после сражений с фашистами! А ваши вот стоят без единой вмятины, даже без царапин. Такое впечатление, что с них не снимали чехлов... Да вы ведь сами распеваете фрифольные песенки о ваших безмятежных прогулках по Европе! Извольте!.. — Порывисто выхватив у Мержанова его записную книжку, Горбатов быстро нашел нужные странички и прочитал опешившему адъютанту песенку, записанную Мартином Ивановичем со слов одного из американских военных корреспондентов:

Гусиные печенки,
Седанские девчонки,
Гей-са! Бокал вина,
Веселая война!
Мы были в жарком деле
Всего лишь две недели.
И кончилась сполна
Веселая война!

— Не сомневаюсь, — продолжал Горбатов, — что в вашем профессиональном исполнении эта песенка звучит более выразительно. Вы ведь актер, капитан.

— Но... но... эта песенка, — залепетал адъютант, — вовсе немецкая... Клянусь, немецкая...

— Тем постыдней, что вы так охотно и оперативно взяли ее на американское вооружение. А полагалось бы пренебречь фашистской пошлятиной!

Нарядный адъютант покраснел и больше с вопросами к Горбатову не обращался.

Когда машины с нашими офицерами приехали на городскую площадь, я, стараясь найти в качестве со-

беседника авиационного офицера (ведь я представлял газету наших ВВС), на какое-то время потерял из виду Горбатова. И только потом мне рассказал Мержанов: «После марш-парада американской части Борис заметил группу солдат. Она стояла поодаль от офицеров, беседовавших с гостями. Борис, не раздумывая, подошел к солдатам и прямо спросил их о Гарри Трумэне, недавно сменившем на посту умершего президента Рузвельта. Один из солдат, оглянувшись по сторонам, поднял руку выше головы и сказал: «Так Рузвельт. — Потом опустил руку чуть ли не до пят и невесело сказал: — Так Трумэн». По смеху солдат можно было понять, что они разделяют мнение своего товарища о Трумэне».

Обед в честь советских гостей проходил сравнительно оживленно. Беседовали большей частью уже не на военные темы. Узнав, очевидно, что среди советских офицеров есть писатели, кто-то из американцев предпочел заговорить о литературе.

Горбатов оживился. Американцев поразило, с каким уважением и увлеченностью советский корреспондент говорит о поэзии Уолта Уитмена, о прозе Джека Лондона, Теодора Драйзера, Синклера Льюиса... Нетрудно было догадаться, что иным из хозяев были неведомы имена упоминавшихся советским офицером американских писателей. Они настолько внимательно слушали Бориса Леонтьевича, что даже забыли о тарелках. Но стоило ему спросить, каких русских писателей они читали, все усердно взялись за вилки, словно не слышали вопроса. Горбатов невозмутимо повторил:

— Кто же из ваших писателей известен вам?

После длительной паузы тучный американский майор натужно выдавил из себя: «Толстой». Другой добавил: «А после него — Пушкин». — И, заметив, как мы выразительно переглянулись, поспешил перевести разговор на другую тему — военную.

Тут хозяева снова оживились. Роль их лидера в беседе взял на себя самый пожилой из присутствовавших на обеде американских корреспондентов. Ему усиленно подыгрывал щуплый блондин, который через три дня, 9 мая, на банкете после подписания в Карлсборсте Акта о капитуляции запальчиво представил мне как единственный при союзной армии журналист сионистской прессы.

Адресуясь непосредственно к Горбатову, лидер при подсказках ассистента-подпевалы довольно странно, мягко выражаясь, стал трактовать вопрос о том, кто решил исход войны и полный разгром гитлеровской военной машины. Я хорошо запомнил, как отреагировал на это Борис Леонтьевич. Но в интересах наибольшей точности приведу его собственные строки об этом эпизоде из послевоенного очерка «Знамя Победы»:

«Он начал спор, не я. Мне спорить было не о чем. Это он поставил вопрос о том, кто решил исход войны. Я ничего ему не ответил. Я только спросил: видел ли он дорогу до Эльбы с запада и дорогу до Эльбы с востока? И если не видел, — пусть посмотрит. Я видел эти обе дороги. Дорога, которой шли союзники с запада к Эльбе, была идиллически мирной... Это не была дорога битвы. Это была дорога торжественного марша... И я видел дорогу, которой шла наша армия. От Волги до самой Эльбы это была дорога жестоких боев. На этом пути мы и уничтожили гитлеровскую армию. Убитые нами фашисты уже не могли встать против марширующих к Эльбе с запада войск союзников. Я горд, что видел эту дорогу и шел ею. Да, это мы сломали хребет Гитлеру. Это мы спасли мир от фашизма. Это мы освободили Европу».

ВЛАДИМИР
ОГНЕВ

ДУША МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Поэзия огненных лет

Статья четвертая



свет эпохи.

Поэты этого поколения начинали на самой войне. Не многие из них успели напечататься накануне ее.

Бориса Слуцкого я узнал после его стихов, читанных в рукописи. Подружился с ним накрепко, навсегда. Помню фанерный чемоданчик, туго набитый стихами. Борис отдал мне его доверчиво, без лишних сомнений, но и без особого восторга: никогда не был он озабочен мучительными соблазнами славы. Через какое-то время я принес ему тоненькую пачку — 14 стихотворений о войне, 12 — послевоенной тематики, 13 — раздумья о человеке и его судьбе. Всего 39 стихотворений. И общее название — «Память». Борис улыбнулся иронически. Но ни одного слова обиды, никакого огорчения. Я ожидал другой реакции. «Конечно, — растерянно сказал я, — можно сделать книгу и вдесятеро большей...» Он поднял руку, останавливая меня. «Я согласен», — коротко сказал Слуцкий. Только одно стихотворение — «Последнею усталостью устав...» — предложил он сверх моего выбора.

В 1957 году в «Советском писателе» вышла эта книжечка.

Ее открывали «Памятник», «Кельнская яма», «Госпиталь», «Сон», «Писаря», «Я говорил от имени Рос-син...», а дальше «Память», «Мальчишки», «Баня», «Школа для взрослых», а там и «Лошади в океане», «Блудный сын»...

Резко и надежно — как резьба по граниту — вписал Слуцкий слова о вечном подвиге народа в советскую поэзию. Стихи о долге. О совести. О гордости и достоинстве. О неумении гнуться и предавать.

О вы, кто наши души живые
Хотели купить за похлебку с кашей,
Смотрите, как, мясо с ладоней выев,
Кончают жизни товарищи наши!

.....

Но все остается — как было, как было! —
Каша с вами, а души с нами.

Много написано Слуцким потом. Сегодня никто уже не сомневается в масштабах дарования этого поэта. А для меня, как сладкая ностальгия, навечно остается в памяти оранжевая книжечка с черными фигурками солдат на обложке — они, чуть пригнувшись, бегут к темным разрушенным домам...

...Веселый, остроумный, красивый Семен Гудзенко был моим другом. БЫЛ. А сколько бы он еще успел сделать в поэзии! Война догнала его. Помню, как после первой трепанации черепа пришел он в «Литгазету», где мы работали с ним, сидели за одним столом, шутивно разделенным мелом, — Семен подо-двинул в мою сторону письма, требующие ответа. У него были сильнейшие головные боли, но он смеялся, сочиняя рифмованные каламбуры, и даже пытался отвечать начинающим поэтам стихотворными рекомендациями... Его фронтовые стихи поразили

всех откровенной правдой чувства, безоглядной искренностью. «Перед атакой» — такое стихотворение. В отличие от Слуцкого, Гудзенко любил эффектные формулировки и романтические краски. «Когда на смерть идут,— поют...» Он напевал слабым голосом шутовскую песенку, когда мы с Евгением Долматовским зашли к нему после второй трепанации черепа. Это было за несколько дней до мучительной смерти Гудзенко. В одном из последних стихотворений он писал: «До чего мне жить теперь охота, будто вновь с войны вернулся я!» А мне все кажется, что не было послевоенных лет, что он так и не вернулся с той войны...

Мы свыклись с тем, что рядом с нами живут прекрасные поэты — Давид Самойлов, Александр Межиров, Евгений Винокуров, Константин Ваншенкин, — я не пишу обзора, это только слово дружбы и признательности за дружбу к некоторым из моего поколения. Но если бы мы захотели составить маленькую автологию даже из этих некоторых имен, разве не пришли бы на память нам такие стихотворения, как «Сороковые» и «Перебирая наши даты...» Самойлова, как «Музыка», «Ладожский лед», «Календарь», «Воспоминания о пехоте» Межирова, как стихи о Гамлете Винокурова, как «Жасмин» или «Память» Ваншенкина...

О том, что означала война для человека, его души, пронзительно написал А. Межиров в таких стихах, как «Календарь», «Прощай, оружие!», «Как-то запахи детства стоят...», «Две книги у меня. Одна...» Трагически-высокое чувство живет в этих стихах. Сопоставляя две первые книги свои, А. Межиров свидетельствует:

Две книги выстраданы мной.
Одна — физически.

Другая —
Тем, чем живу, изнемогая,
Не в силах разорвать с войной.

Прошли годы. За ними — еще и еще годы... И оказалось, что война одновременно и удалила «тот берег» — детства, радужного незнания, тот, как бы «доисторический», опыт личности, — опыт «исторический» в полную меру предоставила война потом, — и острее приблизила пору чистоты, изначальных ценностей жизни.

Об этом, у каждого по-своему, высказалось у А. Межирова и Д. Самойлова, С. Орлова и М. Луконина. Вот два примера:

Какие-то запахи детства стоят
И не выдыхаются.
Медленный яд

уклада,
уюта,
устоя.

Я знаю — все это пустое,
Все это пропало,
распалось навзрыд,
А запах не выдохся, запах стоит.

(А. Межиров)

И это:

Я — маленький, горло в ангине.
За окнами падает снег.
И папа поет мне: «Как ныне
Собирается вещий Олег...»

Я слушаю песню и плачу...

(Д. Самойлов)

...Ведь это он, герой, плачет сегодня, а не тогда, в дни беззащитного перед огромным миром и такого далекого детства! Потому, что знание «бренности» мира доступно лишь возрасту «знания»...

И «запах» «устоя» в стихотворении А. Межирова — не о том ли? О потерянном и возвращенном рае, несмотря на категорическое отрицание («я знаю — все это пустое, все это пропало, распалось...»), рае живой жизни, которая, конечно же, возьмет, берет свое!..

Ее и жаль, жизни непрожитой, такой, какая досталась поколению, укороченному войной, но гордому причастностью к высокой миссии своей, когда и смертельная, судьбоносная юность окружена светлым ореолом поэзии:

Луч солнца вдруг мелькнет, как спица,
Над снежной пряжей зимы...
И почему-то вновь приснится,
Что лучше мы, моложе мы,

Как в дни войны, когда, бывало,
Я выбегал из блиндажа,
И выюга плечи обнимала,
Так простодушна, так свежа...

(Д. Самойлов)

И с какой гордостью звучат строки М. Луконина:

Ничем я не увенчан, не украшен —
винтовка на брезентовом ремне.
Не знаю, как оно

бессмертье ваше, —
мне моего
достаточно вполне.

Душа моего поколения...

Я раскрыл книгу Николая Панченко, поэта, долго находившегося в тени. Поздно и трудно пришел он к себе в стихах. Но никогда не шел по легкому пути, не расплескал тяжелую воду своего жизненного опыта. В сборнике «Стихи» («Художественная литература», 1983 г.) все не дается сразу — тяжело, порой и неуклюже пробивается поэт к сути времени, к душе современника, оставаясь таким же цельным и сложным, какими сформировало нас поколение: «уже от возраста крылатым, упавшим поздно на крыло — тяжеловатым, мешковатым — из тех, которым повезло...» Эту черту поколения — цельность — подчеркивал и Юрий Левитанский в точных строчках своих:

Лист мой по ветру не вьется —
крепкий, уже не сорвется.
Свет мой спокойно струится —
ветра уже не боится.

Или в его же «Вступлении в книгу» из «Кинематографа» (1970), где показана другая сторона нашей цельности — ее порой и прямолинейность и максимализм:

Звук твой резок в эти годы, слишком грубы голоса.
Слишком красные восходы. Слишком синие глаза.
Слишком черное от крови на руке твоей пятно...
Жизнь моя, печальный возраст, детства нашего кино!

Но душа моего поколения оставалась открыта жизни, переменам, чутко, радостно откликалась на новое, не держась за то, что отживало свой век! Только не все дожили до этого.

Мы были безоглядными и не прятались от ветра перемен. Не все молодые поймут глухую символику такой строки Н. Панченко: «Но есть у меня беззащитное сердце, и это меня подведет». Потрясенные, мы боялись потерять себя, утратить человечность и отзывчивость, иные рисовали страшные картины воображаемой потери души: «Подайте сердца инвалиду! Я землю спас, отвел беду». Напрасные опасе-

ния — на войне и терялось и приобреталось. Но «беззащитное сердце» нас не «подвело» — ведь не могли научиться мы лукавить.

Человечность и твердость, неуступчивость в главном — вот что удалось сохранить лучшим...

За стихами Н. Панченко — выстраданность, горькое понимание нешутности пути, по которому мы идем: «Или ты забыл, что дорога — это длинная рана, зарубцованная временем или асфальтом...» Пытливый читатель не удивится высокой романтике стихотворения «Обелиски в лесу», где тема долга перед павшими пульсирует, живет между строк.

Правда — вот главное слово моего поколения. Не любовь к фразе. Боязнь ее. Н. Панченко писал в 1942 году — страшном году непомерных испытаний народных:

Оставляют силы, оставляют:
грудь в крови,
глаза мои в поту,
встану вот — и пусть в меня стреляют,
лягу — и травинкой прорасту.

Василечком стану — синим, синим,
цветиком у страха на краю.
Ой, меня ли покидают силы,
ой, не всю ли родину мою?

Пули, как голодные собаки,
воют, зарываются в песок.
Кровь России тлеет на рубахе,
И еще колотится в висок...

В лучших традициях русской поэзии эта слиянность судеб личности и Родины. В другом месте Н. Панченко скажет: «Мы были тогда не с народом — мы были народом тогда».

Счастливы те, кто народом и остается.

Это его, народа, этика: «Когда приелся черный хлеб — займись тяжелым делом». И это его, народа, этика: «Когда тебя обманет первый, потом второй тебя обманет, поверь, как первому — седьмому! — и лучше станет, чище станет...» Доверие ведь тоже — черта цельного духа, ответной открытости души. И народная черта — быть к себе самому в претензии, если что не так в жизни. Начинать с себя. Поэзия зрелого Н. Панченко — постоянное недо-вольство собой, словом, которое не выражает тебя, делом, которое не в рост силам твоим. Ему вовсе не льстит обычная похвала таланту: перевоплотился.

Я что-то просвистел без слов,
как может птица,
проплакал тоненько,
как в дырочку гобой.
Как, право, глупо — перевоплотиться! —
и как непросто стать самим собой.

Стать самим собой — найти главное и не отступиться от него. Прожить достойно остаток жизни. Быть примером молодым поколениям. Не обмануть тех, кто шел в огонь рядом с тобой, полный чистой веры и надежды...

Как Николай Майоров, павший в бою за Родину, а до того оставивший это наивное, беззащитно наивное признание:

.. Нам снова хочется домой,
в тот мир простой, как лист тетрадный,
где я прошел, большой, нескладный
и удивительно прямой.

Как Георгий Суворов, чье имя тоже значится в списках погибших, звавший, какая ноша легла на плечи поколения:

Мой милый друг, и все-таки, как быстро,
Как быстро наше время протекло!.

В воспоминаньях мы тужить не будем,
Зачем туманить грустью ясность дней?
Свой добрый век мы прожили как люди —
И для людей.

Они оставались самими собой. Они такими были. «Удивительно прямыми», служа «доброму веку», веря в его доброту.

Они, как павший под Сталинградом талантливейший Михаил Кульчицкий, рано созрели на войне, резко рвали с прекраснотушием, оставаясь героическими сынами своего Отечества:

Война ж совсем не фейерверк,
а просто трудная работа,
Когда —
 черна от пота —
 вверх
Скользит по пахоте пехота.

Дети века, они, как убитый под Новороссийском в 1942 году Павел Коган, с детства не любили «овалы», рисуя решительные «углы». Они жили мечтой о «земшарной Республике Советов!» Они были готовы, «задохнувшись «Интернационалом», упасть лицом на высохшие травы».

Поэты моего поколения учились жить и писать стихи набело, без пробных черновиков. Им было отпущено мало времени для того, чтобы судьбы их досказались до конца.

Но судьбы состоялись. И тех, кто живет рядом со мной, и тех, кто говорит со мной только со страниц книг.

Поколение раскрыло свою душу полно и до конца.

Многие пали на войне, приближая день, который пришел, венчая народный подвиг, — День Победы...

Он пришел, этот долгожданный день! Он пришел и благодаря им, поэтам моего поколения.



Г. АЛИФАНОВ
М. БОРИСЕНКО

НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

Сорок лет над нашей страной — мирное, чистое небо. Такого не было в истории России более четырех столетий. Глубока и благодарна народная память. Огонь бессмертия — над гранитными плитами могилы Неизвестного солдата у стен Московского Кремля. Огромные, словно из земли поднявшиеся, фигуры воинов-панфиловцев вблизи разъезда Дубосеково. Величественный памятник защитникам колыбели революции на площади Победы в Ленинграде. Легендарный Мамаев курган в Волгограде...

Тысячи и тысячи памятников, мемориалов, словно часовые, несут вечную, бессмертную вахту памяти. По тем монументам, которые мы воздвигаем, потомки будут судить о нашем времени. Образы героизма и чести, овеянные красотой ратного, гражданского подвига, реально воплощают великую ленинскую мысль о значении монументальной пропаганды, сформулированную на заре Советской власти в декрете «О памятниках республики»: выработать проекты памятников, «долженствующих ознаменовать великие дни Российской социалистической революции».

День девятого мая 1945 года. Тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий отметила сто-

лица нашей Родины Москва день долгожданной Победы. Когда отгремели салюты, Военный совет советских оккупационных войск в Германии принял решение «создать долговечное монументальное историко-мемориальное сооружение, отображающее идею увековечивания светлой памяти павших советских воинов и величие интернациональной миссии Советской Армии, во имя осуществления которой эти воины отдали свои жизни».

Это решение воплотил в бронзе и граните скульптор Е. Вучетич. На большом кургане среди платанов и елей Третьего парка в Берлине высится монумент, который венчает бронзовая фигура воина-освободителя. Русский солдат в одной руке держит меч, разрубающий фашистскую свастику. Другой рукой он прижимает к груди спасенную им немецкую девочку. Так было положено начало созданию значительных монументальных произведений, посвященных Великой Отечественной войне.

Новая ступень художественного осмысления темы войны — мемориальный комплекс, который ведет от конкретного факта к большому обобщению, связывает прошлое с настоящим, протягивает нить в будущее, оказывает огромное эмоциональное воздействие.

Таков мемориальный комплекс в Саласпилсе (авторы — скульпторы Л. Буковский, Я. Заринь, О. Скараинис и архитекторы Г. Асарис, О. Закаменный, О. Остенберг, И. Страутманис). В Саласпилсе находился самый большой концентрационный лагерь на территории Латвии в годы фашистской оккупации. В нем погибло более 100 тысяч человек.

Лагерь находился на огромной поляне. Здесь посреди барачов размещался апельплац — площадка, где узников собирали на переключку, откуда гнали на изнурительные работы по «дороге страданий» или вели на расстрел. Авторы мемориала бережно сохранили все, что осталось от лагеря, восстановили его подлинную планировку, точно обозначили его элементы стенами, кустами, бетонными плитами, но сделали все это невысоким, чтобы сохранить ощущение пространства.

Пройдя мимо мирных берез, видишь вначале наклонную бетонную стену длиной 110 метров и высотой 12 метров, которая одним концом опирается на глыбу черного лабрадорита. На глыбе надпись: «За этими воротами стонет земля». И шагбаум. Возникает образ тяжелой, опасной силы, рубежа жизни и смерти. Когда проходишь под этой нависающей глыбой, ступаешь по бетонным плитам, слышится звук метронома, усиленный громкоговорителями. Гул шагов соединяется с биением метронома...

Почти одновременно с Саласпилским мемориалом был создан в Белоруссии мемориальный ансамбль «Хатынь» (авторы — скульптор С. Селиханов, архитекторы Ю. Градов, В. Занкевич, Л. Левин).

На 54-м километре шоссе Минск — Витебск тебя останавливает необычный знак — указатель «Хатынь». Огромные бетонные буквы, похожие на скаты деревянных крыш, черноватый, как бы опаленный огнем, цвет бетона. Этим указателем и начинается ансамбль. Дорогу, ведущую через лес к памятнику, окаймляют белые вертикальные столбы с рельефными, черными, будто обуглившимися, цифрами. Цифры эти, отсчитывая километры в обратном порядке: 5..., 4, 3, 2, 1, вызывают ожидание встречи с чем-то тревожным, значительным. Но вот лес раздвинулся, и перед взором открывается лощина, где произошла трагедия. Там, где когда-то стояли сожженные дома Хатыни, теперь — венцы из бетона с высокими обелисками, напоминающими печные трубы на пожарище. На каждом из них висит колокол.

Перед мертвой деревней бронзовая фигура старика в расстегнутой рубашке с мертвым ребенком на руках. Тема этой скульптурной композиции подсказана реальным фактом. Из всей деревни случайно остался в живых один Иосиф Каминский, который выбрался из-под трупов и обнаружил среди них еще теплое тело внука.

За фигурой — могильная плита из черного гранита в виде рухнувшей крыши сарая, в котором фашистские варвары сожгли 149 жителей деревни, среди них — 76 детей. Дорога из белого мрамора символизирует их последний путь. У плиты она обрывается, как оборвалась жизнь людей. А напротив — могила, над которой возвышается белокаменный сруб — венец, как символ бессмертия погибших.

Впечатления от первой части ансамбля обогащаются и по-новому звучат в его последующих частях, раскрывающих страдания и подвиг всего белорусского народа. Справа от главной оси комплекса находится единственное в мире «Кладбище сожженных деревень»: множество рядов символических могил 136 деревень Белоруссии — могил, где вместо имени человека — название целой деревни. А на могиле — черная урна с пеплом уничтоженных поселений.

Далее, слева от «Кладбища деревень», расположе-

на еще одна самостоятельная часть мемориала — «Стена памяти». Длинная наклонная стена, где ниши и решетки символизируют концлагеря и места массового уничтожения советских людей. Кажется бесконечной череда таких ниш, в каждой — цифры погибших в лагере, человеческих жертв, равных которым не знает история.

Главное место памятника — Вечный огонь в память о каждом четвертом белорусе, погибшем во время войны: на черной полированной плите — четыре отверстия, над тремя из них поднимаются молодые березки, а в четвертом бьется пламя Вечного огня.

Самым крупным по своим замыслам и масштабам является ансамбль в Волгограде (руководители творческого коллектива скульптор Е. Вучетич, архитектор Я. Белопольский). Этот мемориальный комплекс посвящен исторической победе в Сталинградской битве, оказавшей решающее влияние на ход второй мировой войны.

Местом для ансамбля был выбран Мамаев курган. Эта знаменитая высота, господствующая над городом, поднимается на 130 метров над уровнем Волги. Она была ключевой позицией обороны и ареной ожесточеннейших сражений. Легендарный курган стал как бы пьедесталом грандиозного монумента, который венчает аллегорическая фигура «Матери Родины». Подняв высоко меч, она зовет за собой на битву.

Покладя Мамаев курган, навсегда уносишь в сердце пронзительной силы слова, высеченные на одной из стен этого мемориала: «Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?!...»

Завершением грандиозной галереи памятников, монументов, скульптурно-архитектурных ансамблей и комплексов, посвященных Великой Отечественной войне и Победе в ней советского народа, будет мемориал Победы на Поклонной горе в Москве, проектирование и сооружение которого осуществляется сейчас с участием всех советских граждан и многих наших зарубежных друзей. Счет 700828 Госбанка СССР знают теперь все. На него поступило более 96 миллионов рублей добровольных взносов и отчислений.

Проектирование памятника Победы ведется давно. Да это и понятно. Перед советскими зодчими поставлена очень сложная и ответственная задача — создать уникальный архитектурно-скульптурный ансамбль, который стал бы венцом художественного воплощения темы Великой Отечественной войны и победы в ней советского народа, центром московского мемориального комплекса, посвященного славным освободительным победам русского оружия на протяжении истории нашего великого государства.

Первое постановление Совета Министров СССР о памятнике Победы принято в мае 1957 года. Тогда в ознаменование Победы решено было соорудить памятник. Закладной камень на Поклонной горе установлен 28 февраля 1958 года.

Проект памятника Победы несколько раз рассматривался в Политбюро ЦК КПСС, контроль за его проектированием и сооружением постоянно осуществляется Московским городским комитетом партии. Долгое время успешно работал над проектом памятника Победы авторский коллектив под руководством скульптора Н. В. Томского. Сейчас проектирование ансамбля завершает коллектив, в составе которого скульпторы О. Кирюхин, Ю. Чернов, архитекторы Я. Белопольский, Л. Голубовский, А. Полянский, Б. Рубаненко, художник-монументалист Ю. Королев.

Каким же будет он, архитектурно-скульптурный комплекс памятника Победы? «Нашей главной задачей,— отмечено в пояснительной записке авторского коллектива,— было раскрыть средствами архитектуры, скульптуры и монументальной мозаики величие подвига советского народа и его вооруженных сил, совершенного под руководством ленинской партии». Основная идея памятника — «Народ-победитель, осененный Красным ленинским знаменем Победы».

Открытие памятника Победы запланировано в конце 80-х годов. Неизбежно изменится тогда Поклонная гора и прилегающие к ней улицы. Уже сейчас начата реконструкция проспекта маршала Гречко на участке от площади Победы до Мясницкой улицы.

Территория парка Победы, общая площадь которого составляет 120 гектаров, вся превратится в памятник. Перенесемся на миг в те дни, когда памятник уже будет открыт...

С площади Победы через главный вход войдем в парк Победы. Этот вход парадный. Он ведет на другую площадь, где установлена скульптурная композиция «Вставай, страна огромная», выполненная из красного гранита с рельефами, изображающими известный плакат художника Тондзе «Родина-мать зовет», памятным текстом и словами обращения партии и правительства к народу в связи с началом войны. Тут же бронзовые флажки со знаменами Советского Союза и союзных республик. От входной площади и главной площади ансамбля ведет парадная аллея протяженностью 500 метров. С обеих сторон аллея располагается декоративные водоёмы с фонтанами и цветниками. Через каждые 100 метров на гранитных постаментах установлены бронзовые стелы, на которые нанесены рельефные изображения с текстами главных событий каждого года Великой Отечественной войны. С левой стороны стелы посвящаются ратным подвигам Армии, с правой — трудовым свершениям советского народа.

Пройдя парадную аллею, попадаем на главную площадь. Это круг диаметром 230 метров, расположенный на самом высоком месте парка. Зеленые откосы по контуру площади образуют обширный холм и создают впечатление приподнятости всей площади над территорией парка.

В центре площади — скульптурная композиция из красного гранита «Народ-победитель, осененный Красным ленинским знаменем Победы», высотой 75 метров. В композиции семь фигур. На первом плане — фигуры солдата, рабочего и колхозницы, по сторонам монумента — фигуры летчика и матроса, женщины и партизана.

Красное гранитное знамя с барельефным изображением В. И. Ленина увенчано рубиновой звездой.

У подножия пьедестала установлена трибуна, а также специальные места для возложения венков и цветов.

Вокруг главного монумента полукольцом на гранитных плитах размещены восемь многофигурных композиций высотой около четырех метров. Это: «Проводы на фронт», «Коммунисты, вперед!», «Народные мстители», «Освободительная миссия Советской Армии», «Все для фронта», «Хлеб — Родине», «Встреча победителей», «Во имя мира».

Замыкает площадь полукруглое белокаменное здание музея Великой Отечественной войны.

Это ритуальное место. В дни празднеств здесь производятся военные парады, молодые воины принимают присягу. Вечерами скрытые в земле прожекторы охватывают кольцом света знамя Победы, звучит музыка военных лет, усиленные динамиками сообщения Совинформбюро.

Далее путь лежит в музей Великой Отечественной

войны — Дворец Победы. Он двухэтажный — нижний зал полукруглый с монументальной пилонадой. Верхний — квадратный, в котором размещается зал Славы. Нижний полукруглый зал состоит из четырех парадных музейных залов высотой около 16 метров. Первый — «Партия — вождь и организатор Победы в Великой Отечественной войне», второй посвящен боевым подвигам советского народа, третий — трудовым. Экспонаты четвертого зала рассказывают о борьбе в тылу врага, партизанском движении.

На втором этаже — зал Славы. Это главное место музея. Диаметр зала около 60 метров, высота — 30 метров. На беломраморных пилонах, увенчанных бронзовым венком Славы, высечены имена 12400 Героев Советского Союза и полных кавалеров орденов Славы.

В центре зала в хрустальном пилоне помещено подлинное Знамя Победы, водруженное над рейхстагом.

В нишах стен зала установлены бронзовые бюсты полководцев и государственных деятелей, руководивших разгромом врага.

Стены и купол зала украшены монументально-декоративной мозаичной композицией, выполненной из смальты. В композицию включены изображения парада Победы на Красной площади, а также основные эпизоды штурма Берлина, знамени и гербы Советского Союза и союзных республик, увитые гвардейской лентой, на фоне праздничного победного салюта.

В центре купола изображен орден Победы.

На стенах и пилонах всех четырех музейных залов, окружающих зал Славы, высечены названия воинских формирований, армий, гвардейских соединений и дивизий, участвовавших в главных сражениях Великой Отечественной войны.

Из зала Славы попадаешь в галерею полукруглой части здания, где в анфиладе залов — выставка живописных полотен, скульптуры, плакаты о войне, здесь же портреты легендарных героев Великой Отечественной.

Под залом Славы в обширном помещении представлены шесть диорам: «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой», «Оборона Ленинграда», «Сталинградская битва», «Битва на Курской дуге», «Форсирование Днепра» и «Взятие Берлина».

В центре этого этажа размещен зал, посвященный памяти жертв нашего народа в Великой Отечественной войне. Мозаичные панно на стенах изображают траурно приспущенные знамена. В кинозале музея демонстрируются кинодокументы и отрывки из художественных фильмов о Великой Отечественной войне.

А пока работа по сооружению общенационального государственного памятника Победы продолжается. На чертежах, в макетах продумана, воссоздана общая композиция монумента, в миниатюре из пластилина — основные элементы памятника, отдельные фигуры скульптурных композиций. Вот солдат, сжимающая винтовку, идет в бой. Женщина в ватнике — на ее плечи легла вся тяжесть фронтового тыла. Моряк, летчик, партизан... — все, кто мужественно и самоотверженно сражался и работал во имя Победы.

БОРИС ФИЛИППОВ

НАКАЗ ВОРОШИЛОВА

споминаю, как в декабре 1962 года, когда я был директором Центрального Дома литераторов, в наш писательский клуб приехал Климент Ефремович Ворошилов. Приехал в скромном штатском костюме.

После осмотра выставки поэта и художника Павла Радимова, экспонированной в фойе нового здания, Ворошилов решил осмотреть и старое здание клуба — особняк, принадлежавший до революции графу Олсуфьеву. Похвалил архитектуру Дубового зала, колонны и потолок из резного дерева, оформление камина:

— У графа «губа была не дура». Архитектор постарался для него. Не мешало бы и нашим современникам подумать о более художественном оформлении наших клубов, домов отдыха, да и просто жилых зданий.

Гостя заинтересовало оформление кафе, придуманное уже нами: на стенах красовались «автографы» художников и поэтов. Здесь можно увидеть пейзажи и сюжетные рисунки, дружеские шаржи О. Верейского, И. Глазунова, В. Богаткина, И. Игина, Х. Бидструпа, эпиграммы и стихи Р. Гамзатова, С. Кирсанова, Е. Евтушенко...

— Это прекрасно, что вы даже свое кафе превратили в своеобразный музей. Нужно только все это сохранить. Найдите способ, чтобы это дошло и до будущих поколений, — говорил маршал.

Писатели и художники, окружившие нас, стали уговаривать Климента Ефремовича посидеть в кафе.

— Не знаю, как посмотрит на это мой адъютант? — пошутил маршал, но поддался на уговоры, несмотря на «врачебный режим».

Климент Ефремович делился впечатлениями о выставке Радимова, говорил о близкой его сердцу русской природе, о народной песне и даже запел приятным тенором:

Из-за острова на стрежень,

На простор речной волны...

Неожиданно его поддержал отличный баритон — в нашем кафе появился известный оперный артист А. П. Иванов.

— Профессионалы появились! — воскликнул маршал. — Ну, Алексей Петрович, спойте нам про Степана Разина!

Певец не заставил себя долго просить.

— А вы помните, — спросил Ворошилов, — был такой известный тенор Иван Алчевский? Пел в Мариинском театре, в Большом. Я работал в конце прошлого века на заводе его отца. Семья была сравнительно демократичная. Сын — оперный певец, дочь — украинская поэтесса. Завод отца был возле Луганска. В конце века, когда наступил экономический кризис, многие капиталисты отыгрывались на увольнении рабочих. А старший Алчевский избрал другой путь — поехал в Петербург просить у Витте банковский кредит. Получив отказ, что влекло за собой крах, Алчев-

ский бросился под поезд. Это в память о нем железнодорожную станцию Юрьевка, близ Луганска, назвали Алчевск. А молодой Алчевский, будучи студентом, часто приезжал в поместье отца и любил петь в саду, а мы слушали и восхищались. Вы думаете, я не участвовал в театральном кружке? Теперь это называют самодеятельностью. Кружок при Васильевской земской школе был моим первым очагом культуры. Вы удивитесь, но я молодым рабочим и в цирке работал. К нам приехал передвижной цирк, и я случайно повстречался с его хозяином. Он посмотрел на меня и сказал, что могу ему пригодиться. Я думал: придется таскать тяжести, но, оказалось, дело было в другом. Он объяснил мне, что цирк имеет свои «секреты». Можешь хранить секрет, спросил, чтобы никому ни гу-гу? Меня пригласили изображать «спящего под гипнозом» зрителя, порепетировали, и я приноровился к «секретным» приспособлениям, создававшим впечатление, что я вишу в воздухе под влиянием «гипноза». Зрители верили этому, и успех номера был большой.

А я пишу сейчас о своем пастушечьем детстве, рабочей юности, о своем Луганске, где я получал рабочую, революционную закваску¹. А цирк — это просто веселый эпизод.

— Вот вы, Сергей Митрофанович, — обратился Ворошилов к сидевшему рядом с ним Городецкому, — известный русский поэт. И вы писали стихи не только о борьбе, но и о любви.

И сказав, что пора и честь знать, что адъютант смотрит на него уже с укоризной, Климент Ефремович стал прощаться с нами.

Перед отъездом я успел вручить маршалу книгу почетных посетителей Дома литераторов, в которой он оставил следующую запись:

«С огромным удовлетворением я посмотрел в Центральном Доме литераторов выставку замечательных картин большого и самобытного русского художника и поэта Павла Александровича Радимова, и, таким образом, почти случайно, оказался в новом помещении ЦДЛ — прекрасном Дворце советской литературы — в кругу художников и писателей — славных знаменосцев и запевал нашей великой армии тружеников, активных строителей коммунистического общества.

Безмерно рад этой встрече и хочу пожелать всем нашим литераторам и художникам настойчивого продолжения лучших традиций могучей русской литературной классики и классики живописи и ваяния, подлинно реалистического изображения всей красоты нашей жизни и духовного богатства советских тружеников — подлинных героев нашего времени. От всей души хочу, чтобы наши писатели и художники всегда и везде были на высоте положения — отдавали все свои силы служению партии и народу, создавали высокохудожественные произведения, достойные нашего великого народа, достигли все новых и новых вершин в своем творчестве — во славу Родины, во имя коммунизма.

Всем сердцем желаю советским художникам и литераторам новых творческих успехов.

К. ВОРОШИЛОВ».

8 декабря 1962 г.

¹ К. Е. Ворошилов «Рассказы о жизни». М., Политиздат, 1971 г.

«ОДЕССА, ГОРОД МОЙ...»

В

1978 году Ольга Густавовна Суок, вдова писателя Юрия Олеши, завещала посмертную маску Олеши и полевую сумку своего, погибшего на войне племянника Всеволода Багрицкого — Одессе.

«...Был паром приклеен к горизонту. Сверкало солнце, млея и рябя, пустынных берегов был неразборчив контур. Одесса, город мой, мы не сдадим тебя!». Так писал о своем родном городе спустя месяц после начала войны молодой поэт Всеволод Багрицкий, сын Эдуарда Багрицкого. Тетрадь с этими стихами была найдена в той самой полевой сумке, пробитой осколком.

Всеволод Багрицкий погиб в феврале 1942 года, не дожив двух месяцев до своего двадцатилетия. Погиб, будучи писателем в армейской газете «Отвага». А на место погибшего пришел новый писатель — Муса Джалиль...

Полевая сумка Багрицкого, пройдя долгий путь, стала ныне одним из экспонатов Одесского государственного литературного музея, который был открыт в июле прошлого года. Разместился музей в самом центре Одессы, около Оперного театра, в старинном особняке Гагариных. Город, как культурное целое, — таким был замысел создателей музея.

— Когда пять лет тому назад решили открыть музей, у нас не было ничего, кроме запущенного здания, — рассказывает научный сотрудник Марина Лошак, которая занимается литературной Одессой 20-х годов, — тогда входили в литературу Катаев, Олеша, Бабель, Ильф и Петров, Багрицкий, Инбер, Славин, Паустовский... Мы начинали буквально с нуля, собирали экспонаты для фондов, где могли — и выпрашивали у старых одесситов, и покупали в букинистических магазинах, ездили в Москву, Киев... И сейчас, когдаходишь в залы, просто не верится, что наш музей «материализовался».

В этом, первом в нашей стране художественном литературном музее, в котором рассказано о 200-летнем пути Одессы, — двадцать четыре зала, и каждый представляет собой законченную композицию, решенную в стиле, духе времени, о котором идет речь.

В экспозиции, посвященной литературной Одессе 20-х годов — «стена» Эдуарда Багрицкого. Здесь в одной из рам (художник А. Гайдамака стержнем интерьера выбрал рамы: эдакая вереница рам, маленьких рамок, круглых, с виньетками, овальных, квадратных, оконообразных, но всегда соответствующих изобразительной лексике и нерву эпохи) есть и «уголок» Всеволода Багрицкого.

Смотрю на его фотографию с отцом и собакой Томом — Севе лет одиннадцать. Рядом — его фото уже



в военной форме. Из-за плохого зрения его не брали в армию, и лишь в конце 1941 года ему удалось все же добиться направления в газету «Отвага» на Волховский фронт. Рядом с фотографиями — полевая сумка и перебитый карандаш. И — как постскриптум — маленькая красная книжка стихов, дневников и писем Всеволода Багрицкого, составленная его матерью Лидией Густавовной Багрицкой-Суок в 1964 г. В предисловии Михаил Светлов написал: «...Я не собирался ни рецензировать, ни редактировать эту книгу. Я ощутил ее человеческое благородство и хочу это свое ощущение передать читателю... Мужество и трогательность, неуклонность и застенчивость, любовь к друзьям и ненависть к врагу — этим волшебным светом просвечивает книга Всеволода Багрицкого».

Жизнь талантливого поэта была короткой и трудной. В свои девятнадцать лет он пишет: «Удимили исхлестаны губы, опрокинуты дни на дыбы...»

Он любил повторять строки Марины Цветаевой: «Я вечности не приемлю, зачем меня погребли? Мне так не хотелось в землю с любимой моей земли...» Эти слова художник газеты «Отвага» Е. Вучетич вырезал на дереве, под которым похоронили Всеволода Багрицкого.

А в сумке его осталась тетрадь с пробитыми строчками: «По длинным лесистым дорогам хожу я со своей полевой сумкой и собираю материал для газеты. Очень трудна и опасна моя работа, но и очень интересна. Я пошел работать в армейскую печать добровольно и не жалею. Я увижу и увидал уже то, что никогда больше не придется пережить. Наша победа надолго освободит мир от самого страшного злодеяния — войны».

Ирина ХУРГИНА

Весной 1943 года Борис Ласкин задумал написать пьесу о девушках-летчицах, участвующих в боях с фашистскими захватчиками. Когда канва пьесы была готова, он по совету своего друга Константина Симонова выехал в качестве корреспондента в действующую армию, чтобы познакомиться с боевыми делами и бытом одного из прославленных авиационных подразделений, поближе узнать легендарных девушек, завоевавших право называться гвардейцами. В марте — апреле 1944 года Борис Савельевич жил в полку, делил с летчицами радости побед и горе утрат, познакомился со многими прекрасными людьми, полюбил их. В свободные минуты девушки жадно слушали рассказы Б. Ласкина о Москве, расспрашивали о театрах, о настроении и делах людей, работающих в тылу. Чтобы дать им отдохнуть после тяжелых боев, развлечь летчиц, он пересказывал им содержание кинофильмов, идущих на экране и тех, которые смотрел в мирное время, учась во ВГИКе. А рассказывать он был мастер. Вернувшись в Москву, Б. Ласкин дописал пьесу, премьера которой состоялась в Театре имени Ленинского комсомола в 1945 году. Каждый прожитый в полку день Борис Савельевич подробно описывал в своем дневнике. Сегодня «Юность», с которой Б. Ласкина связывала многолетняя творческая дружба, публикует страницы из его фронтового дневника.



БОРИС ЛАСКИН

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

(Март — апрель 1944 г.)

С утра после завтрака пошел с капитаном Ракабольской на занятия в одну из эскадрилий. По пути выясняю планы послеармейской жизни капитана: закончить МГУ.

Мы сидим в общежитии. Рядышком. Маленькие — они кажутся почти детскими. Тема занятия — «Авиационное наступление».

Слушают очень внимательно. В общежитии висят стенгазеты, боевые листки, полотна карикатур под названием «Из нашей жизни»...

Тихая, кроткая девушка — один боевой вылет.

Девушка стоит подбоченясь — сто боевых вылетов.

Девушка стоит в эффектной позе и пускает кольца дыма — 300 боевых вылетов.

На стене висит мандолина. Подушки покрыты затейливо вышитыми салфетками.

В центре на стене фото М. Расковой и Зои Космодемьянской...

Здесь очень любят цветы. Женя Жигуленко (несколько орденов) засыпает, кладя под голову, под

щеку цветы. Часто украшают самолет розочкой, пучком подснежников.

На окнах «занавески» из прибитых с небольшими просветами полос широкого бинта. На стене (белая, оштукатуренная) нарисован большой гвардейский значок.

Кошка у девушек имеется! Черная в рыжих пятнах!

Маникюр в чести. Вообще личная гигиена соблюдается очень строго.

Здесь не говорят «лечу», говорят «иду». «Иду на задание», «иду домой».

Летчиков смежного мужского авиаполка У-2 ласково зовут «братцы».

В полку был пес Бобик. Этот пес отличался тем, что лаял на всех мужчин.

На лекции Ракабольской «Авиационное наступление» во время перерыва летчица-лейтенант, совсем молоденькая, с двумя орденами, сидела, держа на руках кошку. Кошка мурлыкала и безответственно тыкалась мордой в орден Красного Знамени. Фамилия де-

На снимке Б. С. Ласкин среди офицеров полка ночных бомбардировщиков на премьере спектакля «Школьные товарищи». (Июль 1945 г.)

вушки Гашева. Ей 21 год. Она пишет стихи. Она получила письмо от матери. Письмо в стихах. Письмо читала вся эскадрилья.

17.III.

Вечером было два выступления. Прошли хорошо. Особенно весело прошел первый вечер. Для «оживления» моему выступлению предшествовало выступление местной аккордеонистки и певицы. Я слушал ее из комнаты за сценой. Когда до меня доносились знойные звуки аргентинского танго, я смотрел на сапоги солистки. Сапоги, облепленные пудовым грузом размокшей земли.

Девушки-вооруженцы. Они снаряжают самолеты боевым грузом. **ВООРУЖЕНЩИНЫ.**

19.III.

ИЗ РАССКАЗА РУФИНЫ ГАШЕВОЙ

Очень любит Бершанскую. С ней легко и совсем не страшно. Она говорит, что страшно бывает редко. Больше всегда азарта. Попадешь в луч прожектора и думаешь, как бы влить бомбу в самый прожектор. Интересно как-то. Но все это не детское, это так от характера. Всегда у нее, как она говорит, чувство страха запаздывает. Сегодня ночью у нее будет шестисотый полет. Двух полетов до 600 не хватает. Сегодня сравнивает счет.

Попробуйте себе представить Джульетту в комбинезоне. Это не парадоксальное сравнение. Это именно так. Тихая, очень поэтичная, ясноглазая — вот какова эта девушка с именем **РУФИНА**. Я спросил ее о любимой книжке. Она называет «ОВОД». Ни одна книжка ее не тронула так, как эта.

В 1936 году вступила в **ВЛКСМ**, сейчас она — мандатка партии.

На койке у нее лежит вышитая подушка. Это вышивала она сама. Но о своем рукоделии она говорит с усмешкой — это так, пустыни. Она даже не подозревает, что все это совсем не пустыни — все девичье, мирное...

Все эти два часа, как мы беседуем, из-за перегородки слышны мандолина, какие-то девичьи рассказы и хохот. Как они любят шутку, как они умеют смеяться, эти девушки...

У всех — дневники, у всех — уйма различных песен и стихов. Масса лирических объяснений в любви и верности.

Один «братец» на «Кобре» частенько навещал пролетом одну девушку. Это очень страшно и занятно, когда на тебя пикирует такая штука. Девушка при встрече мягко попросила летчика с «Кобры» оказывать ей знаки внимания другим способом. Летчик, кажется, согласился. Так девушка укротила «Кобру».

Летом у двери в штаб всегда валялись цветы. Откуда они? Оказывается, все девушки носят цветы — в волосах, в перчатках, за орденами, за гвардейскими значками. Но с докладом входить в штаб так не положено, поэтому при входе девушкам приходится расставаться с цветами.

Больше всех любит цветы Жигуленко — высокая, синеглазая, красивая девушка с двумя орденами. Она мастер составлять букеты, она же озорна, любит разгрызывать. А вид у нее кроткий, застенчивый. Много в ней женственности.

Амосова и Никулина повздорили. Амосова оставила записку: «Нет ничего страшнее в жизни, чем иметь и любить легкомысленного друга («легкомысленного друга» подчеркнуто красным и написано: ложь! Это рука Никулиной). Да! И может ли она быть другом, когда на каждый зов пальчиком бежит сломя голову, бросив в неизвестности товарища. Амосова».

Внизу красным карандашом: «И только может она быть тебе другом, ибо, любя тебя, она снова с тобой — она осталась жить. Никулина». (Осталась жить — это было после аварии!) Это переписка двух подруг. У обеих 8 орденов!

Когда генерал-майор Попов, командир дивизии, услышал от командующего, что ему дается женский полк, генерал чуть не упал в обморок. Долго не приезжал. Все не верилось. Первые задачи давались пустяковые. Потом поверили в то, что девушки все могут. Появились серьезные задачи. **ЕДИНСТВЕННЫЙ** полк в дивизии, который стал **ГВАРДЕЙСКИМ**.

Однажды ночью, когда наши части стояли в обороне на р. Миус, над линией фронта низко-низко пролетел самолет У-2. Над самыми окопами самолет убрал газ, и оттуда послышался гневный женский голос: «Что же вы сидите, черт вас возьми! Мы бомбы возим, бомбим фрицев, а вы не наступаем!» В эту же ночь подразделение пехоты перешло в атаку, захватило несколько блиндажей и дотов противника. Командующий наземных войск приказал найти девушку, которая ругалась в эту ночь над линией фронта, и вынести ей благодарность. Думаю, что это была Ольховская, наша Люба. Это так на нее похоже. Это пишет капитан Дрягина о своей подруге.

В эскадрилье выходит свой «Крокодил».

Гадания:

1. Сбросить с самолета унт. Носок унажет курс на полк жениха.
2. На бумаге написать имена женихов, свернуть в трубочки и положить под подушку. Чье имя вытащишь утром — тот будет твоим мужем. (От редакции: если не хватит бумаги, обратитесь в штаб. Договоренность есть.)

3. До гадания гадающему организму необходимо принять столовую ложку соли (только не английской). В темном помещении поставить на стол зеркало, по бокам по свече. Не мигая смотреть в зеркало. В 24.00 должен появиться твой суженый. (От редакции: если в зеркале начнут вырисовываться шлем и очки, в этом году не жди серьезных связей.)

4. Выйти в полночь на улицу. В каную сторону дует ветер — там твой жених. (От редакции: в штиль ищи жениха в Пересыпи.)

5. Протяни через дорогу нитку. Если пройдет мужчина, выйдешь в этом году замуж. Если женщина — не выйдешь. (От редакции: а что, если пройдет строй?)

ИЗ ДНЕВНИКА ГАЛИ ДОКУТОВИЧ

Она пишет о своем друге: «Мне хочется одного — чтобы этот стремительный, горячий и еще по-детски ласковый юноша пронес через долгие годы свою чистую душу. Чтобы он всегда оставался таким, каким я его встретила. Пусть он пройдет невредимым через все бои и сражения и доживет до большого, настоящего человеческого счастья».

В дневнике у Гали ее рассказ, взволновавший меня до слез.

«КУКЛА»

«Он любил ее и в шутку подавал ей куклу. Она ушла в полк и летала, куклу возила с собой. Потом Николаю (так звали его) принесли куклу с каплей крови на лице. Девушка погибла. Николай стал летать с куклой. Он летал, как бог. И однажды, садясь с бомбами, он подорвался. Уцелела кукла, и ее взял Друг Николая...»

Хороший, очень искренний рассказ.

Она писала стихи.

«...А ведь жить так хочется, родная,
И в огне так хочется любить.
Даже те, кто нынче умирает,
Умирает, чтоб народ мог жить!»

Это последние строки в дневнике Гали Докутович — умной, красивой девушки. Девушки с прекрасной душой. Вечная память тебе, милая русская девочка, которой я не знал.

Подготовка текста
и публикация А. В. ЛАСКИНОЙ.

В НОМЕРЕ:

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:

Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Сергей ЕСИН
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Олег КОМОВ
Кайсын КУЛИЕВ
Мария ОЗЕРОВА
Андрей ПОТЕМКИН
Алексей ПЬЯНОВ
(заместитель главного редактора)
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Владислав ТИТОВ
Алексей ФРОЛОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Проза

С. САШКЕВИЧ. «Мустафа». Рассказы из фронтовой жизни . . .	8
Валерий АЛЕКСЕЕВ. Комментарии к детству. Повесть . . .	25

Поэзия

Григорий КУРЕНЕВ	5
Юрий ВОРОНОВ	6
Константин ВАНШЕНКИН	23
Николай ФЛЁРОВ	66
Валентин РИЧ	66
Валентин СМИРНОВ	67
Борис ГАЙКОВИЧ	68
Давид АСТРАХАН	69

Литературоведение

Борис ПОЛЕВОЙ. 1941—1945	3
Наталья САВИНА. «Рыжие» из Иванова	70
Юрий ЖУКОВ. День первый, день последний	76
Память	78
Цезарь СОЛОДАРЬ. «Правда — на нашем вооружении»	96

1—4 стр. обложки —
рисунок
В. Крылева

Критика

Юрий ЛУКИН. Он заглянул в их души	85
Владимир ОГНЕВ. Душа моего поколения	102
Ирина ХУРГИНА «Одесса — город мой...»	109

Художественный редактор
О. Кокин

Художник Ю. Цишевский.

Технический редактор
Л. Зябкина

Адрес редакции. 101524, ГСП,
Москва, К-6, улица Горького,
№ 32 1.

Культура и искусство

Дмитрий ШОСТАКОВИЧ. «Все силы отдать великой и священной цели — Победе»	89
Г. АЛИФАНОВ, М. БОРИСЕНКО. На Поклонной горе	105
Борис ФИЛИППОВ. Наказ Ворошилова	108

Сдано в набор 05.03.85.
Подп. к печ. 05.04.85.
А 07570.
Формат 84×108^{1/16}
Высокая печать
Усл. печ. л. 12,18
Уч.-изд. л. 17,62
Усл. кр.-отт. 18,48.
Тираж 3 200 000 экз.
Изд. № 1098.
Заказ № 473

Зеленый портрет

Борис ЛАСКИН. Из записных книжек	110
--	-----

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда»,
125865, Москва, А-137, ГСП,
ул. «Правды», 24.

РОДИНА И СОЛДАТ

...Вернулся солдат домой, в родные края. Остались позади военная служба, напряженные ратные будни, все то, чему была отдана частица его жизни, души. И вот он, молодой, сильный, улыбочивый, стоит перед нами в накиннутом на плечи бушлате у отчего дома, любуясь погожим мартовским днем. Смотришь на это живописное полотно и невольно проникаешься настроением героя, вместе с ним радуешься жизни, сиянию снегов, ощущаешь тепло и ласку предвесеннего солнца. Картина называется «Дома», принадлежит она кисти народного художника РСФСР Виктора Константиновича Дмитриевского, ветерана студии военных художников имени М. Б. Грекова. Истинный грековец, В. К. Дмитриевский создал много произведений, отображающих повседневный ратный труд и героину подвига советских воинов. И есть у него одна отличительная черта — лиризм и задушевность интонации, умение передать на полотне влюбленность в русскую природу.

В большинстве его композиций пейзаж органически связан с заданной темой, будь то учеба танкистов («Зимняя сказка», «Танковые тропы»), переправа на pontонных лодках («На рассвете») или тема возвращения солдата в родные места.

Становление В. К. Дмитриевского как военного художника началось в годы Великой Отечественной войны.

В 1944 году вместе с группой художников-грековцев он выезжает на фронт. Военные пути-дороги, встречи тех лет остались на всю жизнь в памяти и находят отражение в его творчестве. Эти впечатления помогли ему создать картину «Наступление началось» (один из эпизодов напряженной работы полкового медпункта на Мамаевом кургане). В центре картины изображена женщина-сталинградка, о самоотверженности и героизме которой он слышал от многих очевидцев. Она пришла на помощь медикам в самый тяжелый момент боя. Знали о ней лишь то, что у нее погибли в Сталинграде муж и сыновья и что звали ее Ильинична. За материнскую заботу и теплоту раненые прозвали ее солдатской матерью.

Впоследствии картина была включена в общую композицию панорам «Сталинградская битва».

Есть у художника и другие сюжеты из фронтовой жизни, такие, как «Сталинградская переправа», «В небе журавли», сцена из военного быта «Почта пришла!».

Художник любит своих героев, ему близок их духовный мир. Героика и лирика всегда идут рядом в его произведениях. «Родина и солдат» — так называлась недавно состоявшаяся персональная выставка В. К. Дмитриевского. И этим названием можно определить все содержание его творчества.

Ю. ЦИШЕВСКИЙ.



В. ДМИТРИЕВСКИЙ. Дома.



В. ДМИТРИЕВСКИЙ. Наступление началось.

Юность, 1985. № 5. 1—112
Индекс 71120
Цена 70 коп.

